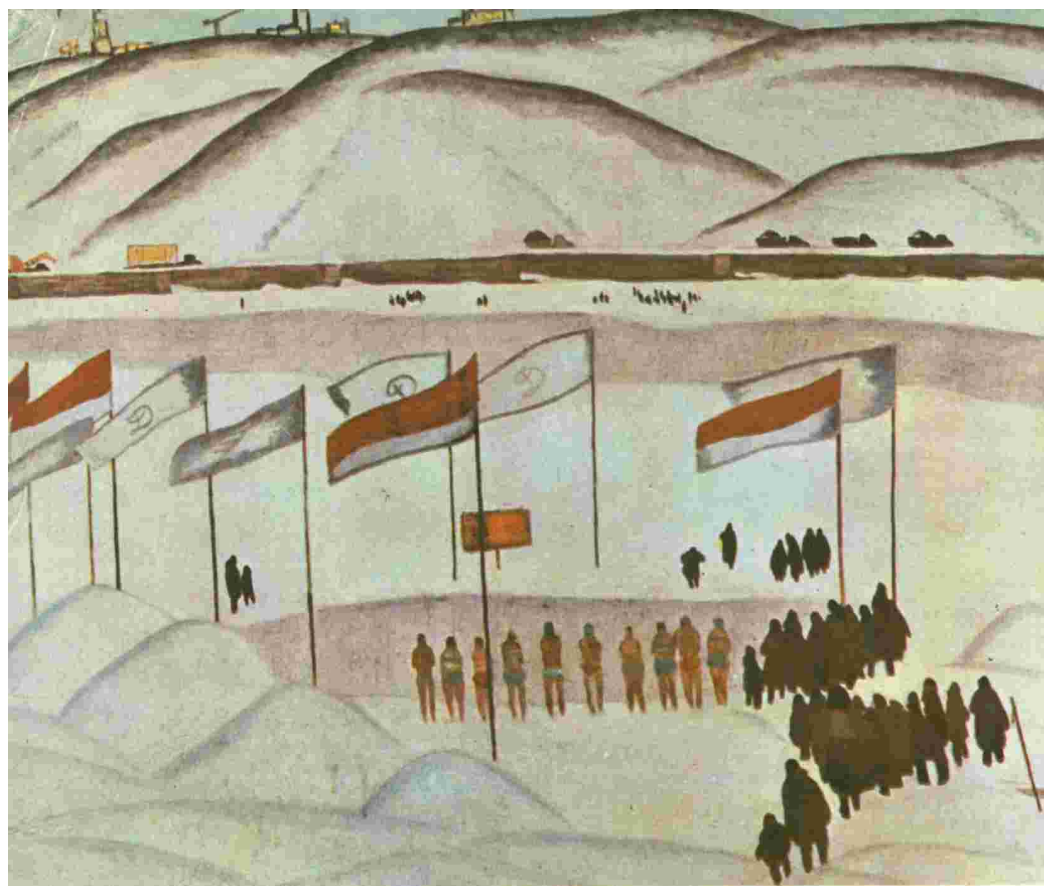




ЮНОСТЬ

12

1967



О. ЗАХАРЧУК
(Киев).
Праздник моржей.

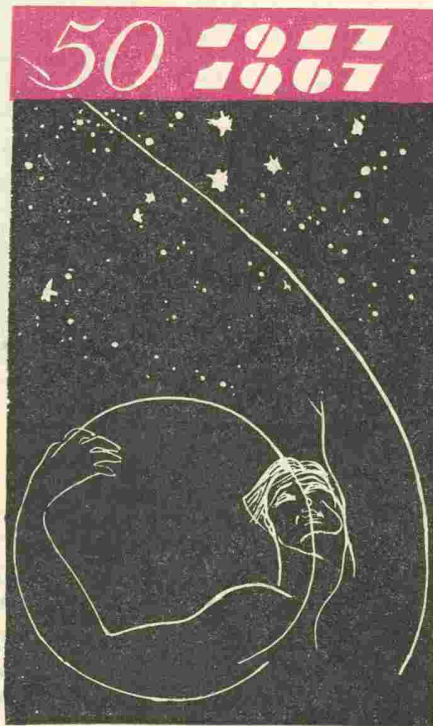
По залам
Второй
Всесоюзной
выставки
«Физкультура
и спорт
в изобразительном
искусстве».

В. ФРЕНЦ
(Ленинград).
Мотогонки.



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания тринадцатый

12

[151]

ДЕКАБРЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА

В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ

УДАЧА ХУДОЖНИКА

● ПРОЗА

- Юрий ПИЛЯР. Последняя электричка. Повесть 9
Геннадий МАШКИН. Вечная мерзлота. Рассказ 47

● ПОЭЗИЯ

- Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Поэма о разных точках зрения 2
Самуил МАРШАК. «Запахло чугуновой печкой...» «Уже недолго
ждать весны...» «Вся жизнь твоя пошла обратным ходом...»
После дождя. «Кто морю, возвратил тепло и свет?...» Песня
о самом себе. «Я знаю, что огромное число...» 50
Владимир СОКОЛОВ. «Что сердце? Оно по мне...» «Пластика
должна быть хрипящей...» «Я не хочу объяснять...» «Не смей-
тесь под окном, когда так грустно в доме...» Поэты. «Я расска-
зать хотел о нем...» «Прошу тебя, если не можешь забыть...» 80

● ПУБЛИЦИСТИКА

- А. И. МИКОЯН. О днях Бакинской коммуны (Из воспоминаний) 51
Николай ЖУКОВ. Из записей разных лет 63
Д. УРНОВ. Положение Гулливера. К 300-летию со дня
рождения Джонатана Свифта 70
Владимир ТРАВИНСКИЙ. День сегодняшний 73
Тамара КОМАРОВА. Улыбнитесь, шагните еще... 76
Валерий АГРАНОВСКИЙ. Студент 81
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Такая подводная жизнь (Репортаж) 99

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Белый халат солдата 90

● СПОРТ

- Евгений РУБИН, Дмитрий РЫЖКОВ. Исповедь хоккейного
репортера 95

● ПЫЛЕСОС

- Григорий ГОРИН. «Стоп! На сегодня хватит!» Рассказ 104
Эдуард УСПЕНСКИЙ. Железная логика 107
Каков вопрос — таков ответ 108
Содержание журнала «Юность» за 1967 год 109

На 1—4-й страницах обложки — рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и
А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор
Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, телефон Д 5-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 00500. Подп. к печ. 28/XI—1967 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л., 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз.
Изд. № 2173. Заказ № 2846.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Роман Рафаэлло Джованьоли «Спартак» — одна из тех книг, которые с увлечением читаются в молодости и остаются в памяти на всю жизнь.

«Спартак» много раз иллюстрирован и не однажды экранизирован. Каждый вариант интерпретации замечательного произведения вызывал новый интерес зрителя и читателя. И тем ответственнее задача, которую поставил себе молодой еще художник Савва Бродский, иллюстрируя роман Джованьоли, который выходит в издании «Молодой гвардии».

Книга оформлена большими разворотами. Черные страницы, по которым прошел рисунок, сделанный белым штрихом, создают впечатлительные стены, которая как бы потрепалась и готова рухнуть под напором гигантской силы. Такого первое цветовое впечатление, усиленное экономным введением красного цвета; оно выражает главную идею книги, и, на мой взгляд, это основная стилистическая находка художника. Она позволила С. Бродскому оттолкнуться от всех предыдущих иллюстраций к книге и найти самостоятельное решение.

Образ жестокого Суллы трактован как каменное изваяние, органически вписанное в окружающую архитектуру, он как бы сросся с ней в единый, несокрушимый монумент, и тем мужественнее Спартак, поднявшийся из рабства для этого, чтобы сокрушить деспотизм.

В книге есть напряжение борьбы. Художник умело пользуется деталями быта, атрибутами триумфальных шествий, военного снаряжения тех времен для того, чтобы создать символы, позволяющие глубже трактовать события.

Когда-то Джузеппе Гарибальди в письме к Джованьоли писал, прочитав книгу: «То я воодушевлялся чудесными подвигами рудиирия, то слезы орошали мое лицо...»

Художник ответил иллюстрациями на первую половину этой характеристики героя, а вот со второй он, пожалуй, и не совсем справился. Спартака иногда хочется видеть человечнее и мягче, даже в самом ритме рисунка. В противовес образам Суллы и Красса. Но здесь я, может быть, и слишком придирчив: задача эта нелегкая, и в целом хочется поздравить художника с удачей.

В. ГОРЯЕВ

ПОЭМА О РАЗНЫХ



Роберт

Рождественский

1. СОН

Я по улице иду —
удручен.
В магазинах
нет вопроса:
«Почем!»
На вокзалах
нет вопроса:
«Куда
по планете
разбредись поезда!..»
Этот сон
приснился
в пятницу мне.
[Может он —
к деньгам,
а может —
к войне.]
Я попал на заседание вдруг
Академии
Серьезных
Наук...
Академики —
дотошный народ
[сорок лысин,

восемнадцать бород]—
при параде,
при больших орденах
обсуждают
вопросительный знак.
Рассуждают
о загадках
его...
Говорят,
что он немножко...
того...
Не умеет
эпохально звенеть...
Заставляет
временами
краснеть...
Не зовет,
не помогает
в борьбе...
«Задается»—
значит, мнит о себе...
Если даже и ведет
иногда,
то заводит
неизвестно куда...
Решено:

недопустим компромисс!
Решено, что этот знак —
пессимист.
И записано,
что он
отменен,
так как
«нет уже потребности
в нем...».
«Восклицательным знакам —
почет!!»
[Вопросительные —
взять на учет.
Разрешить для них
журчание
вслух
при наличии
особых
заслуг...]
Телефон «09»
вправе
молчать
[если нет вопросов —
что отвечать!].
Нет вопросов.
И не слышно
гудка...

ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ

«Мосгорсправка»
растерялась слегка.
Но потом

она опомнилась

заклеймила
заблужденья свои...

Только сложности

возникли

опять:

«Как
с вопросами детей
поступать!..»

Просит ректор МГУ

разъяснить:

«Что с экзаменами!

Чем

заменить...»

Все супруги

соблюдают престиж.

Ведь не спросишь:

«Почему ты

грустишь!..»

И не скажешь:

«Ты сегодня бледна...

Что с тобою!

Может,

помощь нужна!..»

Нет возможности

задачник

добыть...

Не вздыхает Гамлет:

«Быть или не быть!..»

Нет задумавшихся.

Быт

упрощен.

В магазинах

нет вопроса:

«Почем!?»

На вокзалах

нет вопроса:

«Куда

по планете

разбредись поезда!..»

Нет кроссвордов.

«КВН»

не бурлит.

И не спрашивает врач:

«Что болит!..»

Лишь в крамольных

появляется

снах

отмененный

вопросительный

знак.

...А природе

не впервой

отставать.

А природе на запреты
плывать!

Вопросительно

глядит

сова.

Вопросительно

шуршит

травы.

Вопросительно

закручен

ус.

Вопросительно

свернулся

уж...

Если даже у змеи

вопрос,

что же делать тем, кто —

в полный

рост!!

2. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Ну, ладно,—
мы

рождаемся.

Переживаем.

Старимся.

Увидимся —

расстанемся...

Зачем!

Грядущие

и прошлые.

Громадины.

Горошины.

Плохие

и хорошие.

Зачем!

Запой

и работа.

Крестины

и аборт.

Свирели

и тромбоны.

Зачем!

В дакронах и сатинах.

В рабах

и господинах.

В театрах

и сортирах.

Зачем!

Доносы

и баллады.

Дебилы

и таланты.

Пигмеи

и Атланты.

Зачем!

Подонки

и матроны.

На ринге

и на троне.

На вахте

и на стрёме.

Зачем!

То — идола,

то — масса.

То —

пушечное мясо.

До сердца —

как до Марса!..

Зачем!

Над щами.

Над миногами.

С авоськами.

С моноклями.

Счастливые.

Минорные.

Зачем!

Трибунные гориллы,

базары

и корриды,

горланите!

Горите!

Зачем!

Случайно

или нарочно!

Для дяди!

Для народа!

Для продолженья

рода!

Зачем!

3. ЭКСКУРС

Скорбел летописец:

«Славяне,

запутавшись намертво

в ссорах и дразгах,

пришли

до варягов...

Сказали:

«Земля наша

сильно лесами обширна,

ручьями обильна,

и только обидно,

что нет в ней

порядка,

и люди устали

бессмысленно мучиться,

жить не по правде.

Придите

и правьте!..»

Я тихо краснею

за это бессилие

собственных предков —

суровых и бранных.

Не знаю,
 чего они этим добились
 и что потеряли,
 но я повторяю:
 «Земля наша
 сильно лесами обширна,
 лугами удачна,
 ручьями обильна...»
 И только обидно,
 что нет на земле
 [как бы это сказать,
 чтоб звучало толково!]
 чего-то
 такого...
 То сеем не там.
 И не то.
 И не так, чтобы
 к сроку.
 Морока!
 То вдруг
 наводнение стрясется,
 набухнет,
 нагрянет внезапно,
 то — засуха!
 Мы вроде и эдак,
 и так,
 и обратно,
 и снова,
 да только —
 порой
 без особого толку.
 Как будто мы
 чем-то обидели землю,
 и жить ей от этого
 тошно,—
 и точка!..
 Эгей,
 супермены!
 Советчики!
 Херсты!
 Проныры!
 Варяги! —
 Валяйте!!
 А ну, налетай,
 джентльмены удачи!
 Любители
 легкой наживы! —
 Спешите!
 Скажите, что сами мы,
 в общем, старались напрасно.
 [Быдло.
 Низшая
 раса.]
 И сделайте,
 чтоб от жратвы
 прогибались прилавки
 в сверканье и лаке!..
 Чтоб даже
 в райцентрах любых
 ни на миг не потухла
 ночная житуха!..
 А мы вам за это
 подарим
 цветастых матрешек,
 протяжную песню про Волгу
 и водку.
 Икрою покормим,
 станцуем вприсядочку,
 склоним главу.
 Варяги,
 ау-у-у!
 Придите и правьте.

Мы очень понятливы.
 Необычайно проворны...
 До-
 воль-
 но!!
 К чертям!
 Супермены!
 Советчики!
 Форды!
 Рвачи
 и так далее,—
 видали!!
 Шеренги
 заезжих высочеств,
 проезжих величеств —
 валитесь!..
 ...Земля наша
 сильно людьми знаменита,
 в которых — надежда,
 в которых — спасенье...
 Люби
 эту землю.

4. РАЗГОВОР СО СЛУЧАЙНЫМ ЗНАКОМЫМ

— Смотри,
 как дышит эта ночь.
 Звезда,
 уставшая светить,
 упала,
 обожгла плечо...
 — Чо!
 — Смотри,
 как вкрадчивый туман
 прижался
 к молодой воде...
 — Где?
 — Он полночью поклонился ей,
 он взял в свидетели
 луну!..
 — Ну!!
 — Они сейчас уйдут в песок,
 туда, где не видать ни зги...
 — Гы!..
 — И, ощутив побег реки,
 в беспамятстве забьется ерш!..
 — Врешь!..
 — Да нет,
 я говорю тебе,
 что столько тайн хранит земля,
 березы, ивы и ольха...
 — Ха!..
 — А сколько музыки в степях,
 в предутреннем дрожанье рос...
 — Брось!..
 — Да погоди!
 Почувствуй ночь,
 крадущийся полет совы,
 сопенье
 медленных лосих...
 — Псих!..
 — Послушай,
 разве можно так
 прожить
 и не узнать весны,
 прожить
 и не понять снега!..
 — Ага!..

5. МНОГОГОЛОСАЯ ОБЫВАТЕЛЬЩИНА

А куда нам —
 мыслить!
 А чего нам —
 мыслить!
 Это ж —
 самому себе
 веревочку
 мылить!
 Мы же —
 непонятливые.
 Мы же —
 недостойные.
 До поры до времени
 взираем
 из тьмы...
 Кто у вас
 на должности
 хозяев истории!
 А ведь ее хозяева,
 извините,
 мы!
 Мы —
 и не пытавшиеся.
 Мы —
 и не пытающиеся.
 Млекопитающие
 и млеконапивавшиеся.
 Рядовые.
 Жвачные.
 Мягкие.
 Овальные.
 Лица,
 но охваченные
 проф-
 образованием.
 Скромные.
 Ленивые.
 Не хитрецы,
 не боги.
 Мы —
 обыкновенные,
 как время
 само,—
 люди-агрегаты
 по переработке
 всевозможно-всяческой
 пищи
 на дерьмо!
 Нет войны —
 мы живы.
 Есть война —
 мы живы.
 Пусть вокруг
 оракулы
 каркают!..
 Вы думаете,
 это
 работают машины!!
 А это
 наши челюсти
 вкалывают!!.
 Играйте в ваши выборы,
 правительства
 и партии!
 Бунтуйте,

занимайтесь
стихами и ворьем.

Старайтесь,
идиотики!

На амбразуры
падайте!
Выдумывайте,
пробуйте!
А мы пока
пожрем...

Орите!
Надрывайтесь!
Мы
посидим в сторонке.

В тени своих коттеджей,
избушек
и юрт...
Вы думаете,

это
грохочут
новостройки!!

А это
наши челюсти
жуют!!.
Шагайте в диалектику,
закапывайтесь в мистику,—
пускай

кричит философ,
догадкой,
озарен...
Леди и товарищи,
граждане и мистеры,

стройте
ваше
будущее!
Мы и его сожрем...
Подползем,
навалимся

неотвратимым весом
и запросто докажем,
как был задуман
мир...

Выставкам
и выдумкам,

опусам
и эпосам,

физикам
и лирикам —

привет!
Аминь.

Глыбы коллектива,
в завтрашнем
раю
вам

не подфартило,—
общее
«адыю!»

На планете,
вместо

светочей ума,
встанут

Эвересты
нашего

дерьма!

Брызнут фейерверком
желтые

дымы...

Разжиревшим

веком

будем

править
мы!

Мы —
и не пытавшиеся.

Мы —
и не пытающиеся.

Мы —
млекопитающие
и
млеконапитавшиеся.

6. СНОВА НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

По стебелечку
всех и вверх

ползет
травяная

вошь...
Зачем живешь,
человек,

если так
живешь!..

Представь,
что атомный
кошмар

двоится
и дрожит.

Земля пуста,
как твой карман.

А ты,
допустим,
жив.
Удачлив,
будто царь
царей.

Как финн,
невозмутим.
Ты выжил.

Вышел.
Уцелел.

На всей Земле —
один.

Один
среди песков и льдин,

куда б ни заходил:
идешь —

один.
Заснешь —

один.
Печалишься —

один.

На этой
лучшей из планет,
разорванной,

как нерв,
законов —

нет,
знакомых —

нет
и незнакомых —

нет.
Нет на Земле,
на все

края,
на длинные

года

ни захудалого
кота,
ни пса,
ни воробья.

Все выметено.

От сквозняков

храпа,

пустые

станции

метро

ждут

одного

тебя.

И этот мир

необратим,

да,

да,

необратим.

Идешь —

один.

Поешь —

один.

И видишь сны —

один.

Ты сам —

на шесть материков,

в дожди,

в жару,

в снега —

на все моря

без берегов,

на пароходы

без гудков,

на телефоны

без звонков.

(И даже нет

врага.)

Ты сам —

на двадцать первый век...

«Не надо-о!!

Чур-чур!..»

Зачем

кричишь,

человек!

Ведь ты молчал

вчера.

7. ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Мы тоже

для кого-то

были

будущими.

Грядущими.

Идущими на смену.

Решительной эпохой

разбуженные

для славы и любви.

Для слез и смеха...

Мы тоже

будем прошлыми.

Давнишними.

Несбыточными,

как ушедший поезд.

Подернутыми дымкой.

В меру —
книжными.
И с этим,
к сожаленью,
не поспоришь...

Хочу понять
без позы
и без паники,
случайности
не называя глупыми,—
как
после смерти
рядовые
бабники
становятся
«большими жизнелюбами»!

Послушайте!
С ума сошли вы,
что ли!!

«Биограф» усмехается нелепо
и говорит,
задерживая шторы:

— А это проще
всем известной
репы.
Кричать и волноваться
нет резона...

Возвышенным
желанием
ужалены,—

давай на спор,—
мы
из твоей
персоны
сообразим
«пример для подражания»...

Итак,
начнем:
ты был
хорошим
сыном.

Зачитывался
книжками о войнах.
Завидовал
решительным и сильным.

Любил кино,
повидло
и животных...

— Но это все вранье!!!

— Поди доказывай...

— Я жил!

Я сомневался!..

— Это — лишнее...

Во имя воссоздания
нужной
личности,

тебе сомненья
противопоказаны!

Чтоб от событий
в жизни было тесно,
нужны иные
меры
и масштабы.

Ты
даже не почувствуешь,
как станут

заклятые враги
друзьями детства...
Твой фотоснимок
мы подретушируем.
В усталые глаза
добавим
бодрости.

Чуть-чуть подтянем губы
(так решительней).
Исправим лоб
(он был
не в той пропорции)...

Итак,
ты жил.
Ты презирал
богатство.

Читал газеты,
плача и ликуя...

Твоя жена
(приходится вторгаться)...
немножечко не та...
Найдем

другую...
— Зачем другая
мертвому!!!
— Все правильно...

— Я протестую!
Слышите!!

— Помалкивай!
И, кстати, знай:
для живости
характера

ты увлекался
теннисом
и марками...
— При чем тут теннис!!!
— Объясняем вкратце:
считай его
побочным
сверхзаданием.

Сейчас
проходят игры.
Кубок Наций.
А мы пока что
в теннисе
не тянем...

Теперь
ты чист
и выдержан морально.
Переосмыслен.
Виден из далёка...

Был худосочным!—

Стал

почти Гераклом.

Злопамятным!—

А стал

милей теленка...

Теперь ты
на трибунах
и эстрадах!

Теперь ты,
как аллах
для правоверных!

Теперь
твои портреты
на тетрадах,
на клюкве в сахаре
и на конвертах!
Ты —
идол.

Ты —
безумие повальное!..
Твой бюст переходящий
заслужила
во всепланетном
гранд-соревновании

Седьмая
Пионерская
Дружина!..
Твои черты

становятся
разбухшими.
Возрадуйся, что ходишь
в призовых!..

...А знаете,
мы тоже
были
будущими.
Не надо нас придумывать.
Живых.

8. ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Я —
как город.
Огромный город.
Может,
ближний.
А может,
дальний...
Города
на приезжий
гомон

поворачиваются
площадями.
Поворачиваются,
охмуряют

главной
улицей,
главной
набережной.
Речкой,
будто хвостом,
виляют.

Рассыпаются
в речи набожной.
В них тепло,
торжественно,
солнечно!

Есть
Центральный проспект,
а поблизости:
площадь Юмора,
площадь Совести,
Дом Спокойствия,
Дом Справедливости...
А дома

просторны,
дома
легки.

Все
продуманно.
Целенаправленно...
Я —

как город.
Но есть в городах
тупики.
Прокопченные
есть
окраины.

Там
на всех углах
темнота хрипит.
Там плакатами
дыры
заделаны.

Равнодушный
тупик.
Усталый тупик.
Дом
Бездельничанья.
Дом
Безденежья...

Никого
нет на этих
улочках.
Страшновато
с ними знакомиться:
тупики не тупые —
умничают.
Тупики не тупые —
колются.

А дворы
заборами скручены.
Дождь лоснится
на кучах мусора...

Знаю, что идет
реконструкция.
Жаль,
что медленно.
Жаль,
что муторно...

Ты до площади
успей-добеги!

Осторожнее
разберись в душе.
Не ходи
в тупики!

Забудь
тупики!
Я и сам бы забыл,
да поздно уже!..

Вот опять слова
немотой светло.

Невесомы они
донельзя...
Я —
как город.
Тебе в нем
всегда светло.
Как на выезде
из тоннеля.

9. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Что ж,
пока туристы
и ученые
не нашли
Земли Обетованной,
надо жить
на этой самой,
чертовой,
ласковой,
распаханной,

кровавой.
Надо верить
в судьбы и традиции.

Только пусть
во сне и наяву
жжет меня,
казнит меня
единственно
правильный вопрос:
«Зачем
живу!»

Пусть он
возвышается,
как стража,
на порогах
будущей строки.
Пусть
глядит безжалостно.
Бесстрашно.

Пусть кричит!
Хватает
за грудки!
Пусть он никогда
во тьму
не канет.

Пусть он не отходит
ни на шаг.

Пусть он,
как проклятье,
возникает
в стыдно пламенеющих ушах!
Пусть он разбухает,
воспалаясь
в путанице
неотложных дел.

Пусть я от него
нигде
не спрячусь,
даже если б
очень
захотел!

Пусть я камнем стану.
Онемею.

Зашатаюсь.
Боль превозмогу.
Захочу предать —
и не сумею.
Захочу солгать —
и не смогу.

Буду слышать
в бормотанье ветра,
в скрипе

половиц,
в молчанье
звезд,

в шелесте
газет,
в дыханье
века
правильный вопрос:
«Зачем
живешь!»

10. А Х, ДЕТИ...

Всегда
был этот жребий
обманчив...

Гоняет кошек
будущий
лирик.
Час пробил!
И решается
мальчик

поэзию
собой
осчастливить.

Решает
вдохновенно и срочно
засесть
за стихотворную повесть...
Пока не написал он
ни строчки,

я говорю:
— Хороший,
опомнись!..

Литература —
штука
такая:

ее
который век
поднимают.
В литературе —
все понимают —

хоть сто прудов
пруды
знатоками!..

Живем,
с редакторами торгуясь,
читательским речам
не переча.
Как говорит

философ Маргулис:
«Причесанным
немножко полегче...»
А мальчики
не знают
про это!

И, главное,
узнают не скоро...
Ах, дети,
не ходите
в поэты!

Ходите лучше
в гости
и в школу...
Как в очереди:

первый...
последний...

Как в хоре:
басовитый...
писклявый...

Шагаем,
спотыкаясь о сплетни,
в свои дома,
где стены
стеклянные...

Зеленым
пробавляемся
зельем.

Скандалы
называем
везеньем.
Уже умеем пить,
как Есенин.

Еще б теперь писать,
как Есенин.
А мальчики
не знают
про это!

А мальчики
придумали
скверно...
Ах, дети,
не ходите в поэты!

Ходите лучше
в парки
и скверы...
Я б эту землю милую
проклял!

Повесился бы,
честное слово!..

Но светится,
дрожа
над порогом,

улыбка
Михаила Светлова.
В любом из нас
ее
повторенье.

В любом из нас
бормочет и стонет
наивное
высокое
время.

Где стоит
жить.
И рыпаться стоит!..

В окне луна плывет
невесомо.

Давно уже
упали в постельку
собратья
по собраниям и ссорам,

собратья
по перу
и кастету...
Был мальчик

либо ябедой,
либо
родителей
не слушался
мальчик...

Ах, дети,
не играйте
в верлибры!

Играйте лучше
в куклы
и мячик.

11. И ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Но с грядущими
дыша
заодно,

я зверею
от сусальных картин.
Будет так, как будет.
Так,
как должно.
Так,
как сделаем.
И как захотим.
Мне занято думать,
что когда-нибудь,
поразмыслив

над бумагой немой,
наш невиданный,
неслыханный
путь
обозначат
восходящей
прямой!

12. ПОСТСКРИПТУМ

Будут тигры
в клеточку,
а слоны —
в полоску.

И любому
ленточку
подберут
по росту...

Сом
заплодирует
снегозадержанью,
осам
опротивеет
незнакомых жалить!..
И — совсем не рады
бою
барабанному —
станут

генералы
в цирках
подрабатывать...
Захмелев
от счастья,
позабыв
тоску,
будет плавать
частик
в собственном
соку...

В переливах вальса —
в ГУМе
и в Высотном —
будет продаваться
развесное
солнце.
Жаркое,
весеннее!

Много!
Честь по чести...
Так что краска
серая

навсегда
исчезнет.
[Даже мыши
серые
синими
покажутся
и начнут
рассеянно
с кошками
прохаживаться...]

Будет каждый
занят

делом
ненарочным.
Плюшевые зайцы
будут есть
мороженое.
Дождь,
не затихая

час,
а может, два,
будет лить

духами
«Красная Москва».
И над магазинами
все прочтут
легко:

«Пейте
стрекозиное
мо-
ло-
ко!..»
Будет море

берегом.

Будет берег
морем.

Будет холод
бережным...
А дурак —
неможным!
Будет час —
как сутки.

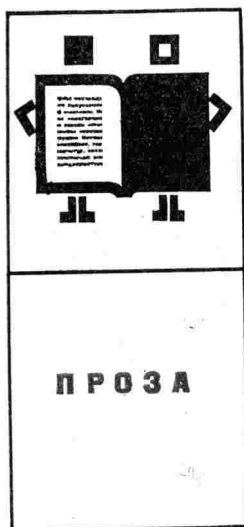
В областях Союза
от безделья
судьи
и врачи
сопьются!
Будут звезды
ульями.

Будут страхи
вздорными.

И воскреснут
умные.
И проснутся
добрые.
И планеты
скачущие
ахнут озадаченно!

А бояться сказочников
только
неудачники.





Юрий Пиляр

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА



Рисунки
Ю. Вечерского.

ПОВЕСТЬ

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

1

-Помо-ги-те!..

Тонкий голос метался в темноте, звал. Прежде чем свернуть туда, к березовой роще, за которой гудело и вспыхивало проходящими огоньками загородное шоссе, Валерий вдруг подумал, что это уже было с ним когда-то: ночь, луна, истощенное кваканье лягушек в болотце, — и еще подумал: это ему только кажется, что было.

— Эй! — собравшись с духом, закричал он. — На по-мощь! Лю-ди! Сюда!

Тонкий голос отозвался ближе — похоже, кричала девушка, — затем в клочковатой мгле Валерий различил движущееся зигзагами белое пятно и следую-

щие за ним по пятам безмолвные черные тени. Внутренне холодея, Валерий обернулся — улочка была безлюдна и тонула в тумане, — глянул вбок, где за рядами яблонь пряталась дача тестя и где в это время, не ведая ничего, мирно спали жена и дочка, стиснул в кулаке тяжелый ключ от городской квартиры и, чуть припадая на левую ногу, побежал, огибая кусты, наискосок от асфальтированной дорожки к роще.

Он поразился, как медленно в наступившей тишине вышли навстречу ему двое: один пониже, с длинным плотным туловищем, в разорванной на груди рубашке, второй юношески поджарый, широкоплечий, с маленькой аккуратной головой...

Валерий машинально поправил на переносице очки, облизнул пересохшие губы.

— Вы что? — сказал он и выхватил из кармана ключ, тускло блеснувший в лунном свете.

Двое сделали такое движение, будто споткнулись на месте, и, вытягиваясь, замерли. Он хотел сказать им, что готов драться, только предлагает выйти на дорожку, но в этот момент позади хрустнула ветка, и он почувствовал сильный удар в спину и горячую боль под левой лопаткой, перехватившую дыхание.

Он упал на колени и, странно, подумал: ведь так могли его убить — и тут же подумал, что его и убили, но, съезжая неловко набок, он понимал, что не убит — рана не была смертельной, — и напоследок, прислушиваясь к удаляющемуся топоту ног, подумал: успела ли убежать та девушка в белом?

Потом, лежа ничком в мокрой от росы траве, он решил, что умирает, и опять ему показалось, что это уже было с ним когда-то — ночь, пахучая сырая трава и жжение внутри, — но он где-то читал, что людям такое иногда просто кажется, и он сказал себе: нет, не умираю, не может быть — и еще сказал: я этого не хочу. У него все больше кружилась голова, к сердцу подступала слабость и что-то похожее на тошноту, и вдруг его словно повернуло и стремительно понесло в удушливую темь.

Когда он очнулся, луна сияла в полную силу. В дачном поселке было тихо, и лишь поблизости из болотца доносилось многоголосое пение лягушек-самцов. Он увидел примятые серебристо-черные стебельки травы, все вспомнил и застонал. И тотчас его остро обожгло внутри, и он понял, что кричать, чтобы позвать на помощь, он не сможет: вероятно, ему прокололи легкое. Оставалось попытаться доползти до асфальтированной дорожки и там ждать, когда подберут.

Он стал осторожно вытягивать руки посреди тонких редких стебельков, изгибаясь к движению, и опять его обожгло, и он ощутил сырой холодок на спине, а на груди — теплую влажную шершавость рубашки. Поверх майки и трикотажной рубашки на нем была надета непромокаемая куртка, в складках ее скопилась кровь, и он лежал в ней, чувствуя ее тепло.

«Бандиты чертовы!» — выругался он мысленно, продолжая вытягивать руки, одновременно поджимая ногу и ища носком узкого полуботинка бугорок, чтобы опереться. Он лежал головой по направлению к роще, а ногами — к асфальтированной дорожке, и ему сперва надо было развернуться. Он начал перебирать руками по земле и медленно заносить ногу в сторону — очень медленно и осторожно, боясь нечаянно сделать резкое движение; но вот он нащупал носком опору и, напрягшись, подался вперед. Ему показалось, что кто-то остро ударил его в сердце, от боли помутилось в голове, и он сник, опустив лицо в траву. И сразу ощутил теплое и мокрое, которое побежало по спине и стало стекать на грудь. «Дрянь дело, — пронеслось в его мыслях, но он тут же сказал себе: — Ничего, это будет не сейчас, еще есть время, а может, этого и совсем не будет».

Самое удивительное и горькое было то, что это стало его врасплох. Прежде, когда он представлял себя в подобном положении (раза два), казалось, что это будет каким-то итогом, вроде заслуженного отдыха после нелегкого рабочего дня.

«Нет, я этого не хочу», — сказал он себе. И он вновь, преодолевая боль, приподнял тяжелую голову и начал очень осторожно, медленно поворачивать ее в ту сторону, где была асфальтированная дорожка. Дорожки из-за кустов он не увидел, но его внимание привлек слабо светившийся в той стороне, шагах в десяти от него, ствол молодой бе-

резки, и он решил подползти сперва к этой березке, чтобы, прислонившись к ней, попробовать унять кровь.

И он снова осторожно начал поджимать ногу, ища носком опору, и снова подался вперед, перенося тяжесть тела на правый бок. Мокрое и теплое бежало по спине, боль в сердце становилась сплошной и огромной, но, стиснув зубы, он снова и снова подавался вперед, отталкиваясь одной ногой и хватая вытянутой рукой то, что попадалось, — выступ корневища, ветку куста, пучок травы. И при каждом рывке ощущал очередной удар в сердце; у него опять мутилось в голове, опять одолевала слабость и противное тошнотворное чувство.

Наконец он достиг желанного сияющего столбика. Сейчас он постарается сесть и привалиться спиной к березке; он сдвинет порванное место куртки и целым местом потуже обтянет рану на спине; он зажмет рану, из которой бежит кровь, он крепко прижмет ее к стволу березки...

Когда ему удалось это сделать, лицо его было мокрым и липким от холодного пота. Он расставил пошире ноги, уперся ладонями в землю, прижимая горящую, саднящую рану к дереву, и так замер, боясь, что вот-вот опять потеряет сознание. Однако на этот раз сознания он не потерял, он только почувствовал себя страшно усталым, и ему захотелось отдохнуть. Он закрыл на минуту глаза и с облегчением ощутил, что мокрое и теплое больше не бежит по спине; зато внутри начало что-то тикать, будто в него вставили часовой механизм, а жгучая боль превращалась в ровный больной тяжелый жар, постепенно заполняющий все его тело.

«Найдут меня или нет?» — подумал он и увидел в прогалине меж кустов кусок асфальтированной дорожки, белой от лунного света. В ушах его что-то шумело и булькало, и вдруг этот беспорядочный шум и булькающие звуки превратились в отчетливое неистовое кваканье лягушек.

«Ничего, найдут», — сказал он себе и опять посмотрел на белеющий кусок асфальта. Он подумал, что его могут заметить с этой дорожки, пойдут с последней электрички мимо, он все-таки крикнет, и его подберут. Или, возможно, та девушка, если она спаслась, сообщит куда надо, и сюда придут за ним. Ничего, повторил он мысленно. Надо только набраться терпения.

И он, поискав удобное положение для левой ноги, которую натер в новых туфлях, приготовился ждать. В голове стало внезапно светло, ясно, словно шел он, шел и вот присел отдохнуть под березкой, крепкий, полный сил, каким он и был еще час тому назад. Он снова мог связно думать. И он стал думать о том, что ему представлялось сейчас самым важным: найдут его или нет, и как это получилось, что он, Валерий Дьячков, такой еще молодой и, в общем, добрый и неглупый человек, сидит тут в полночь, в призрачном свете луны, недалеко от дома, где жена и четырехлетняя дочка, сидит в кустах, с ножевой раной в спине, и ждет, подберут его или нет.

«Да, да, подберут, — думал он. — Не могут не подобрать. Хорошо бы подобрали живым. Пойдут мимо с последней электрички в 1.15 и заметят. А могут и не заметить. Не знаю. Та, в белом, если она убежала, должна же кому-нибудь сообщить, что из-за нее ранили человека. Мне надо было сперва потяжелее кол подобрать, а уж потом бежать на помощь. А то с одним ключиком бросился, храбрец. Самоубийца чертов. Грешник».

Конечно, грешник,— думал он.— Это меня бог наказал. Я преступник. Какой я преступник? То, что у меня было с Ниной,— это преступление? Конечно. А в семье ад?.. Не могу я об этом думать. Я из-за этого и под нож пошел. Нет, не из-за этого. Я не знаю, из-за чего. Я что, сам пошел под нож? Если дома нет житья, то тут куда хочешь пойдешь, но под нож-то я все-таки не сам пошел, какая глупость!

Мне больно. Больно, больно. За что? Стоп, Валера, не отчаивайся. Сейчас мы поглядим, который час. Больно... Без десяти минут час. Столько еще ждать последней электрички!

Надо было не ехать на дачу. Остаться в Москве. Тогда не было бы этого. Остаться в Москве? А потом? Что потом? Представляю, какой скандал учинила бы мне Татьяна и что было бы опять с Машенькой!..

Нет, не могу я ничего во вред Машеньке. А это лучше для Машеньки, что сижу здесь такой? При чем тут, что я сижу здесь такой? Какая связь? Не знаю. Есть какая-то связь. Было бы хорошо дома — не сидел бы здесь такой, это точно: я не стал бы сегодня заниматься в читалке, а взял книги и вернулся раньше на дачу, с другой электричкой. Вот в том-то и дело все, что нехорошо. Всею виной то, что дома ад. А почему ад? Если бы был ответ на этот вопрос... Знаю лишь, что ад и что больше всех страдает Машенька, и я не вижу никакого просвета,— думал он.— Никакого... Стоп!

В дымном желтовато-голубом воздухе, в этом странном мире, наполненном болью, бредом, кваканьем лягушек, послышалось нарастающее гудение, затем гул, затем грохот, будто над головой свалили воз железа, и снова с легким посвистом гул, уходящий, редущий. Красный огонек пересек ночное небо, подрождал над темными верхушками деревьев вдали и исчез. Это прошел «ИЛ-18» рейсом Москва—Ашхабад с вылетом из Москвы в 0.50, Валерий знал. И он не мог не ужаснуться тому, что стало с временем: время словно остановилось. «Этак я не дожусь последней электрички,— оторопело подумал он и поспешил успокоить себя: — Дождусь. Надо только не думать о времени, а думать о самом важном или вспоминать. А что самое важное?..» Он почувствовал, что его начинает одолевать сон.

Залаяла собака, тонким, залившимся лаем. Ей откликнулась вторая — как закашлял больной коклюшем, надрывисто, хрипло. Тявкнула третья. И разом умолкли.

2

Было солнышко, были дремотные развесистые ветлы над оврагом, и была девочка...

Девочка стояла и плакала, невысокая, с модной копной черных волос, в белой кофточке. Она стояла под старым вязом невдалеке от дороги, по которой проходили люди с электрички, вертела в руке сумку, где лежали ее новые туфли-гвоздики (она их только что сменила на босоножки), стояла и плакала какому-то своему горю. Она явно не спешила, может быть, даже боялась идти домой... Да, конечно, боялась: ведь это была ты, Татьяна, в тот день, ну, ты знаешь, какой это был день. Я неслышно подошел к тебе сзади и наконец решился.

— Простите,— сказал я.— У вас какое-то не-

счастье... Вы не попали в институт? Не прошли по конкурсу?

Минуту тому назад я этого еще не знал. Меня как осенило.

— Да,— сказала ты.— А вы студент? Преподаватель?

Мне стало все ясно. Я около месяца наблюдал за тобой издали, теряясь в разных догадках. Теперь стало ясно.

— Я инженер. Я окончил ВАТИ в прошлом году. Между прочим, в приемной комиссии в нашем институте работает мой...

Ты не дала договорить — перебила с иронической усмешкой:

— Ваш друг, конечно?

— Просто хороший знакомый. Приятель... А вы в какой подавали?

— Нет,— сказала ты.— ВАТИ — это Всесоюзный технологический? Нет, я совсем в другой. Совсем! И ты неподдельно горько вздохнула. Тогда я протянул тебе руку.

— Меня зовут Валерий. Может быть, я все-таки могу вам чем-то помочь?

Тебе нужна была помощь, я видел. Я не мог упустить благоприятного момента: ведь около месяца, наблюдая за тобой почти каждое утро в вагоне электрички, я ждал подходящего случая; я жаждал познакомиться с тобой, и я трусил, ты казалась мне слишком красивой и поэтому недоступной... И я на самом деле хотел тебе помочь, ты не могла этого не почувствовать.

— Устройте меня куда-нибудь на работу, а то теперь отец меня в продавецницы отдаст,— сказала ты и, коснувшись моей протянутой ладони, назвалась: — Таня.

— Знаете, Таня,— сказал я,— вы можете еще и в институт попасть, если захотите.

— Как?

— Вы не очень торопитесь домой? Давайте вернемся в Москву, посидим где-нибудь часок в кафе-мороженое, поговорим.

И снова на твоем лице появилась усмешка, грустная и чуть язвительная; мне показалось, что ты подумала... я даже прочитал это в твоих глазах: «Опять, опять...»

— Да мне ничего не надо от вас,— сказал я.— И я вам ничего такого уж не обещаю. Просто есть, по-моему, один довольно верный ход...

— И вы хотите угостить меня, конечно, только мороженым?

— Не знаю. А на другое у меня сейчас, пожалуй, и денег не хватит.

Ты посмотрела на меня очень внимательно.

— Нет, вы правда можете мне помочь просто так? — сказала ты.

— Думаю, смогу.

— А почему вы такой неуверенный в себе?

Я пожал плечами. Я очень хотел бы быть уверенным в себе, но у меня как-то не получалось. Вернее, получалось очень редко: порой на меня словно что-то находило, и я делался даже решительным и дерзким — только на небольшой срок.

Ты опять вздохнула. Но уже без горечи.

— Ну, поехали,— сказала ты.

И, вновь сменив босоножки на туфли и попудрив заплаканные щеки, ты дотронулась до моей руки, и мы пошли на станцию.

В полупустой электричке мы сели друг против друга у окна, и ты поведала мне свою историю. Меня тронуло твое упорство: три года подряд сдавать в театральное училище не каждый смог бы, — но мне было ясно и тогда, что актрисы из тебя не

выйдет... Я подивился — из вежливости — намерению твоего отца сделать из тебя в случае окончательного провала с театральным продавщицу («Представляете, продавщицу! — возмущалась ты. — Он директор «Галантереи» на Кутузовском, с первого уходит на пенсию, и вот взбрело ему на ум и меня в эту «Галантерею»... продавщицей, представляете?»). Честно говоря, я не видел ничего предосудительного в том, чтобы ты какое-то время поработала продавщицей.

— Понимаете, Таня, — сказал я, — ведь в искусство приходят разными путями. Почему вы хотите непременно сразу в театральное? А если вы пойдете в какой-нибудь другой вуз и будете заниматься в самодеятельности?

— Ну уж, самодеятельность! — сказала ты.

— Я сам ее не люблю смотреть или слушать, но заниматься... почему? Если есть способности, то можно и в самодеятельности, для начала. По-моему, вам имеет смысл.

— А в какой вуз?

— Если вы в принципе не против, я вам сейчас изложу свою идею, а потом мы ее обсудим. Хорошо? — Хорошо, — сказала ты, веселея. Я чувствовал, что ты все более проникаешься доверием ко мне.

Идея моя была проста и, увы, не очень оригинальна. Я предлагал тебе пойти на работу в ВАТИ лаборанткой (институту как раз требовались лаборантки), потом устроиться на вечернее, в крайнем случае на заочное отделение — все это не без помощи моего приятеля-аспиранта, — а затем поступить в студенческую самодеятельность. Я назвал имя заслуженного артиста республики — художественного руководителя нашего студенческого коллектива — и увидел, как заблестели твои глаза.

— Только, знаете, — сказала ты, — я не могу представить себя студенткой технического вуза.

— Не вы первая, не вы последняя, — сказал я. — В конце концов лучше быть плохим инженером, чем плохим актером. А может, вы будете и неплохим инженером, кто знает...

Тут на остановке в вагон ввалилась и под села к нам шумная компания. Я заметил твою досаду, потом выражение подчеркнутого безразличия, которое ты напускала на себя в ответ на нескромные взгляды ребят. Потом ты и вовсе отвернулась к окну и почти до самой Москвы молчала. И только когда объявили: «Следующая — Москва-пассажирская», — ты кивнула мне как близкому знакомому и встала. Тебе не терпелось остаться со мной наедине, чтобы продолжить наш разговор. Я тебя понимал: потерять и вновь обрести надежду — это чего-нибудь да стоило.

Мы нашли недалеко от Киевского вокзала кафе с выставленными на открытый воздух разноцветными столиками, и выяснилось, что мы оба голодны. Ты с большим аппетитом съела калорийную булку и выпила стакан кофе с молоком, я выпил чашку черного кофе. Затем мы стали звонить из автомата моему приятелю и договорились, что ты завтра явишься со всеми документами в ВАТИ, и он проведет тебя в отдел кадров и порекомендует.

— Мне прямо не верится, — сказала ты, когда я повесил трубку, — что все это можно просто так...

— Кто в этом виноват? Папа?

— Папа, — сказала ты. — Он никому ничего не делает просто так. Никогда... А вы?

Мы стояли в телефонной будке, прижавшись — ты к одной, я к другой, противоположной, стенке из стекла, и нас разделяло каких-то тридцать — сорок сантиметров пространства. Не знаю, мелькнула ли у тебя уже тогда эта мысль — выйти за меня замуж;

но именно тогда ты так повернулась ко мне, что я сразу увидел, как ты красива... Неужели ты так поворачивалась и к тем, от кого зависело, принять тебя или не принять в театральное училище? И как они могли устоять?

Я не устоял. Мне сделалось жарко.

— Какое это имеет значение? — пробормотал я. — Ну, скажете спасибо, если все получится...

— Я и сейчас должна сказать вам спасибо, — сказала ты, и мы вместе вышли из будки.

Я был почти счастлив. И я дал себе слово, что буду служить тебе всегда, буду помогать тебе, пока ты в этом нуждаешься, словом, буду делать все, чтобы тебе было хорошо, и ты, по-моему, это бессознательно почувствовала.

Ты как-то совершенно по-новому посмотрела на меня, когда мы вышли, и ты казалась в ту минуту немного смущенной. Мне надо было вернуться на твердую почву, и я заговорил о вещах сугубо практических: как удобнее и быстрее добираться отсюда до нашего института и как выглядит мой приятель Вадик, который обещал встретить тебя в вестибюле. Ты кивала, но что-то уже неуловимо новое коснулось тебя и мешало воспринимать то, что представлялось тебе таким важным еще час тому назад.

— Я все запомнила, все сделаю, — сказала ты. — Поехали обратно?

И вновь в вагоне электрички мы сели у окна друг против друга. И снова говорил большей частью я, а ты слушала, но говорил по твоим наводящим репликам только о том, что было интересно тебе. И я уже отчетливо понимал, почему тебе это интересно — знать, где я работаю, и кто моя мать, и какая у нас квартира, — и эта определенная направленность твоего интереса меня страшно возбуждала и радовала. Я часто как бы ненароком опускал глаза, и когда их поднимал, взгляд мой скользил по твоим коленям и юбке, и это тебя не сердило; наоборот, я подозреваю — ты хотела, чтобы я почаще так скользил взглядом, чтобы увеличить свою власть надо мной. Потом ты решила рассказать кое-что о своих родителях и о себе, и ты говорила только то, что выставляло тебя и твою родню в выгодном свете. И мы с тобой больше ни словом не касались того, о чем у нас была речь, когда ехали в Москву, и мы оба делали вид, что так и надо, потому что о делах мы будто бы уже все переговорили. И все же, когда мы сошли с электрички и увидели вдали дремотные, потемневшие к вечеру вязы над оврагом, я спросил, что ты скажешь теперь своему отцу.

— А что вы посоветуете? — сказала ты.

— Не знаю. По-моему, то, что есть. Что поступаете на работу в ВАТИ и что, вероятно, будете там учиться...

— И все?

Я по своей привычке пожал плечами. Ты улыбнулась.

— Скажите, а вы всегда такой?

— Какой — такой?

— Ну, деликатный, скромный...

— Как-то не задумывался над этим. Не знаю.

— И часто говорите «не знаю»?

— А я всегда говорю «не знаю», если что-нибудь не знаю. Я думаю, половина всех несчастий на земле происходит оттого, что люди делают вид, будто знают, а на самом деле...

— Не знают, — договорила ты, рассмеялась и протянула руку. — Мне пора...

По правде, мне очень не хотелось расставаться с тобой. Ты видела это и нарочно стремилась поскорее уйти, чтобы еще больше закрепить свою власть надо мной.

Мы условились встретиться утром — договорились вместе ехать в Москву — и расстались.

А утром ты не пришла. Я бегал по платформе взад и вперед, пропустил свою электричку, а тебя не было. Я опоздал на работу, я несколько раз звонил приятелю в ВАТИ, — ты не появлялась и там. Я с трудом дотянул до конца работы, поехал на дачу и увидел тебя стоящей на платформе...

Я сразу догадался, что у тебя беда: это было видно по твоим заплаканным глазам, по твоему старенькому, слишком короткому платью, которого ты стеснялась, по тому, как беспокойно взглядывала ты время от времени на дорогу. Я молча взял тебя за руку, и мы спустились с платформы и пошли в противоположную от твоего дома сторону.

— Отец? — спросил я.

Ты кивнула, и твои глаза наполнились слезами.

— Говорит, пойдешь продавщицей в «Галантерею» и будешь учиться в текстильном техникуме; он уже все за меня решил, все устроил. А я не хочу...

— Не плачьте, — сказал я. — Мы что-нибудь придумаем.

— Говорит, в техническом вузе я не смогу, я беспомощная, у меня всегда была тройка по математике...

Я глядел в твои заплаканные черные глаза и дрожал от желания погладить тебя по голове. И я сгорал от желания отдать тебе все на свете, чтобы ты не страдала. И я уже, кажется, знал, что делать, и ты это тоже знала. Затем ты и пришла тайком от родителей на платформу встречать меня. Ты это еще вчера знала.

— Пойдемте к тем сосенкам, посидим. Хотите, сбегаю за мороженым?

— Да, — сказала ты.

Я положил свою папку на бугорок, усадил тебя на нее и сбежал на станцию за мороженым.

— Я придумал, что делать. Нам не надо расставаться, — сказал я.

Ты быстро и очень серьезно посмотрела на меня.

— Не расставаться совсем? Это — безумие, — сказала ты.

— Я вам буду помогать, вы поступите в хорошую самодеятельность...

— Это несерьезно, мы не знаем друг друга.

— Я вам хоть капельку нравлюсь?

— А вы не такой уж неуверенный в себе, — сказала ты смущенно.

То, что ты смущалась, чрезвычайно ободряло меня. Я начинал подозревать, что предпринимаю генеральный шаг.

— Ну, хоть капельку?.. Только честно...

— А я? Ведь вы сами еще ничего не сказали мне, — резонно заметила ты, вытащила из сумочки носовой платок и дотронулась им до моего рта. — Вот, — виновато улыбаясь, сказала ты, — молоко ведь еще не обсохло...

Я перехватил твою руку, прижал ее к своим губам.

— Я люблю вас, Таня, — сказал я. — Так люблю...

— Не надо, увидят, — сказала ты, но руки не отняла.

— Ответьте на мой вопрос.

— Вы просто пользуетесь моим безвыходным положением, — сказала ты, и я был готов обидеться, хоть ты и сказала истинную правду. — Понимаете, если я вам признаюсь, то вы можете подумать обо мне плохое... Мне нравится, что вы, по-моему, добрый и серьезный. Не как другие.

— Таня, — горячо сказал я, — давайте рискнем... Все равно ведь это лотерея, знают люди друг друга два дня или два месяца. Мой дядька, отставной полковник, у которого мы с мамой здесь на даче, по-

знакомился со своей будущей женой еще на фронте, прожили потом двадцать лет, и вот около года тому назад развелся: не сошлись характерами. Представляете? А как у нас, наоборот, может все быть очень хорошо и счастливо! Ну?

Мне казалось, что я убеждаю тебя, уговариваю; на самом деле я только выполнял то, что хотела ты. Ты опустила голову, и твои пушистые волосы, свесившись, загродили твои зардевшиеся щеки.

— А где мы будем жить? — сказала ты.

Я был счастлив. Все, все понимал и тем не менее — счастлив.

3

А ты была рада. Тревожилась немного, что все как-то чересчур быстро, и все-таки рада. Я хоть и «очкарик», но не урод, у меня хорошая профессия, характер смирный (только несколько импульсивный, по определению мамы). Кроме того, ты была удручена своим провалом в театральном, и тебе надоело зависеть от отца, от его воли и еще больше — произвола. Ты, годами приучавшая себя к мысли, что станешь артисткой, не могла не воспринять его решение отдать тебя в продавщицы как катастрофу в своей жизни. И вот, выходя замуж, ты делала, что называется, ход конем.

...Свадьба была многолюдной, шумной, беспомощной, как почти все свадьбы, на которых мне довелось побывать. Много ели, очень много пили и ставляли пить нас с тобой, хотя пить нам совсем не хотелось. У большинства гостей были возбужденные маслено-блестящие глаза; эти глаза как будто старались залезть в нас, понять, что мы чувствуем, и, если удастся, хоть немного то же почувствовать. Они кричали «горько», пили, плясали, танцевали и никак не хотели оставить нас вдвоем. Даже мои друзья вели себя не лучше: я чувствовал, что каждый из них смотрел на тебя так, будто не я, а он жених, и ему предстоит остаться с тобой наедине.

Не потому ли ты слегка удивилась и загрустила, когда они все же собрались уходить? Тебе надо было остаться с одним. И тебе было страшно оставаться только с одним. Я чувствовал это, я не мог этого не почувствовать. Не знаю, может быть, если бы удалось все начать сначала, я и не обошелся бы с тобой так грубо, как вышло тогда, но ты должна понять, отчего так у меня вышло. Я был не совсем уверен в твоей любви, и поэтому я особенно боялся уронить себя в твоих глазах как мужчину: мне казалось, в эти первые минуты, когда мы остались одни, я должен быть решителен и бесцеремонен. К тому же я не знал, был ли у тебя кто-нибудь до меня. И вот все получилось так, как это бывает со многими очень любящими и самолюбивыми мужчинами. Потом, месяца через три, вспоминая те первые минуты, ты сказала, что тебе было тогда больно, страшно и очень обидно.

Вообще это чувство — обида — стало чем-то почти неизбежным в наших отношениях. Той своей первой обиды ты мне не прощала никогда, я знаю...

Ох, этот первый месяц! Конечно, были и счастливые часы и даже дни... Никогда не забуду того первого утра, когда ты проснулась, растворила свои большие, чуть влажные после сна глаза, и такой поток света, солнечной радости, счастья хлынул из них! Помнишь, я стоял у полуоткрытого окна — я проснулся раньше тебя, — курил и тихонько любовался тобой издали, а ты, заметив мой взгляд, смущенно отвернулась и вдруг запела. У тебя при-

ятный, теплый, прозрачный голосок. Знаешь, вот в ту минуту я верил, что все у нас сбудется: любовь, счастье и даже то, что ты станешь артисткой. Я смял недокуренную сигарету и бросился к тебе.

— Нет, нет, я встаю, — сказала ты. — Дай мне халатик и катись на кухню.

Я подал тебе халатик.

— Иди мой посуду, — сказала ты.

— Хорошо, — сказал я. — Мне только сперва хочется поцеловать тебя...

И я пошел на кухню и стал мыть посуду — грязные тарелки, рюмки — и швырять пустые бутылки в мусоропровод, а ты, встав, занялась уборкой в комнате, а потом отправилась в ванную. Через полчаса ты вышла ко мне, холодная, свежая, и мы стали завтракать: доедать остатки вчерашнего пиршества.

— А тебе было все равно, честная я или нет? — сказала ты, напряженно глядя в сторону.

— Что за вопрос? Очень даже не все равно. Теперь я тебя еще больше люблю, — сказал я.

— Раньше ты меня ни разу об этом не спрашивал, значит — все равно. Значит, ты не заслужил, чтобы тебе в жены досталась честная.

Я был несколько обескуражен.

— Одно из другого, Танечка, совсем не вытекает и не значит. Я тебя не спрашивал не поэтому. Если бы ты даже, допустим, имела несчастье любить кого-то до меня, конечно, мне было бы это очень больно, очень, но все равно я от тебя не отступился бы. Почему ты так не объясняешь?

— Что почему?

— Почему ты обо мне плохо думаешь?

— А потому, что тебе только одно надо было, и ты своего добился. Поэтому. Тебе не честную, не виновную девушку надо было в жены, вот что, — сказала ты и вздохнула. — Кофе у нас есть?

Я стал варить кофе, огорченный и озадаченный, и мне впервые пришлось на ум, что нам будет трудно, может быть, очень трудно.

Но тогда, в то первое утро (и в течение всего дня), до ссоры у нас не доходило, хоть ты непрестанно и подкалывала меня.

— У тебя, наверно, отцовский характер. Недаром ты так похожа на него, — сказал я, выбрав минуту, когда ты, казалось, чуть подобрела.

— А ты знаешь, что означает, если дочь похожа на отца, слышал?

— Ну да, счастливая, значит.

— Вот то-то! Хоть у папы и есть недостатки, но он, во-первых, мой отец, а во-вторых... достаточно «во-первых».

— Значит, все-таки счастливая? — ухватился я.

— Только не дери нос. Уж если на то пошло — знаешь, какие люди делали мне предложение?

— Черт с ними! — сказал я. — Пошла-то все-таки за меня. Дай я тебя за это поцелую...

У тебя была славная привычка. Ты не позволяла на себя смотреть, когда я тебя целовал. Ты закрывала своими пальцами мои глаза. Так было даже приятнее, с закрытыми глазами.

— Остынет кофе, — сказала ты.

— Я еще сварю.

— Подожди. Значит, по-твоему, я должна тебя теперь благодарить, что ты меня взял за себя и этим вроде спас от «Галантереи» и вообще?

— Нет, нет, — сказал я. — Запомни, всю жизнь только я, я буду тебя благодарить. Поняла?

— Врешь?

— Нет...

Эта мысль, что ты чем-то обязана мне, не переставала тяготить тебя и тогда, в первый день, и позднее. Но в первый день, хоть ты время от вре-

мени и говорила мне неприятные слова, и я обижался на тебя, ничто еще не могло нас поссорить: все неприятное заглушалось острым, горячим чувством близости.

После завтрака, несмотря на то, что мы выпили кофе, нас потянуло ко сну, и мы легли и спали; после обеда опять спали, а перед ужином решили пойти погулять. Ты надела серый шерстяной костюм — подарок отца, сняла с вешалки плащ и вдруг остановилась перед дверью.

— Мне стыдно выходить на улицу: все будут смотреть.

— Никто же ничего не знает, — сказал я.

— Как же не знают: полночи орали, топали; все знают, что была свадьба.

— Ну и что? И пусть в конце концов смотрят. Посмотрят и перестанут: привыкнут.

— Тебе хорошо, ты не первый раз, и тебе не стыдно.

— Женился-то я первый раз, дуручка ты моя!

Я почти силком надел на тебя плащ, и мы вышли.

— Валера, а почему вам, мужчинам, можно иметь до женитьбы, а нам нет — считается позор? — сказала ты негромко, держась за мою руку.

— Не знаю, Танечка.

— А что ты вообще знаешь?

— Ничего не знаю. Ага.

Мы уже шагали по мокрому асфальту нашего огромного, заросшего липами и акациями двора. Никто на нас не обращал внимания, не смотрел, и ты улыбнулась.

— А ты, Валерка, забавный. Ты хороший.

Это был единственный случай, когда мое откровенное «не знаю» не вызвало у тебя раздражения.

— У тебя много было до меня? — спросила ты тут же.

— Немного, — сказал я. — Почти никого не было. А теперь вообще — только ты. До конца.

— До конца? Клянешься?

— Клянусь.

Мимо прошла «Волга», покачиваясь и разбрызгивая лужицы. В окнах на втором этаже зажгли свет.

— Поклянись и ты, — сказал я.

— Клянусь. Но если когда-нибудь ты нарушишь — я нарушу тоже, хоть мне этого и не надо. Давай лучше говорить о другом. Или лучше всего пойдем в кино.

— Пойдем, — сказал я.

И мы пошли в кино. К разговору на эту тему мы больше не возвращались ни разу — до октября прошлого года.

В кино мы дремали: показывали какой-то очень нудный фильм. Потом мы зашли в «Гастроном», купили две пачки пельменей, на улице у тетки я купил тебе два гладиолуса, белый и красный, мы поужинали и легли спать. Но я не мог спать, ты помнишь: просыпался, наверное, каждый час... Так было и на вторые сутки и на третьи, а когда на четвертые, исчерпав свой трехдневный отпуск, я отправился на работу, меня шатало, как после продолжительной болезни. Тем не менее с работы я вернулся веселым, живо переоделся, умылся, и мы с тобой сели пить чай с мармеладом, который я купил по пути в магазине детского питания.

— Валера, я тоже хочу на работу. — Ты сказала это чуть виновато.

— Подожди хоть с месяц. Надо же тебе отдохнуть, — сказал я.

— Отдохнуть — от чего?

— А экзамены, а нервотрепка, а свадьба, а это?

— Я этого больше не хочу, — сказала ты.

Конечно, я обиделся; не очень серьезно, но все-таки.

— Ты холодная женщина, Таня,— сказал я.

— Я нормальная женщина, а вот кто ты... Тебе только одно надо, только одного ты и добивался. Холодная! Ты и мать свою специально отсюда к родственникам спровадил, чтобы тебе не мешали. Запер меня тут, как в клетке, и делаешь что хочешь, а я больше этого не хочу и не позволю, чтобы надо мной издевались.

— Ты меня оскорбляешь,— сказал я.

— Нет, ты оскорбляешь,— запальчиво продолжала ты.— Думаешь, если избавил меня от «Галантереи», так теперь тебе все и можно? Купил девочку? — Таня, я прошу...

— Нечего меня просить. Я тебе не вещь, чтобы не считаться со мной. Холодная!

— Хорошо, будь по-твоему,— сказал я.— Что ты хочешь? Скажи членораздельно и... поспокойнее.— В глубине души я чувствовал, что в чем-то ты права, но в чем, я не смог бы объяснить.— Ну, скажи,— повторил я.

Ты помолчала. Потом доверчиво уставилась на меня своими черными глазами.

— Я хочу работать и учиться. И заниматься в самодеятельности. Как ты обещал.

— Ты можешь теперь только учиться и заниматься в самодеятельности, если хочешь. Работать, и учиться, и быть женой — это, по-моему, слишком. Слишком тяжело. А учиться — хоть завтра же. Пойдешь на подготовительные курсы?

— Пойду. Только не в ВАТИ.

— Пожалуйста. Найди себе что-нибудь по душе и по силам — я имею в виду подготовительные курсы — и поступай, а я буду тебе помогать. И все будет нормально.

Мы вместе помыли чайную посуду, и ты предложила куда-нибудь поехать. Я согласился.

— Поехали к моим,— сказала ты.— Я соскучилась.

Но пока ты переодевалась, я уснул. Прямо сидя за столом — уткнулся в руки, и меня как выключили. Ты потом говорила, что пыталась меня разбудить, но я этому не верю, никогда не верил и не верю: я проснулся сам всего через полчаса, значит, не так уж крепко я и спал; я как раз взглянул на часы, когда ты сказала: «Поехали к моим», — и положил голову на руки, думал — на минутку. Когда же поднял глаза, тебя не было. Конечно, ты и не пыталась будить меня; наоборот, была, вероятно, рада, что я провалился в сон, и уехала одна...

Откуда мне было знать, как обращаться с такой наивной девочкой, которая вдруг стала женой, женщиной? Теперь-то я понимаю, что каждая неиспорченная девушка, выйдя замуж, первое время испытывает чувства, близкие к тем, что были у тебя, понимаю, что я с самого начала вел себя неправильно, не бережно по отношению к тебе, я это признаю. Но все-таки ты не должна была так наказывать меня, ты тоже поступила неблагородно... Что мне было делать? Бежать за тобой вдогонку? Смешно, да и догнать тебя было уже невозможно: ты села в троллейбус. Ехать за тобой следом к родителям? Того смешнее и обиднее...

Я выскочил в коридор, затем на улицу в слабой надежде, что ты ждешь меня у подъезда. Но тебя не было и на улице. И тогда, поняв, что ты умышленно покинула меня, я вернулся домой, взял из буфета последние деньги (после свадьбы я уже одалживал у дядьки) и пошел вниз по Кутузовскому проспекту. В «Гастрономе», где мы, возвращаясь из кино, покупали пельмени, продавалось в розлив шампанское, и я выпил бокал, потом второй: мне хо-

телось охмелеть и забыться. И я слегка охмелел, но не забылся; наоборот, с ужасающей ясностью я как бы со стороны представил себя пьющего с горя, на пятый день после свадьбы пьющего у стойки в «Гастрономе», потому что сбежала жена, не совсем, но все-таки сбежала.

Сколько ни пытался позднее я заставить тебя признать, что поступила ты, мягко говоря, неблагородно, ты не призналась и не покалась. Ты ведь никогда ни в чем не каялась. Ты ни разу ни в чем — вслух по крайней мере — не признала себя виновной.

Напившись, я решил было ехать к твоим родителям и потребовать от тебя объяснений, но потом сообразил, что, если я появлюсь в таком виде у тебя дома, будет еще смешнее. Я дошел пешком до гостиницы «Украина», выпил в холле чашку кофе и сел в глубокое кресло, чтобы хорошенько обдумать создавшееся положение. Разумеется, уснул. Около одиннадцати меня растолкали, тихо пригласили в комнату и попросили предъявить документы. Я предъявил паспорт. Проверяющий оказался очень наблюдательным человеком: он взглянул на лиловый штампик в паспорте, на эту отметку с датой вступления в брак, и сразу все понял.

— Родственники в Москве проживают?

— Есть,— сказал я.

— Что, у них не можешь отоспаться?

— Верно,— сказал я.— Я о родственниках как-то не подумал.

Объяснять всего я ему, конечно, не стал, да он больше и не спрашивал ни о чем и отпустил меня. Я пошел обратно по Кутузовскому проспекту и несколько раз останавливался у телефонных будок: позвонил своему другу Вадимку, дядьке, поговорил по телефону с мамой; я сказал, что вышел с тобой прогуляться и вот заодно решил позвонить... В половине двенадцатого я был дома. Почти тут же пришла ты, румяная, оживленная.

— Ну, соня, проснулся? — сказала ты милым голосом.

Ты даже не замечала, что я сижу в пальто. Я не ответил.

— Ты обиделся на меня? Когда ты кончишь обижаться?

— Таня,— сказал я,— нам надо серьезно поговорить.

— Ну, пожалуйста,— сказала ты, раздеваясь.— А в чем дело? Между прочим, отец одолжил нам денег.

— Очень кстати,— пробурчал я.

Ты задержала на мне взгляд и наконец заметила, что я сижу у стола одетый в пальто. Ты подошла ближе и, вероятно, услышала винный запах; да и по лицу моему, наверно, было заметно, что я выпил: я всегда немного бледнею после выпивки, ты знаешь.

— Что это значит? — спросила ты.

— Это значит,— вяно сказал я,— что, обнаружив твое вероломное исчезновение, я пошел в «Гастроном» и выпил шампанского.

— Слушай, что за глупости! У тебя завелись лишние деньги?

— Почему ты от меня убежала? Я тебе надоел? — спросил я прямо.

— Я не могла добудиться. Как тебе не стыдно? Я думала, наоборот, ты будешь доволен, отдохнешь без меня...

Я не произнес больше ни звука. Я продолжал сидеть одетый, и просидел бы так до утра, и, может быть, даже выпался бы сидя, если бы ты, погасив свет и улегшись в постель, не позвала меня виноватым, как мне почудилось, тоном.

На другой день, вернувшись с работы, я был поражен идеальным порядком, который ты навела в квартире. У нас не только все блестело — полы, мебель, окна, — но, что самое удивительное, пахло добротным обедом. Ты была не в халате, как в те дни, а в красивом платье.

— Приходила мама? — спросил я.

— Нет, это я все сама. Мой руки...

Я готов был возликовать. Я подумал: теперь у нас все будет по-человечески, мирно, ладно, и ты пойдешь на подготовительные курсы в какой-нибудь институт. Я еще не знал, что это значит, когда ты делаешь тщательную уборку и варишь вкусный обед...

Через неделю ты поступила на курсы кройки и шитья при нашем ЖЭКе.

4

Ты должна хорошо помнить тот ранний вечер в начале ноября: в желтом гаснущем свете солнца кружились редкие снежинки; было безветренно, сухо, но холодно. Ты шла из магазина, держа что-то завернутое в газету, чуть наклонившись вперед и о чем-то глубоко задумавшись. Я возвращался с работы — бежал по улице от метро — и вдруг увидел твою напряженную спину. У меня екнуло сердце: «Что-то случилось...»

Я не стал нагонять тебя тотчас, а еще некоторое время наблюдал издали. Спина твоя была напряжена, лицо, которое ты повернула вполоборота ко мне, когда пересекала улочку у сквера, было непривычно сосредоточенным. Да, что-то случилось, решил я и, перейдя следом узкую улочку, догнал тебя у угла нашего дома. В глазах твоих я увидел радость, ты взяла меня под руку, и мы пошли рядом. В эту минуту ты казалась мне очень родной.

— Таня, что-нибудь случилось? — сказал я.

Ты отрицательно покачала головой и вместе с тем внимательно и оценивающе заглянула мне в глаза.

— Пока ничего. Но может быть.

— Что именно?

— Я пока не знаю, не совсем уверена. Но надо быть готовым к тому... к тому, что я, наверно, буду мамой.

И опять ты оценивающе взглянула на меня. Я почувствовал радость, но какую-то необычную, не в чистом виде, что ли: это были и радость и страх, что-то приятное, щемящее и жутковатое. Трудно было сразу разобраться в таком чувстве, я даже немного растерялся.

— Танечка, я к этому давно готов, с первого дня, — сказал я не совсем искренне, — но ты знаешь, как-то это у других получается не так быстро. Ведь мы с тобой только чуть больше месяца живем, понимаешь...

— Что же, аборт делать? — сказала ты, и вдруг лицо твое будто сжалось и потемнело. — Нет, дружок, любишь кататься, люби и саночки возить. Нашел дуру... Я не пойду под нож ради одного твоего удовольствия.

— Таня, пожалуйста, не так громко... — Я заметил, что прохожие оборачиваются на нас.

— А что мне скрывать? Что это — стыд? — продолжала ты с враждебностью. — Пусть будет тебе стыдно, если это стыд. Ты все натворил.

— Хорошо, хорошо, — сказал я. — Я натворил. Я со всем согласен. Только, пожалуйста, поговорим дома.

Ты открыла английским ключом нашу дверь; я едва переступил порог, как ты обрушилась на меня с самыми несправедливыми упреками. Ты повторяла без конца, что я воспользовался твоим отчаянием и захватил тебя силой, что у меня нет к тебе любви, что мне надо было только одно, а тебе этого вообще не надо и никогда не надо было, а теперь, после всех моих грубостей — тем более; что я эгоист и палач, потому что посылаю тебя под нож.

Я все молчал, ожидая, когда ты кончишь или, по крайней мере, сделаешь паузу, чтобы я мог возразить, но стоило мне лишь приоткрыть рот, как ты налетала на меня с еще большей ожесточенностью. Наконец мое терпение лопнуло. Может быть, я правда был грубоват, но то, что, перебив тебя, говорил я тогда, согласись, во многом было справедливо. Я говорил, что ты избалованная своими родителями девчонка, эгоистка, привыкшая к тому, чтобы все было по-твоему; что тебе следовало выходить замуж не за молодого инженера, а за какого-нибудь начальника базы или директора торгового предприятия, которые обеспечили бы тебе «красивую» жизнь в соответствии со взглядами и вкусами твоего папашки. Я говорил что-то еще в этом же роде, ты тоже говорила мне что-то обидное, но я тебя почти не слушал, так как торопился высказать свое. Ты побледнела от гнева, один глаз стал меньше другого (так было всегда, когда ты сильно злилась), и вдруг я услышал:

— ...баба, понял? Баба, а не мужчина; слизняк, незнайка несчастная!

Я уж не могу сейчас объяснить, отчего в потоке других бранных слов именно эти особенно уязвили меня. Вероятно, лицо мое как-то очень исказилось — от горя, от злости, — потому что ты внезапно остановилась, и в твоих глазах пробежали испуг и удивление.

— Н-а, ударь, — сказала ты.

Я повернулся и пошел в ванную. Там я курил сигарету за сигаретой и глядел на свое лицо в зеркало. Лицо было серым, с серыми щеками и губами; глаза казались темными и ненормально блестящими. Я усмехнулся и наконец почувствовал, что злость начинает спадать. Потом я потушил окурочек и выглянул из ванной. Ты лежала на диване ничком, уткнувшись в ладони, плечи твои вздрагивали от плача.

«С чего это мы завелись сегодня?» — подумал я и, поверишь, не сразу мог вспомнить. Я подошел к тебе, увидел беспомощный, нежный завиток волос на твоей шее — мне стало стыдно за свою несдержанность. Хотелось попросить прощения и сказать то, что я сказал бы еще на улице, если бы ты не принялась ругаться. Я хотел сказать, что хоть я и побаиваюсь, что у нас будет маленький ребенок, потому что я никогда не был отцом и не знаю, что это такое, хоть и побаиваюсь, но так как я тебя люблю и понимаю, что ребенок у нас должен быть, то, пожалуйста, пусть все будет так, как должно быть. Если бы я сказал: «Как я безумно счастлив, спасибо, дорогая!» — это была бы фальшь. По-моему, ни у кого так мгновенно не пробуждаются отцовские чувства; в лучшем случае радость пополам со страхом...

Итак, я подошел к тебе и осторожно коснулся твоего плеча.

— Танечка...

Ты со злобой отбросила мою руку, села и, обливаясь слезами, сквозь плач, закричала:

— Мерзавец, хулиган! Поверила дура, думала,

человек... А он скотина, неблагодарное животное!.. Свалился на мою голову!..

Тогда я схватил пальто, шапку и хлопнул дверью.

Я опять пошел вниз по Кутузовскому проспекту и сперва ничего вокруг не различал, чувствовал только глубокую горечь; но затем от быстрой ходьбы и холодного воздуха возбуждение мое несколько улеглось, и я увидел гирлянды разноцветных огней, протянутые через улицу, а на высоких зданиях — портреты и окантованные электрическими лампочками огромные буквы. Помню, я подумал: никакой светлой жизни нам не построить, пока люди в семьях будут жить так, как мы с тобой: ведь оттого многие и пьют, и прогуливают, и брак сплошь да рядом в работе допускают; когда плохо дома и не на месте душа, у человека все из рук валится — я этого раньше не понимал. Потом я подумал, что если мы строим космические корабли, атомные подводные лодки и еще кое-что, о чем не полагается открыто говорить (мне-то немножко известно!), то ведь не неудачники же создают все это; я подумал, что мы с тобой, наверно, просто исключение, и тогда я себе впервые это сказал: «Не повезло тебе, Валерка... Что же делать?» Ответа не нашел ни тогда, ни позже; я не знал и не знаю, что делать людям, когда они попадают в подобное положение.

Я бродил по улице больше часа, продрог, проголодался. Было искушение зайти в булочную, выпить горячего кофе с молоком и бубликом, но я побоялся, что увидит кто-нибудь из соседей по дому и скажет, что меня не кормит жена. Я всегда боялся злых языков. Даже когда ты бывала кругом виновата, я не только сам не жаловался, но и другим не позволял осуждать или критиковать тебя.

Домой я вернулся с неприятным ощущением того, что впустую потратил время: ничего не придумал, не решил. На кухне я обнаружил сковородку с горячими макаронами и котлетой, обрадовался, съел, попил чаю, и, когда закурил сигарету, мне показалось, что ничего такого, выходящего из ряда, не произошло. Ну, не поняли друг друга, погорячились — можно ведь и объясниться. Ты сидела за столом над своими выкройками и выглядела притихшей, поглощенной своим делом.

— Таня, давай поговорим по-хорошему.

— О чем говорить? — сухо сказала ты.

— Ну как же? Все о том, очень важном, что нас ждет.

— А что об этом говорить? Все равно не откажешься от своего ребенка, не открутишься.

— Да я не собираюсь и не собирался ни отказываться, ни откручиваться. Послушай, что с тобой?

— Ничего, занимаюсь, как видишь. И тебе советую чем-нибудь полезным заняться... вместо того, чтобы болтологию разводить.

Я молча взял с полки томик Чехова и ушел на кухню.

Дня три или четыре мы жили спокойно. Я все-таки сумел убедить тебя, что ничего не имею против ребенка, не имел и не имею, что ты меня просто не поняла. Ты в это поверила и смягчилась, но иногда тебя словно подменяли: становилась раздражительной и замыкалась в себе, наедине с какими-то своими невеселыми мыслями.

В воскресенье, пользуясь возможностью поваляться лишний часок в постели и видя тебя в добром расположении духа, я рассказал тебе о великодушном поступке своего приятеля Вадика, того самого, с помощью которого я хотел устроить тебя в ВАТИ. Мы с ним были когда-то в одном научном

студенческом математическом кружке (он шел на курс старше меня), и ему еще тогда пророчили блестящее будущее... И вот буквально за неделю до защиты диссертации человек объявляет, что влезать в науку ему пока рано, бросает аспирантуру, оформляется на работу к нам в КБ и одновременно поступает на вечернее отделение механико-математического факультета МГУ, на мехмат, как говорят у нас. Поступок колоссальный, если иметь в виду, что ни его научный руководитель, маститый профессор, ни сам Вадик ни капли не сомневались в том, что ему присвоят степень кандидата наук.

Я не случайно стал рассказывать тебе об этом. Во-первых, мне хотелось прозондировать почву: я тоже чувствовал необходимость рано или поздно пойти на мехмат подучиться. А во-вторых, меня интересовало твое отношение к столь важному шагу товарища еще и по другому поводу. Дело в том, что Вадик и его жена (она была у нас на свадьбе, длинноногая модница такая, ты должна ее помнить) очень хотели ребенка, но по ее настоянию решили подождать, пока Вадик защитит диссертацию. Теперь у них острейший конфликт: жена заявила, что он, Вадик, не желает быть отцом, не думает о семье, о ее материнских чувствах, и вообще она разочаровалась в нем. Ситуация в чем-то сходная с нашей... Я думал, услышав эту историю, ты разговоришься и скажешь наконец, что за мысли тревожат тебя по временам; я почему-то был уверен, что твое беспокойство связано с предстоящим появлением нашего младенца.

— Какое мне дело до твоего Вадика, — сказала ты. — Тут со своими делами не разберешься.

— С какими делами?

— С такими. О своих ошибках надо сперва думать.

— Какие же у нас с тобой ошибки, Танечка? И много ли их у нас?

Ты отвернулась.

— Достаточно одной. На всю жизнь.

— Ты считаешь наш брак ошибкой?

— Конечно.

Я думал, ты шутишь, и обнял тебя.

— Ах, какая это ужасная ошибка, как мы страдаем, как мучимся...

— Во всяком случае, счастливой не могла себя назвать, — сказала ты, не принимая моей шутки.

— А тебя уже спрашивали об этом? Кто же? — Я снял руки с твоих плеч.

Ты поняла, что проговоришься; вернее, сказала что-то досадно-неловкое, лишнее.

— Кто тебя спрашивал?

— Кто, кто... — повторила ты с неудовольствием. — Ты же знаешь, что во вторник я была дома, а там сидел приятель отца Виктор Аверьянович... ну, у которого «Волга», который еще на свадьбе все время приглашал меня танцевать.

— И он спрашивал, счастлива ли ты? — сказал я с сильно бьющимся сердцем.

— А что тут такого?

— Тебе разве не известно, с какой целью задают этот вопрос и вообще почему так говорят женщинам, которые только что вышли замуж, говорят так бывшие их ухажеры?

Передо мной встала крупная, сытая физиономия владельца «Волги» Виктора Аверьяновича, не то юрисконсульта, не то зубного техника, с его мясистыми, сухими от частого мытья горячими руками; я вообразил эти его руки, его ищущие глаза, его доверительный, чуть взволнованный шепот: «Ты счастлива?»

— Если ты хочешь опять поругаться, то можешь ругаться, а мне надоело, — сказала ты.

— Что тебе надоело, Таня? О чем ты? — спросил я с глубокой печалью.

— Да что ты опять придираешься ко мне?

— Я не придираюсь. Мне хотелось поговорить с тобой, выяснить, что тебя тревожит, и попытаться как-то помочь. Я думал, это связано с твоим положением будущей мамы, а оказывается, ты несчастлива и тебя уже исповедуют бывшие твои женихи...

Ты зевнула, потом сдвинула с себя одеяло, готовясь встать.

— Вот не представляла, что ты будешь такой худой! И худой и ревнивый вдобавок...

Я промолчал. Чувство печали во мне продолжало расти. Мне было еще невдомек, что о некоторых вещах говорить нам с тобой просто нельзя: мы были не в состоянии понять друг друга, как люди, которые вкладывают разный смысл в одни и те же слова.

— Хорошо, — сказал я после паузы. — Что ты предлагаешь?

— Ничего не предлагаю.

— Но ты же несчастлива со мной, — сказал я. — И если ты обнаружила это на третьем месяце нашей жизни, так, по-моему, еще не поздно...

— Вот ты, дружок, к чему ведешь! Понятно! — Ты порывисто встала, надела халат, туго подпоясалась и подозрительно-враждебно посмотрела на меня. — Было бы тебе известно, что меня и с ребенком возьмут и будут счастливы, стоит мне только пальцем поманить!..

В эту минуту во мне шевельнулось отчаяние — предчувствие той беды, которая рано или поздно должна была случиться: мы элементарно не понимали друг друга.

— Но я не доставляю тебе этого удовольствия, — злобно продолжала ты. — Сорвал цветок, добился своего, а теперь хочешь избавиться?.. Господи! — воскликнула ты с неподдельной скорбью. — За что?

Поверишь, мне стало жалко и тебя и себя, но тебя — больше. Я сразу забыл свои обиды, вскочил с постели, поднял тебя на руки и, осыпая твое лицо поцелуями, начал расхаживать по комнате. И вот странно: то, что не могли сделать никакие слова, никакие доводы разума и логики, сделал один порыв этого чувства — пожалеть. Ты вдруг повеселела, чмокнула меня в шею и попросила отнести тебя в ванную. Я только подивился этой внезапной перемене. До выводов мне было далеко.

Мы позавтракали и пошли на дневной сеанс в кино. Потом ты уговорила меня заехать ненадолго к твоим родителям.

5

На какое-то время — казалось, надолго, иногда казалось, навсегда — у нас воцарился мир. Я не знаю, не берусь судить, почему этот мир пришел к нам тогда, когда жить, в общем, становилось труднее, но вот что мы заметили оба: чем ближе был срок появления на свет ребенка, тем мы делали дружнее. Помнишь? Сперва я только выходил с тобой гулять — мы старались как можно больше гулять и в любую погоду. Потом я перенял кое-какие твои обязанности по дому: мыл полы, отосил в прачечную белье. Потом мы вместе стали ходить на рынок, в «Гастроном». А частенько я и один бегал то за селедкой, то за мороженым,

то искал лимон, то спрашивал копченую колбасу «сервелат». Я понимал, что это нужно тебе в твоем положении, и не роптал. Наоборот, мне нравилось, что ты такая; пожалуй, это время — самое спокойное и счастливое в нашей с тобой жизни.

Да, даже счастливое. Потому что — и я в этом совершенно убежден — в те месяцы ты меня любила по-настоящему. Вспомни сама. Конечно, ты в этом не признавалась и никогда не признаешься, но ты даже ревновала меня. Не так, когда ревнуют к определенному человеку и главным образом не без повода, а беспричинно, безотчетно, из одной лишь могучей, инстинктивной потребности безраздельно владеть любимым существом. Боже мой, какое это было наслаждение — видеть твою ревность! Ведь можно как угодно порицать это чувство, но кому не известно, что без любви ревности не бывает. Лишь один раз на этой почве мы с тобой поссорились, и основательно — помнишь? — но, к счастью, это было один-единственный раз.

Было воскресенье уже в конце зимы — солнечный морозный денек. Как блестел снег на пригорках, каким в тени он был синим, твердым и, наоборот, воздушным и колким на деревьях в аллее за нашим домом! Мы неторопливо шли по обледенелой, скользкой дорожке обочь с полосой заиндевевших деревьев — ты, как обычно, держалась за меня, — и в это время с нами поравнялась группа лыжников, парней и девчат из нашего дома. И вот — трудно объяснить, почему и зачем, — девушка, шедшая последней, крикнула: «Валерик, позвони мне вечером!» Было это озорство, или ей в самом деле надо было со мной поговорить — представления не имею. Эта девушка жила в соседнем подъезде, мы прежде были едва знакомы, я даже не помню, как ее зовут, и вот нате вам: «Валерик, позвони мне вечером!» Скорее всего это было озорство: скользнув шальным взглядом по твоей округлившейся фигуре и усмехнувшись, девушка энергично взмахнула палками и пошла на обгон. Я даже не успел ей ответить.

От твоего внимания ничего не ускользнуло: ни этот ее взгляд, ни усмешка, ни то, что она быстро стала удаляться от нас. Мы немного прошли молча, и ты спросила:

— Что это за девка? Твоя бывшая любовь?

— Откуда! Ненормальная какая-то, — сказал я.

— А чего она тебя по имени?

— Она из соседнего подъезда. Слышала, наверно, как меня называли во дворе...

— Вот как! Слышала! — насмешливо протянула ты. Можно было лишь подивиться твоему чутью.

В действительности та девушка, конечно, не только слышала мое имя: прежде, когда я был еще студентом, мы с ней раза два или три вместе катались на велосипедах сначала вокруг дома, а потом на шоссе. Однако это была истинная правда, что я забыл, как ее зовут, и никогда не знал ее телефона. Мы еще не дошли до перекрестка дорог, как ты меня потянула обратно.

— Пойдем домой.

— Что же так быстро? — сказал я. Мне так нравились эти наши воскресные прогулки и так хотелось еще подышать морозным воздухом!

Но ты все поняла по-своему.

— Ну, оставайся. Гуляй. Я тебя не держу.

— Да будет тебе, Таня!

— Иди, гуляй...

Конечно, я не отпустил тебя одну. Мы пошли обратно, и я заметил, что ты становишься все настоятельнее и суше. А когда пришли и разделись, ты расплакалась.



— Таня! — сказал я. — Что за глупость?

Внутренне я ликовал. Это было так приятно — видеть твои слезы ревности.

Ты и это почувствовала и попыталась взять себя в руки.

— Ты не думай, что поработил меня, — сказала ты. — Я и сейчас могу уйти в любой момент. Меня и такой возьмут и будут счастливы.

Я не верил в это. Кому, кроме меня, нужна была ты такая? У тебя припухло лицо, особенно губы, а на коже появились некрасивые пятна; ноги тоже немного распухли, фигура делалась все более грузной. Но если бы ты знала, какой родной ты была мне тогда и как я тебя любил! Я тихонько рассмеялся от радости.

— Ах, ты еще и смеешься! Взял, изуродовал и еще смеешься! — Слезы мгновенно высохли в твоих глазах, лицо исказилось от гнева. — Сейчас же уберайся вон! Иди, гуляй, звони. Или я сама... уйду сама!

Господи, до чего же дорога ты была мне в ту минуту! Я нежно обнял тебя и стал целовать и просить прощения. Я усадил тебя на диван, и целовал твои глаза, еще влажные и сладко-солончатые, и гладил тебя по голове, и говорил такие слова, которые невозможно запомнить и которые имеют смысл только тогда, когда они произносятся...

И опять совершилось чудо: ты очень быстро успокоилась, поверила мне, и нам было так хорошо весь остаток дня!

Незаметно вырос день, сошел снег, наступил апрель, а вскоре подоспели и Первомайские праздники. Твои родители жили уже на даче и звали нас к себе, но мы решили принять приглашение моей мамы встретить праздник с ней и с моим дядькой в его просторной тихой квартире на Дорогомилевке. После ты мне говорила, что это был один из лучших праздников в твоей жизни...

Домой возвращались пешком. Ты была в превосходном настроении. По твоим словам, ты побывала в каком-то новом мире, где главное «не жратва и питье, а человеческие интересы», так ты выразилась. Дядька, объехавший за долгие годы своей службы почти полсвета, с увлечением рассказывал об Испании, и тебя, помню, особенно поразило, что он знал американцев и немцев, простых рабочих людей, бойцов интербригады, оставивших у себя на родине семью и близких, чтобы на чужой земле сражаться за идею. Мама вспомнила, кстати, как в то время у нас собирали подарки для испанских детей и, хоть сами жили небогато, жалея их, отдавали все лучшее. Ты удивлялась, словно школьница, задумалась, а потом сказала, что, наверно, только так и стоит жить. Не скрою, мне было приятно слышать это, и я старался всячески поддерживать в тебе интерес к тому, о чем мы беседовали тогда с мамой и с дядькой. Ты сказала, что мы будем навещать их теперь каждую неделю, но все получилось иначе...

Знала все-таки мама или не знала, что у нее рак? Через несколько дней она позвонила мне на работу и сказала, что ложится в клинику на исследование. Я помчался к ней. Это было в тот день, когда я поздно вернулся домой, и ты еще обиделась на меня за это. Я тебе сказал, что был у мамы, что она ложится на исследование, но не сказал, о чем мы разговаривали. А разговаривали мы почти целый вечер о тебе.

Мама уверяла, что ты любишь меня, что у тебя много хороших задатков и ты можешь стать хорошей женой и матерью, только надо тебе помочь. Ты должна, по мысли мамы, постоянно чувствовать

себя свободной, равной, добровольно, по любви вступившей в наш союз, хозяйкой дома и превыше всего человеком. Лишь на такой основе, говорила мама, можно создать крепкую семью. Она приводила разные случаи из ее жизни с моим отцом, до военным инструктором райкома, «вечно командированным», как шутя называла она его, и утверждала, что если бы отец не погиб на фронте, то они жили бы душа в душу до сих пор. Она, конечно, как всегда, идеализировала людей и тебя в особенности. Ей просто хотелось верить, что в тебе много хорошего и я могу быть счастливым с тобой, если буду правильно вести себя. Ей очень хотелось видеть меня счастливым, единственного своего сына! Знала бы она, каким адом станет наша с тобой жизнь!

Кто мог знать, что все так будет? Мне не надо рассказывать тебе, как я был потрясен внезапной кончиной мамы. У нее был застарелый рак, и, как врач, она если и не знала об этом точно, то, вероятно, догадывалась. Дядька до сих пор клянется, что за все время, пока они жили вместе, она ни разу не пожаловалась ему. Такой уж она была человек: никогда никого не обременяла своими просьбами или жалобами. Поэтому-то папе и хорошо было жить с ней, теперь я это понимаю...

Спасибо тебе хоть за то, что в тот тяжелый, душный июль ты не попрекала меня ничем. Иногда я забывал привозить на дачу продукты, иногда вечерами уходил из дому и бесцельно слонялся по березовой роще или вдоль шоссе... Ты знаешь, чем была для меня мать, одна, без посторонней помощи, вырастившая и воспитавшая меня. Всего месяц не дожила она до появления внучки. Всего один месяц!

Я тебе благодарен и за то, что ты надоумила меня пораньше взять очередной отпуск, за то, что ты настояла на нашем заблаговременном переезде в Москву в конце июля, за то, что в те тревожные для тебя дни ты предпочла остаться только со мной. Ты была тогда во всем права, тихая и какая-то самоуглубленная и даже по-своему мудрая в чем-то.

Это было тоже в воскресенье, рано утром. Не знаю, как это объяснить, но мы проснулись в один и тот же миг и с одной и той же мыслью.

— Валера, — сказала ты как можно спокойнее.

— Все, все, — сказал я. — Сейчас.

— Нет, не надо звонить, не вызывай. Мы пойдем.

— Да, конечно. — Меня била внутренняя дрожь, но она сидела так глубоко, что ты, я уверен, не могла ее заметить. — Что ты наденешь? — сказал я.

— Я все приготовила. Достань из шкафа.

Я достал платье-халат, надел тебе на ноги мягкие, без каблуков югославские туфли, одновременно поставил на плиту чайник, и, пока он разогревался, сделал тебе несколько бутербродов и положил в твою сумочку апельсин.

На твоем лице был какой-то свет, выражение значительности, покорности, любви и добра. Ты уже была в себе матерью — вот что! Свет материнства пробивался наружу, озаряя твоё лицо.

Мы вышли из дому и окунулись в тихое, чуть туманное и в то же время солнечное августовское утро. И мы с тобой потихоньку пошли через улицу, мимо огромного дома и нового стадиона к Филлям. На наше счастье, нас догнала машина с зеленым огоньком, и таксист, высунув голову, деликатно спросил, не подвезти ли. Ты кивнула, и мы очень медленно, аккуратно сели и поехали в сторону Филевского парка. Мы потом еще прогулялись по парку, чуть туманному, просвеченному неярким и будто усталым солнцем. Я еще хотел сбежать за мороже-

ным, но ты сказала, что уже не надо, потому что пора...

Знаешь, если я буду умирать, я и тогда буду помнить твои глаза в ту минуту, когда мы вошли в тот дом и когда женщины в белом уводили тебя от меня. Ты своими глазами и прощалась со мной, и благодарила за что-то, и чуточку, кажется, упрека-

ла, и была так добра ко мне, а все это, вместе взятое, наверно, и было любовью.

Тебя увели, но мысленно ты еще стояла передо мной, и я не трогался с места, пока все понимающие ласковые женщины в белом не вывели меня из приемного покоя, сунув мне бумажку с телефоном.

Ч а с т ь в т о р а я

1

Он сидел у березы, прислонившись к тонкому, запотевшему у комля стволу и упираясь руками в землю. Было два часа пополудни. Последняя электричка давно уже прошла, и те сошедшие с нее несколько человек, на чью помощь он так рассчитывал, прошли по асфальтированной дорожке мимо, не заметив его. Погруженный в себя, в свою боль, он тоже не заметил их, мелькнувших на выбеленном лунной куске асфальта. Возможно, он услышал бы их шаги или голоса, если бы не заглушающее все звуки окрест кваканье лягушек. Дважды он порывался посмотреть на часы, но было очень трудно поднимать руку, а кроме того, он боялся, что время совсем не продвинулось. Внутри него по-прежнему что-то тикало, ровный болевой жар заполнял тело, сознание то меркло, и тогда ему казалось, что он погружается в какой-то похожий на явь странный сон, то становилось четким, чистым, и он начинал торопливо думать о том, что надо все-таки посмотреть на часы, и надо терпеть, и надо обязательно дождаться электрички, и не надо отчаиваться, потому что его обязательно найдут и спасут.

«Надо было терпеть — вот что, — сказал он себе в минуту очередного просветления. — Не бежать от семьи, а терпеть. Уж лучше терпеть было там, чем тут. Если бы я терпел там, то мне не пришлось бы теперь тут, полужарзанному... Хотя бы ради Машеньки, хотя бы ради того, чтобы не валяться сейчас в этих кустах... Не повезло с семьей — ну и что можно поделывать? Нести свой крест до конца, как говорят. А что еще? Не знаю. И никто не знает. А что еще? А что я знаю?»

Я хочу домой, вот что я знаю. Я не хочу тут умирать, понимаете? Это кто-нибудь понимает, что я не хочу умирать?.. Стоп. Без паники. Надо посмотреть на часы. Сейчас я посмотрю. Без паники. Сейчас я подниму левую руку (больно, больно)... Ничего не вижу! Стоп.

Надо достать спички. Надо посветить. Надо посмотреть на часы. Надо наконец узнать, сколько еще ждать последней электрички. А может быть, я сумею как-нибудь сориентироваться и понять это без часов?»

Он с усилием оторвал голову от ствола березы и поглядел перед собой. Было все то же: желтоватоголубой дымный свет, черные тени и докучливое, волнами катившееся из болотца кваканье лягушек (слышалось: «Живем один ра-аз... ра-аз... ра-аз!»). Он пошарил отяжелевшими глазами по кустам, затем начал поворачивать голову влево, в сторону станции, но ощутил резь в глазах, нарастающую слабость и головокружение и снова прислонил затылок к стволу...

Быстро, заливисто, зло залаяла собака в поселке. Потом до слуха долетел далекий рожок стрелочника и лягз сдвинутого по рельсам состава. «Живем один ра-аз... ра-аз... ра-аз!» — неслось из болотца.

Он почувствовал, что его охватывает сонливость. Ему захотелось подтянуть затекшие ноги, и он стал очень медленно подбирать сперва левую, потом правую ногу. Приблизив таким образом колени к груди, он сидел несколько минут неподвижно, отдыхая. Левая нога, которую он натер в новых туфлях, зябла. И вообще делалось холодно. Хотелось пить. Но спать расхотелось: как только он подтянул колени, сонливость исчезла. Сознание опять заработало четко, и он решил еще раз попытаться посмотреть на часы. Превозможная боль, он поднял очень вялую, непослушную левую руку, положил ее на колено и, вновь оторвав затылок от березы, склонил лицо над поблескивающим кружочком циферблата, весь напрягся, но и на этот раз не смог ничего разглядеть. «Этак же с ума можно сойти, — подумал он. — Была последняя электричка или нет?»

Ему вдруг вспомнилось обескровленное лицо жены, когда она со свертком на руках выходила из роддома, он вспомнил это ее бледное, усталое от перенесенных страданий лицо и тихонько застонал: «У-у-у». Потом откинул голову к дереву и закрыл глаза. Внутри него что-то тикало — как будильник.

2

Я полюбил ее в ту же минуту, как взял на руки. Сразу. Мгновенно. Наверно, так уж я устроен, что любовь поражает меня мгновенно. Даже любовь к собственной дочери. Я взял этот белый легкий тугой сверток, я только взглянул на ее личико, и я уже любил ее, свою дочку. И я знал уже, что отныне и до конца дней моих не будет для меня счастья более дорогого, чем она. Я очень обрадовался этому чувству. Я чуть коснулся губами ее смуглой, атласной щеки, и на меня повеяло невыразимой прелестью. Пахло парным молоком и еще чем-то очень приятным — теплым, чистым. Я был так рад. Она как раз открыла глаза, влажноватые, с крошечной раскосинкой, и, поверишь, мне показалось, что она меня узнала. То есть не то чтобы узнала, но как-то по-своему ощутила, что ли, что я ее отец и, главное, что я ее люблю.

А ты стояла в сторонке, смотрела на нас и тихо, блаженно улыбалась. Затем ты подхватила меня под руку, и мы пошли к ожидавшему нас за воротами такси. В машине ты хотела взять у меня дочку, но я не отдал. Я бережно держал ее на своих руках, мне было легко и радостно держать ее.

А кругом, по обе стороны извилистой дороги, высились тополя, тронутые уже осенней желтизной, наискось просвеченные солнцем и как будто вымытые свежим речным воздухом парка...

На пороге квартиры нас встретили твои родители.

ли. Ты ведь представления не имеешь, как мы готовились к этой встрече. Накануне, сразу после работы, я вымыл полы, и, когда они подсохли, больше часа ушло на натирку. Потом я привел в надлежащий вид ванную и уборную. Потом решил протереть влажной тряпкой стены и смахнуть кое-где по углам паутину. Потом, разогревшись и разохотившись, я взялся за кухню, перемыл посуду, привел в порядок газовую плиту, буфет. И последнее, что я сделал, — это вымыл в комнате окно. Я так от всей этой непривычной работы устал, что у меня едва хватило силы принять душ и постелить себе постель... Ты ведь этого ничего не знаешь, ты не интересовалась, кто навел такой блеск в квартире. Между прочим, это была первая капитальная уборка после того, как мама перешла жить к дядьке, своему брату, отдав квартиру нам с тобой.

А рано утром приехала твоя мать и завершила то, что я не успел сделать или недоглядел. Вернее, мы с ней вместе завершили: она свежим глазом замечала недоделки и указывала мне, а я с ее помощью доделывал. В тот день на работу я не ходил — дали отгул. Я по совету твоей матери сперва съездил на рынок, потом принес из прачечной белье, а затем стал собираться к тебе. Незадолго до моего ухода пожаловал твой отец с фруктами и цветами. Они остались дома (мать варила борщ), а я поехал за тобой. И вот наконец мы появились на пороге своей квартиры, мы трое: Машенька, ты и я. Твои родители стояли у открытой двери. Я был немного взволнован, твой отец тоже был взволнован, а это заметил. Ты смеялась счастливо и устало. Мы внесли нашу дочку в квартиру, где ей предстояло жить, расти, радоваться. Она вошла в свою квартиру — теперь это была и ее квартира. Почему-то это волновало и трогало нас очень.

Ты выглядела немного усталой и бледной, и мать предложила тебе прилечь. Ты пошла умываться, а Машеньку дала поддержать своему отцу (мать тем временем выстирала детскую кроватку). И вдруг я увидел, как что-то дрогнуло в лице твоего отца, его маленький рот с красными губами скомкался, раскрылся, в глазах засветилось удовольствие, даже нежность. Я понял, что он полюбил Машеньку и тоже — мгновенно. И это меня не резануло и не вызвало чувства ревности. Наоборот, я подумал: пусть любит; чем больше людей будет ее любить, тем лучше. И эта мысль притушила мою обычную неприязнь к твоему отцу. Он теперь дед, моя дочь — его внучка; правда, к этому надо было еще привыкнуть.

Ты переоделась в халат, легла и стала кормить Машеньку грудью. Мать в сопровождении растроганного деда отправилась на кухню накрывать на стол. Я достал из серванта вазочку с твоими любимыми «раковыми шейками» и поставил твоими любимыми. Ты посмотрела на вазочку, на меня и сказала:

— Уж не мог «мишек» купить. Пожадничал...

Понимаешь, я ведь старался не для того, чтобы ты мне спасибо сказала. И все-таки стало как-то обидно. Впрочем, я тут же без труда подавил в себе обиду...

Машенька поела и уснула. Мы с тобой перешли на кухню, выпили по рюмке портвейна, пообедали, посидели с твоими родителями, и они собрались уходить. Твой отец объявил на прощание, что запишет часть дачи на внучку и, кроме того, будет отпускать к нам мать ежедневно на час-другой «для помощи и консультации».

Так началась наша настоящая семейная жизнь.

Как ты помнишь, я накупил множество брошюр об уходе за грудным ребенком, и мы старались соблю-

дать все правила. Ты кормила Машеньку каждые три часа, а ночью устраивала шестичасовой перерыв. По вечерам перед последним кормлением мы ее купали. Я сам кипятил воду, измерял температуру, готовил ванночку. Машенька, такая умница, никогда не плакала во время купания. Потом ты садилась ее кормить, а я ополаскивал ванночку, развешивал пеленки, подтирал пол. Машенька засыпала в своей кроватке, и следом за ней засыпала ты: тебе полагалось спать не менее восьми часов в сутки — я за этим следил. В хорошую погоду я после работы успевал еще погулять с дочкой. Обычно я возил ее в коляске вокруг дома. Ты в это время делала свои домашние дела или отдыхала...

Я пытался следить и за тем, что ты ешь и все ли получаешь, что тебе необходимо как кормящей матери: молоко, творог, яблоки, квашеную капусту, лимон, рыбий жир, печенку. Я прочитал, что грудной ребенок любит и даже нуждается, чтобы его время от времени поносили на руках, и с удовольствием брал Машеньку на руки. Я перестал курить дома — выходил на лестничную площадку. И вообще старался делать все, чтобы тебе и Машеньке было хорошо.

Я чувствовал, что тебе нравится такое мое участие во всех делах, что ты даже чуточку удивлена. А для меня это было естественно: я служил любимым. И мне было приятно служить вам. Строго говоря, я столько же служил вам, сколько себе. Казалось, какой может быть счет?

И вот вдруг тот вечер. Я пришел после работы домой, как всегда, с полной сумкой, не раздеваясь, рассовал продукты по полкам холодильника и буфета и, прежде чем снять пальто, заглянул в комнату. Ты лежала в неудобной позе на неприбранной постели, и Машенька, завернутая в одну пеленку, лежала рядом, беспокойно хваталась ручками и хныкала. Я хотел спросить, в чем дело, но ты опередила меня:

— Валера, у меня, наверно, грудница. Очень болит, и молоко, кажется, исчезло.

Я мигом сбросил пальто, подошел к тебе.

— Когда это началось? Почему не вызвали врача?

— У меня, кажется, температура. Не кричи, — сказала ты. — Мамы сегодня не было, я одна...

Я потрогал твой лоб. Ладонь обжег ровный сухой жар.

— Сейчас вызову неотложку, — сказал я. — Поставь пока градусник.

Машенька все энергичнее хваталась ручками и хныкала все громче: она хотела есть.

— Она уже опустошила меня, — сказала ты, не меняя своей неудобной позы.

Я побежал вниз и стал звонить из автомата на пункт неотложной помощи. Пришлось долго объяснять, что и как, я наугад сказал, что у тебя температура тридцать девять, наконец, мне пообещали приехать через час, как только машина возвратится из Филей, и попросили встречать у подъезда.

Я вернулся. Машенька плакала в голос. Ты продолжала лежать, и по твоим пересохшим губам и больному блеску глаз было видно, что тебе худо. Я быстро разделся, вымыл руки и взял Машеньку. Потом нашел градусник, встряхнул и дал тебе. У тебя было ровно тридцать девять. Машенька громко плакала.

— Съезди за мамой, — сказала ты.

— Я пошлю телеграмму. Или съезжу. Только дождемся неотложки.

Я ополоснул кипяченой водой пустышку и сунул Машеньке в рот. Она немедленно выплюнула ее.

— Ты не полдничала? — спросил я, думая, что ес-

ли ты попьешь чаю, у тебя, может быть, появится молоко.

— Я ничего не хочу, не приставай, — сказала ты. — Положи ее ко мне.

Ты попробовала дать Машеньке грудь, но через минуту, потрудившись впустую, Машенька отвалилась и стала кричать еще громче.

— У меня голова разламывается на части, — сказала ты. — Уйми ее как-нибудь.

Я снова взял Машеньку, пошел с ней на кухню. Мы зажгли газ, поставили чайник. Пока я держал ее на руках, она не плакала. Но стоило хоть на минуту положить ее, как она принималась кричать во всю силу.

— Что ты там делаешь с ней? — устало и раздраженно спрашивала ты из комнаты.

— Ничего, все в порядке, — говорил я, подхватывая Машеньку, которая тут же после этого прекращала крик.

Так, держа ее одной рукой, другой рукой я достал из холодильника молоко, а из буфета сахар и хлеб и приготовил тебе полдник.

— Где же твоя неотложка? — спросила ты, с жадностью глотая чай с молоком.

— Сейчас придет. Налить еще?

— Нет.

— У тебя совсем исчезнет молоко. Чем будешь кормить Машу?

— Дай ее мне. И принеси еще чайку. Не прозевай машину.

Ты выпила вторую чашку и снова предложила Машеньке грудь. Я схватил пальто и побежал встречать неотложку. На улице было темно, морозно. Неотложки не было. Я добежал до угла дома — почта еще работала — и отправил срочную телеграмму твоей матери. Девушка-телеграфистка сказала, что минут через сорок доставят. Потом я побежал обратно к своему подъезду — неотложки все не было, и, так как по времени ей давно полагалось быть, я зашел в телефонную будку и позвонил. «Сейчас будет. Ждите», — ответили мне.

Поднимаясь по лестнице, я услышал крик Машеньки. Я вынул сигарету, прикурил, несколько раз глубоко затянулся. Я не знал, что еще делать. Пока, видимо, надо было просто ждать. Терпеть и ждать. Я затоптал окурок и вошел в квартиру.

— Где ты, бесовский, пропадаешь? — вялым, капризным голосом сказала ты.

— Я послал матери телеграмму.

— А где неотложка?

— Сказали, сейчас будет. Я еще раз звонил. Молоко у тебя не появилось?

— Возьми ее, — сказала ты. — Какое может быть молоко при такой температуре! Господи, скорее бы приехала мама!

Я взял на руки Машеньку. У нее было красное, вспотевшее и мокрое от слез личико. Она была голодна и, кроме того, обмочилась.

— Может, дать ей коровье молоко? — сказал я.

— Ты что, погубить ребенка хочешь?

— В четыре с половиной месяца, по-моему, можно...

— Замолчи. Скорее бы мама приехала. Где же твоя неотложка?

Сменив Машеньке пеленку, я ушел с ней на кухню, убаюкивая ее, и только-только стала она утихать, резко прозвенел звонок у двери. Это была неотложка.

Высокая женщина с широким мягким лицом, веселая и, как большинство врачей, самоуверенная, осмотрела тебя, потрогала, пощупала и сказала, что да, у тебя мастит, или, попросту, грудница.

— Ничего, милочка, поправитесь, плясать еще будете на Новый год, — сказала она свежим, оживленным голосом и села выписывать рецепт.

— Укол надо сделать, — сказал я. — Ведь у нее тридцать девять.

— А пенициллин у вас есть?

— Как же так, — сказал я, — вы неотложная помощь, и у вас ничего с собой нет?

— У меня, кажется, немного осталось... Да, ваше счастье, молодой папаша, есть немного. Ишь, голосистая какая! — сказала врач, не испытывая, по-видимому, ни малейшей неловкости.

На кухне, пока готовился инструмент, я попытался проконсультироваться у нее насчет Машеньки.

— Четыре с половиной месяца? — переспросила веселая женщина-врач. — Можете давать. Разбавьте кипяченое молоко водой, половину на половину, чуть подсластите и давайте. Ничего. Все переварит крикуша этакая!..

После укола ты быстро заснула, а мы с Машенькой стали кипятить молоко. Хотя веселая докторша и не внушала мне абсолютного доверия, я все же решил рискнуть. Конечно, я мог бы еще подождать приезда твоей матери и посоветоваться с ней, но уж очень долго ее не было и уж очень, я чувствовал, страдала Машенька. Для уверенности я полистал еще брошюру, где говорилось, что самая лучшая пища — это материнское молоко, но в исключительных случаях можно прикармливать и разбавленным коровьим молоком.

Я прокипятил соску, бутылочку, чтобы все было идеально чистым, налил в стакан из кастрюли молока, потом из чайника воды и положил ложку сахара. Ну откуда мне было знать, что ложка сахара на полстакана молока — много? Много, конечно, для четырехмесячной Машеньки...

Но как она, умница моя, пила! Она уже истрадалась вся — не купают, не кормят, она выплакала все слезы и, наверно, была по-своему в отчаянии. И вдруг в рот ее попадают теплые сладкие капли молока. Вместе со вкусом резиновой соски это непривычно, она выплевывает соску, но нет этого неприятного вкуса резины, и нет молока. А есть так хочется! И она, умница моя, поняла, что надо потерпеть. И выдула все молоко, которое я ей приготовил. Понимаешь, в эти минуты я чувствовал себя кормящей матерью: я был человеком, дающим из себя жизнь другому. И я не мог не любоваться дочкой, которая жадно охватила розовым колючком рта соску, и вовсе работала щеками и руками, и сопела носом-пуговкой, вытягивая из бутылки молоко.

Твоя мать все не приезжала. Было уже около десяти. Я еще раз сменил Машеньке пеленку, поносил на руках и, когда она уснула, осторожно положил в кроватку. Ты в это время пробудилась — я это понял по твоему дыханию. Я коснулся ладонью твоего лба, и мне показалось, что он стал не таким горячим. Ты погладила мою руку и сказала шепотом:

— Ты сам-то что-нибудь поел?

А я, честно говоря, как-то не заметил этого: по-моему, что-то пожевал на ходу, но сейчас почувствовал, что очень голоден.

— Принеси тебе бутерброд с колбасой?

— Ага, — сказала ты моим словом. — Или лучше я сама выйду на кухню. Подай халатик. Мама с отцом, наверно, в гостях и не придет сегодня. Который час?

Ты надела халат и, придерживаясь за меня, вышла на кухню.

— Не разболится у Маши животик? — спросила ты, посмотрев на бутылку с соской.

Больше ты ничего не спрашивала. Мы послали, попили чаю и легли спать.

...Машенькин плач раздался сперва будто где-то в бесформенной черноте сна, в глубинах утомленного сознания. Он был досажен, назойлив, и мне хотелось застонать: так тяжело было подниматься.

— Конечно, разболелся у девочки живот, — сказала ты громко и раздраженно и откинула одеяло, намереваясь встать.

— Лежи, застудишься, — сказал я.

Я проверил у Машеньки постель — было сухо. Я стал трясти кровать, но Машенька не успокаивалась. Она сучила ножками и орала.

— Накормил! — сказала ты гневно.

Я вынул ее из кровати, прижал животиком к своей груди и стал ходить по комнате. Она на короткое время притихла, но вскоре опять стала сучить ножками и плакать. Да, ты была права: у нее болел живот — вероятно, оттого, что я пересладил молоко.

— Может быть, ей клизму сделать? — сказал я.

— Господи, что за мука! — сказала ты громким страдальческим голосом. — Умереть спокойно не дадут. Дай мне ее.

Но Машенька продолжала орать и рядом с тобой.

— Чем ты ее накормил? Может, ты разбавил молоко сырой водой? А молоко вскипятил? Сколько ты положил сахару?

Я терпеливо ответил на все твои вопросы и пошел на кухню. Я включил свет и стал листать брошюру. Через минуту ты появилась на пороге в одной ночной сорочке с Машенькой на руках.

— Книжки читает! Накормил ребенка какой-то дрянью и сидит читает! Подогрей чайник.

Я зажег газ, принес тебе из комнаты халат, попутно захватил со столика часы. Было четверть четвертого. Ты дала Машеньке чистой воды, перепеленала ее и попросила походить с ней еще, покачать.

— Она теперь скоро уснет, намаялась, бедная, — сказала ты.

— Положи ее в кровать, если она намаялась, может, правда уснет. Я тоже хочу лечь. Все-таки я работаю, — пожаловался я.

— А я в бирюльки играю? — сказала ты. — Ты думал, будешь только кататься, а саночки Пушкин за тебя будет возить?!

3

Ты и после нередко удивляла меня своей неблагодарностью. Но если бы дело было только в неблагодарности!..

— Надоело, — сказала ты, вернувшись как-то снежным февральским вечером из детской консультации. — Так все надоело!

— Что надоело? — спросил я, хотя отлично понимал, что ты имеешь в виду.

— Да все... Осмотры, взвешивания, прививки. Жизни нет.

— Но все молодые мамы проходят через это. А как же иначе? — сказал я, и в самом деле убежденный, что иначе нельзя.

Ты сердито посмотрела на меня.

— Тебе хорошо, уйдешь на работу и отдыхаешь. Я бы по две смены согласилась работать...

— Потому что ты никогда не работала, — сказал я. — Постояла бы за станком, или за чертежной доской, или даже за прилавком, — тогда узнала бы, как отдыхают на работе.

Ты задела меня за живое своим замечанием. И все-таки лучше было сдержаться и не затрагивать этой больной для тебя темы.

— Правильно, — сказала ты даже вроде бы обрадованно. — Но все по твоей милости. Ты воспользовался моей неопытностью, наобещал золотые горы, окрутил и обманул. Дура, не послушалась отца — не пошла в продавщицы. По крайней мере никто не посмел бы упрекать, что я не работаю.

— Да разве я тебя упрекаю?

— Подумать только! — продолжала ты, уже не слушая меня. — Женил на себе, сделал матерью, а теперь упрекает. Я ночи не сплю с его ребенком, стираю, обедаю готовлю, очереди по кабинетам в консультации выстаиваю, ни минуты покоя, ни жизни — ничего. И я не работаю!

— погоди, Таня, я же не говорил, что ты вообще не работаешь.

— Нет, дружок. Отдавай Машу в ясли, а я пойду на производство. Хватит. Осточертело!

Я опять не сдержался:

— Знаешь, Татьяна, так рассуждать может только мать, которая совершенно не любит своего ребенка. Поверь, что не от роскошной жизни работают на производстве кормящие матери.

— Я тебя не тянула за язык. Я не позволю себя упрекать. Я целый год в кино не была, я круглые сутки занимаюсь только ребенком — и что за это имею? Я плохая мать. Бездельница. Спасибо.

Губы твои дрожали. Было похоже, что ты вот-вот расплачешься.

— Таня, что с тобой? — сказал я. Мне вдруг стало ужасно жалко тебя.

— Ничего, — сказала ты. — Если ты сам не видишь и не понимаешь, то, я считаю, бесполезно что-либо объяснять тебе. Иди ужинай, кормилец.

— Танечка, — сказал я, — объясни мне ради бога, в чем я неправ.

— Иди ужинай.

— Я тебя люблю, Таня. Ты знаешь, как я тебя люблю. И я хочу, чтобы у нас был мир... Ну скажи, в чем?

— Ладно, не подмазывайся. Наговорил всяких гадостей, а теперь, как лиса хвостом...

Убей меня, я не понимал, что такого я тебе наговорил, и я вовсе не подмазывался. Но заметив, что и на этот раз слово «люблю» действует благотворно, я, чуть-чуть уже играя (а через минуту и не играя), обнял тебя, и таким образом мир был восстановлен.

Ну, конечно, я отдавал себе отчет в том, что тебе тяжело, что тебе стало еще труднее после того, как твоя мать была оперирована по поводу аппендицита и с тех пор не приходила к нам. Моя помощь по дому была недостаточной, я сознавал и это. И все же я был уверен, что виной всему — твоя изнеженность, то, что в свое время отец и мать не приучили тебя к серьезному труду. Я часто думал: как же управляются другие молодые матери? Ведь многие не только ухаживают за ребенком, но и домашнее хозяйство ведут исправно, а некоторые еще ухитряются и работать на производстве. Ты это знала, но порой под влиянием всяких разговоров в родительском доме тебе начинало казаться, что другим легче и лучше, что все как-то ловко устраивается, и только ты, дуручка такая, отдаешь все силы семье в ущерб своему здоровью, красоте.

Помнишь тот день, когда я вернулся из командировки и застал вас с Машенькой в постели, хотя

было уже около одиннадцати часов? У нас с тобой всегда были горячие встречи, даже после кратковременных разлук, и в тот раз тоже — ты прямо из постели, босоногая, теплая, кинулась мне на шею, — и, разумеется, ничего неприятного тебе в ту минуту я не решился сказать, но тогда, кажется, впервые у меня мелькнуло, что ты можешь испортить дочку неправильным уходом и воспитанием.

— А мы с Машей так сладко спали, так сладко... что все на свете проспало, — сказала ты, потягиваясь. — Погода, наверно, действует. Иди к ней, а я завтрак быстренько сделаю.

— Вы что же, вместе спите? — сказал я все-таки.

— Ладно, не ворчи, ворчун. Тебя же не было, а нам одним страшно спать порознь. Понял? Вымой руки сперва.

Я дотронулся губами до Машиной щеки, потом умылся, переоделся и стал с ней играть, пока ты готовила завтрак. Ворчать мне не хотелось. Наоборот, после бессонной ночи в поезде я с удовольствием сам забрался бы в эту нашу общую постель.

Осложнения начались вечером. Маша ни за что не хотела засыпать в своей кровати. Она вертелась, капризничала, ее тянуло под теплый материнский бочок.

— Ведь всего только две ночи и поспала со мной, — немного растерянно сказала ты и прикрикнула на Машу.

Маша разрыдалась. Она не могла понять, за что ее лишают того, что ей так удобно и приятно. Успокоить ее, казалось, не было никаких сил, и ты взяла ее на руки.

— Вот видишь, — сказал я. — Мало того, что ты нарушаешь элементарные правила гигиены, ты еще и морально калечишь ребенка.

— Ну, пошел, — сказала ты. — Заткни уши и спи. Это моя забота...

Конечно, это была не только твоя забота. Попробуй усни, когда орет Маша, орет упорно, вездливо, бесконечно. И я заранее знал, чем все кончится: ты перебросишь подушку на другой конец дивана и ляжешь вместе с Машей. Ты так и сделала. Я громко, тяжело вздохнул.

— Уснет — переложу, — объяснила ты.

Маша орала полночи. Всякий раз, когда ты пыталась ее, спящую, переложить в кроватку, она мгновенно просыпалась и начинала вопить. Мучилась она, мучилась ты, мучился я. И ты сдалась. В эту ночь нам не удалось победить Машу. Мы спали втроем: сперва «валетом», затем трое в ряд (ты посередине), затем опять «валетом». Ну, разве можно было так?

Утром я встал с головной болью. Я обычно сам готовил себе завтрак и уже привык. Но, возвращаясь из командировок, каждый раз чувствовал, что это ненормально, что есть в этом какой-то элемент неуважения ко мне, как к работнику и мужу. Так было и на сей раз. Ты не встала, чтобы покормить меня. Я подогрел вчерашний кофе, бросил на раскаленную сковородку три яйца и, пока, постреливая маслом, жарилась глазунья, высказал вслух все, что было на сердце.

Не знаю, слышала ли ты мой монолог, только в течение нескольких последующих дней вдруг все чудесно переменялось: ты ни на что не жаловалась, и Маша почти не капризничала, и ночью мы спали по-человечески, и даже ты начала заботиться о моем завтраке: готовила с вечера, а утром перед уходом на работу мне оставалось лишь разогреть его.

А потом все пошло на старый лад. Я видел, что ты томишься, что тебя удручают однообразные твои

обязанности. Нельзя сказать, что я совсем не понимал тебя и в глубине души не сочувствовал. Но что я мог поделать? Я про себя рассуждал примерно так. Редкий труд приносит человеку одно удовольствие. Даже в нашем конструкторском деле, по сути, творческой работе, много чисто механического, чернового и даже просто грубо мускульного труда. И труд матери-хозяйки в этом смысле не исключение.

Но я не только сам так думал. Я старался убедить тебя, что быть хорошей матерью не менее почетно, чем быть хорошей производственницей, что можно найти замену любому инженеру, актрисе, но хорошую мать в семье никто не заменит. Ты не спорила, даже соглашалась, но день ото дня делалась печальнее и рассеяннее. С тревогой следил я за тем, как ты, вероятно, помимо воли, все небрежнее относишься к своим материнским обязанностям. Придя с работы, я часто заставлял Машеньку в несвежих кофточках и ползунках, в ванне валялась грудка грязных пеленок, а ты в это время могла преспокойно сидеть на диване или у окна и грызть семечки.

Иногда, видя такое, мне хотелось выругаться и заставить тебя делать то, что входило в твои обязанности хозяйки и матери. Иногда же у меня почему-то больно сжималось сердце, и я чувствовал себя беспомощным и растерянным и обычно сам принимался стирать пеленки и ползунки, умывал и переодевал Машеньку.

Назревал какой-то новый кризис в наших отношениях. Я был бессилен предотвратить его, и это было, пожалуй, самым тяжелым для меня.

8 марта, ярким золотистым вечером, я пришел домой с двумя веточками мимозы и коробкой конфет. Ты была загадочно мягка, внимательна ко мне, а Машенька, одетая в новую кофточку, сидела обложенная подушками в своей кроватке и играла пестрым целлулоидным попугаем.

Я умылся и сел за стол. Ты налила мне душистого, свежесваренного чая, какой я люблю.

— Валера, постарайся не волноваться и все пойми правильно, — сказала ты. — Я оформилась на работу.

— А Маша? — почти крикнул я.

— Ты выслушай, а потом будешь кричать. Я оформилась кастеляншей в наши детские ясли, в нашем доме, и Машенька будет в яслях, у меня на глазах. Хорошо?

— Что же хорошего? Какой смысл?

— Какой смысл? — переспросила ты. — Я думала, ты обрадуешься. Неужели ты не понимаешь...

— Что я должен понимать? — перебил я тебя. — Это ты не понимаешь, что в ясли и в сады, и особенно в ясли, отдают, когда нет другого выхода. Любая настоящая мать чувствует это. Это не нами, а самой природой установлено: мать должна вскармливать своего детеныша, мать. Понятно тебе или нет? Самой природой!

— Ну и псих! — сказала ты, пристально глядя на меня, но только подлила масла в огонь.

— А болезни? Спроси кого угодно, спроси в детской консультации или в поликлинике, какие дети болеют больше — домашние или ясельные? Если сейчас Маша дома сидит здоровая (тьфу, тьфу!), то потом будет считаться, что она в яслях, а фактически тоже будет дома, только больная: корь, свинка, коклюш, скарлатина — я знаю?

Ты все пристальнее глядела на меня.

— Валерочка, ты вот все о Маше и о Маше. А я, по-твоему, не человек?

Я опять закричал:

— Ты мать, кормящая мать, и дочке твоей всего семь месяцев. У нас на заводе работницы берут



отпуск за свой счет и год проводят дома ради ребенка. Нуждаются в деньгах, а берут отпуск. А ты не нуждаешься ни в чем...

Я кричал и в то же время следил за тобой. Лицо твое потемнело. Ты села у Машиной кровати.

— Не отпускать меня на работу не имеешь права. Силой заставить сидеть дома — тоже не выйдет. Как угодно. Я хотела по-хорошему. А не хочешь по-хорошему...

Я не дослушал. Схватил шапку, пальто и бросился вон.

На улице продолжался яркий, золотистый вечер. Было 8 Марта — международный праздник женщин. Я видел у многих прохожих такие же веточки мимозы, какие я нес домой час тому назад, видел сквозь стекло витрин веселую толчею у прилавков, и от этого чувство горечи во мне только усилилось. «Почему у нас ни в чем нет согласия? — думал я. — Почему мы двое, наверно, не таких уж плохих людей, выросших в одно время, любящих друг друга, — почему мы не можем ужиться под одной крышей? В чем корень зла? Кто виноват? А может, и правда, сам я виноват: недопонимаю чего-то?» Эта последняя мысль показалась мне приятной. Я шел вниз по Кутузовскому проспекту и, вероятно, завернул бы

на Дорогомиловскую к дядьке и излил бы ему душу, но мысль, что я сам виноват в своих семейных неурядицах, остановила меня на полпути. Это была моя слабость: в сущности, мне очень хотелось вернуться домой, и я уцепился за мысль, что я сам виноват. Она потому и показалась мне приятной, что оправдывала мое немедленное возвращение к жене и дочке.

Я купил кофе и вернулся домой с таким видом, будто я только за тем и отлучился, чтобы купить кофе. Во всяком случае, я хотел так выглядеть: я озабочен, несколько огорчен, но, в общем, ничего экстраординарного не произошло. И ты сделала такой вид, будто ничего не произошло: ну, чуть повздорили, поцапались, но мы, мол, не придаем этому значения.

Я сварил кофе и встал под открытой форточкой на кухне покурить.

— Так вкусно пахнет кофе! — сказала ты.

— Тебе налить? — сказал я. — А когда ты должна приступать к работе?

— Утром. Завтра утром. Ты знаешь, там такая хорошая заведующая...

— Ну, а Маша?

— Тоже утром. Я сделала все анализы, у нее все



хорошо. Сказали — хорошая, здоровая девочка, развивается нормально. Честное слово, это к лучшему.

— Да,— сказал я с большим сомнением, потушил окурок и закрыл форточку.

Чего я боялся? Больше всего, что будет часто болеть Машенька. И я боялся, что дома снова станет не прибрано, неуютно, как до рождения дочки. Кроме того, мне казалось, что, поступив на работу, ты внутренне еще дальше отойдешь от меня.

Да так оно все и стало — почти так... Ох, до чего же я не любил входить в пустую квартиру, когда ты задерживалась в яслях! Тоской и запустением веяло от голых стен, от целлулоидного попугая и разноцветных погремушек, валявшихся под детской кроватью. Мне совсем нетрудно было открыть форточку и, засучив рукава, стереть с мебели пыль, подмести пол и даже натереть его суконой, и перемыть оставленную с вечера грязную посуду, а заодно горячей водой ополоснуть Машенькины игрушки и положить их на место. Физически — нетрудно. Но внутренний голос — я думаю, это голос мужского достоинства — говорил мне: «Пусть. Если хаос в доме не трогает ее, женщину, то он не должен трогать и меня».

По вечерам мы снова начали питаться преимуще-

ственно пельменями и покупными котлетами. Но главное — тебе не стало лучше. Я видел это, хотя ты и крепилась и рассказывала одно лишь хорошее про свои ясли. Наверное, тебе было там повеселее, чем дома, но морального удовлетворения ты, несомненно, не испытывала; и уставала за день не меньше прежнего. Машенька как-то побледнела, пожелтела, хотя и прибавила в весе. Благо еще не коснулись ее пока никакие эпидемии...

Я терпел. Молчал. Мне хотелось, чтобы само время рассудило нас.

Помнишь тот серый апрельский денек? Тот самый — ровно месяц спустя после того, как ты поступила на работу. Это была суббота, и уже в три часа я был дома. Точно в три — так получилось — я открыл дверь нашей квартиры, и на меня пахнуло теплом и уютом. Я в одно мгновение понял, как стало у нас хорошо: чисто, спокойно, и все вещи на своих местах. Разумеется, ты была дома; ты читала женский календарь, и Машенька, вымытая, в наглаженной рубашечке, возилась с игрушками в своей кровати.

— А сегодня какой у нас праздник? — сказал я, еще не веря своей догадке.

— Какой праздник? — переспросила ты чуть смущенно. — Никакой. Завтра воскресенье.

— А сегодня, следовательно, суббота, и ты просто пришла пораньше, — сказал я, веселея.

— Нет, я вообще... Я взяла расчет.

— Что?

— Ты представляешь, это такая собака... — Ты была смущена, но рада, тоже рада, я видел.

— Кто собака, Таня?

— Да заведующая. Такая, знаешь, придира.

Я не мог отказать себе в удовольствии слегка подтрунить над тобой.

— Это другая, видимо, заведующая. Новая... Первая-то очень была хорошей, я помню. Ты ее очень хвалила.

— Ладно, все, — сказала ты. — Без розыгрыша. Иди мой руки — и обедать.

Обед, как я учуял еще в дверях, был на славу. Отличный грибной суп, а на второе — с мясом, луком, лавровым листом и черным перцем тушеный картофель, а на третье — густой клюквенный кисель. Только в такой форме могла ты признать свою неправоту. Так было прежде и так было потом: когда ты чувствовала себя виноватой, ты немедленно прибегала в квартиру и готовила вкусный обед.

И хотя справедливость требовала, чтобы ты ясно сказала, что зря целый месяц мучила меня, дочку да и себя, наверно, я на радостях не стал требовать от тебя покаяния. «Бог с тобой», — думал я.

Весна в тот год была ранней, стояли теплые, душевные, безветренные дни, и, право, мы хорошо сделали, что сразу после Первомайских праздников переехали на дачу. Казалось, проблема исчезла: ты не жаловалась на скуку, и никто больше не мог назвать тебя плохой матерью. С той весны Машенька ежегодно с мая по август (а дважды и по сентябрю) переходила на попечение твоих родителей, и у нас с тобой наступала полоса ровных отношений. И вообще уже начинало казаться, что все у нас хорошо, да так будет и впредь. Знаешь, слабость ли это моя или так уж устроен человек, но как-то ужасно не хотелось лишиться приятных иллюзий.

Летом я верил, что ты хорошая мать и жена.

Зимой стонал, ругался — ты это помнишь, — потому что все с небольшими вариациями повторялось: Маша, неряшливо одетая и подчас неумытая, возилась со своими игрушками, а ты с глубоко несчастным видом сидела на диване и грызла семечки.

И не раз повторяла мне:

— Я виновата, что мне скучно? Я все понимаю: благородная цель, полезно, нужно, но я не только мать, но и человек, и мне надоело. Уж скорее бы лето опять!

4

Наверно, это было самое сильное потрясение в моей жизни. Вернувшись в тот день на дачу позднее обычного (было производственное совещание, на котором шеф поставил интереснейшую задачу нашей группе «математиков» во главе с Вадимом), я застал тебя полураздетую с Машенькой на руках. И надо же так случиться, что именно в этот день твои родители уехали по делам в Москву и там остались ночевать.

— Где ты пропадаешь? У нее сильный жар, — сказала ты раздраженным, виноватым и испуганным голосом. — И дома никого нет. Что делать? Кошмар!

Я взял у тебя Машеньку. Она не плакала, не капризничала, только слабо постанывала, как взрослая. Я взял ее на руки, и она меня обожгла. Тельце ее

прожигало сквозь детское пижамное одеяло, в которое ты завернула ее. Это был какой-то горячий утюжок, обернутый одеялом. У нее было, наверно, не меньше сорока.

Во мне все онемело от страха, горя, жалости и безмерной любви, которую я особенно резко ощутил в ту минуту.

— Срочно врача надо, — сказал я почему-то шепотом.

— Папа, я к маме хочу, — хриплым, спешимся голосом сказала Машенька. — Воды хочу.

Я ее передал тебе и выскочил на улицу. Было уже около десяти, но я не думал, удобно это или неудобно — врываться на квартиру к участковому врачу. Дико залаяла собака, загремела цепью, за дверью послышался глуховатый голос хозяина. Я сбивчиво и, должно быть, очень взволнованно объяснил, в чем дело, и я до сих пор не могу забыть того чувства нежности, которое охватило меня, когда через несколько минут, держа под мышкой потертый саквояжик, врач, сутулый, черный, мрачноватый с виду человек, вышел ко мне. Я понимал, что он обязан, и все же я так благодарен был ему! Пожилой, по возрасту годящийся мне в отцы, бывший полковой врач-фронтовик, он шел послушно за мной. Я бы валялся у него в ногах, если бы он сказал, что не может, или не обязан, или, например, что он тяжело болен и поэтому не пойдет.

Но он послушно шел за мной, высокий, сутуловатый человек долга. Он почти ничего не спрашивал меня. Так же почти ничего не спрашивая — ты помнишь, — он вставил в уши концы резиновых трубок фонендоскопа и стал выслушивать Машеньку, всю огненную, с лихорадочно блестящими глазами.

— У девочки двустороннее воспаление легких, — сказал он хмуро.

Потом я держал Машеньку на руках, прижав ее личиком к себе, чтобы она не видела шприца, а ты вертелась вокруг и суетливо повторяла:

— Вы все как нужно делаете, доктор? Это не больно?

Бедной девочке сделали укол, поставили горчичники (у этого врача все необходимое было при себе), наконец, он попрощался, строго наказав нам вызвать утром детского врача. Я успел проникнуться глубоким уважением к этому мрачноватому, неразговорчивому человеку, и я верил ему.

...Как мне хотелось, чтобы Машенька поплакала по-настоящему, упрямо и звонко, поорала бы во всю силу, добиваясь чего-нибудь своего. Но Машенька только, как взрослая, постанывала слабым, надтреснутым голосом и время от времени говорила:

— Хочу к маме. Воды хочу.

Ты брала ее у меня и давала теплой воды. Но и на твоих руках ей не было легче, и она не понимала, что с ней, почему ей так плохо, и скоро беззвучным своим, каким-то спешимся голосом опять говорила:

— К папе хочу. Хочу воды. К папе.

Ночь была теплая, и я ходил по веранде, держа ее на руках, не чувствуя усталости, готовый ходить так до бесконечности. Лишь бы ей стало полегче.

И ей стало полегче. Перед рассветом. Ты, измученная, уснула на неразобранной постели, а потом уснула Машенька у меня на руках. Я почувствовал, что тельце ее больше не прожигает сквозь одеяло, и дыхание сделалось не таким частым и шумным.

Я осторожно опустил ее в кроватку, постоял, прислушиваясь к ее дыханию, посмотрел на часы — было без четверти три — и тоже лег. В обычное время утром я был на ногах и, так как Машенька спокойно спала, решил, что особой опасности уже нет. Я не

стал будить тебя. Выпил кружку молока и пошел на электричку. Но на столе оставил записку: «Таня, не забудь вызвать детского врача».

На работе я все-таки не находил себе места.

Слепящее июньское солнце било в окна, сверху из открытой фрамуги тянуло приторным запахом спиртового лака. Я не мог сосредоточиться. Сидел за столом, сжав ладонями виски и тупо глядя на ряды чисел, которые еще вчера имели определенный смысл и представлялись увлекательной задачей, а сегодня были не более чем бесформенным нагромождением мертвых знаков, словно из вещей вынули душу. Тщетно я призывал на помощь волю и говорил себе, что эти числа не что-нибудь, а важные исходные данные для расчета основного узла автоматической системы управления, — то, над чем трудился весь отдел, что дело чести нашей группы решить свою часть задачи на современном уровне, быстро и четко, и тем самым мощно продвинуть весь проект, а заодно утереть нос нашим оппонентам «антиматематикам», пытающимся вести подобные расчеты старыми методами, что я обязан думать только о задаче и все посторонние мысли гнать прочь. Я говорил себе это, до боли тиская виски, а в голове независимо крутилась одна и та же фраза: «Вещи подождут, человек не подождет». Я боролся с собой до тех пор, пока Вадик на правах руководителя группы не сказал мне: «Иди, старик, с начальством я улажу... Все равно ты сегодня же не инженер... Поклон дочке».

В котором часу я вернулся на дачу? По-моему, было не меньше двенадцати. Твои родители возвратились из Москвы, и каждый занялся своим делом. Машенька, пожелтевшая и осунувшаяся, сидела в подушках на диване и пеленала плюшевого медвежонка. Ты распарывала по швам старое платье.

— Врач был? — спросил я.

— Да она уже хорошо себя чувствует, — сказала ты и с интересом уставилась на меня. — А ты почему, собственно, не на работе?

Я дотронулся рукой до лобика Маши — лобик оказался мне лишь чуть теплым.

— Температуру мерили?

— На ручки, — сказала Машенька, отбросив медвежонка.

— Ну что ты сеешь панику? — сказала ты. — Девочке лучше...

— Да у нее же двустороннее воспаление легких, — сказал я с легкой дрожью в голосе. — Пойми, воспаление легких, двустороннее!

Я прислонился щекой к Машенькиному лбу — лоб был горячим.

— Папа, на ручки!

— Ну и паникер! — сказала ты, но отложила свое рукоделие и стала искать градусник.

— Почему ты не вызвала детского врача? — спросил я очень тихо и, не дожидаясь твоего ответа, вышел.

Твой отец, точь-в-точь как другие пенсионеры-дачевладельцы, седой, с брюшком, в неизменной голубой майке, катил навстречу тачку с удобрением. Поравнявшись со мной, обтер пот и сказал, что главное — это не паниковать, что надо заварить малинки на ночь, как бывало в прежние времена... Я и его не стал слушать (хоть он по-своему и любил Машеньку) и быстрым шагом направился в поселковую амбулаторию.

Я вернулся через час, взмыленный, злой, ведя почти за руку педиатра — толстую краснолицую женщину в белом халате. И только она взглянула на Машеньку, только нащупала пульс, как тут же закричала на нас:

— А утром что вы думали? Почему не вызвали? Температура?

— Тридцать восемь и семь, — пролепетала ты.

Толстая красная женщина внимательно, холодно-то посмотрела на тебя, но ничего не сказала и стала выслушивать Машеньку.

— Надо немедленно класть в больницу.

— Но у нас дома все условия, — побледнев, сказала ты. — Мы можем даже заплатить, если надо...

Женщина снова ничего не ответила и пересела за стол выписывать рецепты.

— Разденьте, уложите под одеяло. Сейчас я пришло сестру, она сделает инъекцию. Вечером — еще раз... Так не хотите в больницу?

— Нет-нет, — сказала ты. — И кто бы мог подумать? Повалялась вспотевшая на травке...

Как я презирал тебя в ту минуту! Первый раз в жизни презирал. За что? Есть такая казенная, но очень точная формулировка: «Преступная халатность». Так вот, в моих глазах ты была преступницей того рода.

Я взял рецепты и пошел вслед за врачом.

— Скажите, это очень опасно — у дочки? — спросил я ее уже за калиткой.

— Палец оцарапаете, и то бывает опасно, — сказала она, не глядя на меня, и повторила: — Сейчас я пришло сестру.

Я понял, что опасно. Даже, может быть, очень. Я побегал в аптеку, а когда возвратился — сестра кипятила на нашей плитке инструмент. Машеньку пришлось крепко держать: она уже знала, что такое уколы. Горько плакала она, уткнувшись в твое плечо, и слабым, сухим от жара голосом повторяла, словно взрослая:

— Ой, мама, мама, мама...

Как презирал я тебя тогда! Мне было душно, противно, тягостно. Довести до такого состояния своего единственного ребенка — это ли не крайняя степень подлости, забвения своего первейшего, святейшего долга — долга матери!

Я не мог больше тебе доверять. Я послал на работу заверенную врачом телеграмму с просьбой предоставить мне немедленно очередной отпуск ввиду тяжелой болезни дочери. Я решил все делать сам.

Ты этого не можешь не помнить: я сам ставил Машеньке горчичники, давал лекарство, с ложечки кормил и поил ее. Я держал ее за ножки, когда сестра вонзала в нее свой адский шприц. И вставал к ней ночью. И высаживал на горшок днем... У меня каменело от горя сердце, когда я смотрел на ее будто ссохшееся личико с запавшими, страдальческими глазами, на ее тонкую-тонкую, беззащитную шею.

Конечно, я видел, что и ты страдаешь. Даже замечал следы слез на щеках твоих. И твое отчаяние, когда неделю спустя врач дала нам понять, чего она боится — а она боялась, как бы у Машеньки не начался туберкулезный процесс. Ты чувствовала мое безмерное презрение к тебе. Но ты тогда молчала. Я думаю, ты все-таки поняла, что это из-за тебя пришло такое несчастье к нам.

Я даже слышал случайно, как ты каялась своей единственной подруге Томочке, которая приезжала к тебе каждое воскресенье. Ты говорила ей так: «Стец с матерью уехали в город, Валера на работе, ну, дома же скучно — одни на даче, ну мы и пошли в рощу. Маша бегала с сачком, ловила бабочек, вспотела, а я разговаривала с одной культурной дамой и не обратила внимания: она, Маша, улеглась

потная в сырую траву охладиться и охладилась. Конечно, виновата я. Черт дернул меня с этой культурной дамой. Но не плюнешь же человеку в глаза...»

— Надо вот что, — сказал я тебе сразу после того, как врач дала понять нам, чего она боится. — С завтрашнего утра я буду возить Машу в сосновый бор, а ты изволь приносить ей туда обед.

— Хорошо, — сказала ты покорно.

...Это были изумительные, тихие, прозрачные дни. Как только высыхала роса на траве, мы с Машенькой отправлялись в путь — с нашего дачного участка на простор, мимо березовой рощи, к густому, почти непроходимому сосняку. Нам было весело смотреть друг на друга: мне, навьюченному громоздкой поклажей, — на дочку, а дочке, сидящей в открытой коляске, — на меня. Я это по ее глазам видел. Она радовалась, что мы опять едем жить в лес, на нашу солнечную поляну, окруженную плотной стеной сербристо-зеленых сосенок, в наш «домик» — естественное, наподобие грота, углубление в этой стене. Мы опять будем играть в сказку, бросаться шишками, разглядывать разных букашек, которых я ловил и прятал в пустой спичечный коробок...

Через три часа ты приносила нам обед. Я кормил Машеньку супом, а ты в это время лежала неподалеку в тени орешника и смотрела сквозь кружево листьев на синеву неба. Потом ты давала ей второе и третье, а я, поев, переходил на твое место в тень. Ты сидела возле дочки, пока она не засыпала. Когда, тихонько собрав посуду, ты уходила домой, я перебирался поближе к Машеньке. Я так любил глядеть на нее спящую на раскладушке, укрытую белой простыней, в этом сосновом «гроте», пронизанном огненными иглами солнца! Я глядел на ее личико и видел, как буквально на моих глазах совершается чудо: ее щечки, еще недавно желтовато-бледные, словно ростки проросшего в погребе картофеля, вдруг становятся золотисто-смуглыми, тонко розовеют, наливаются свежестью, солнышком, здоровьем.

На пятый день нашей «лесной» жизни Машенька стала подниматься с раскладушки, на седьмой — лавила вместе со мной бабочек на поляне, на десятый — без твоего ведома я повез ее в Москву в детскую поликлинику на рентген, и мне было сказано, что она, Машенька, абсолютно здорова. Кто бы знал, как я был счастлив! «Абсолютно», — сказала врачиха, старая, опытная, придирчивая. Я подхватил Машеньку на руки, и мы побежали к остановке автобуса. Возвратившись на дачу, я сказал тебе только одно (ты это помнишь), сказал, как выдохнул:

— Опасность миновала...

— Я и без тебя знаю, — ответила ты. — Подумаешь, Америку открыл!

Спокойно, равнодушно, будто ничего такого и не было с твоей дочерью, будто и твоих переживаний — страха, слез, усталости — тоже не было, вообще ничего не было.

И тогда — впервые при Машеньке — я грубо выругался. Грубо, длинно, отчаянно. И побрел обедать в станционный буфет. На следующий день я вышел на работу, не использовав и половины своего отпуска. Но не это важно.

Важно, что никаких уроков из истории с тяжелой болезнью Машеньки ты не извлекла. Осенью, когда мы вернулись в город, ты опять ее простудила. И опять из-за своей небрежности, невнимательности, из-за той душевной инертности, в основе которой покоится нежелание или неспособность что-то отдавать другому, даже ребенку своему. Нет, я ничего не преувеличиваю.

Печальное и смешное шло в нашей жизни рядом, и порой невозможно было понять, где кончается одно и начинается другое...

Помнишь это последнее наше возвращение с дачи? На третий или четвертый день по переезде ты мне сказала:

— Давай раскошеливайся. В детский универсам привезли шубки на Машу.

— Сколько стоит? — спросил я.

— Шестьдесят, да шапочка — пять, да варежки новые, да шерстяные носки, если будут, — еще клади пятерку. Всего семьдесят.

— Таня, а откуда я возьму сейчас семьдесят рублей? — сказал я.

— Что же, по-твоему, оставить Машу в драной шубке?

— Я не знаю. До зарплаты еще больше недели. И вообще — на что мы будем жить, если ты все деньги потратишь на Машу?

Ты посмотрела на меня с сожалением. Потом отвернулась и вздохнула.

— И это любящий отец называется...

— Слушай, — сказал я, — ты думаешь, что говоришь?

— Что мне думать? Это ты думай. Маше нужна новая шубка, новые варежки, носки. Потом, ближе к сезону, ты этого нигде не найдешь. Ясно тебе?

— Мне одно неясно: где взять деньги?

— Деньги я одолжу у родителей. А ты попроси у себя на работе в кассе взаимопомощи, и мы им вернем. Проси больше, я тут присмотрела чудные чехословацкие босоножки...

— А без босоножек хотя бы нельзя? Ведь впереди зима.

— Дурачок, — сказала ты. — Готовь сани летом, а телегу зимой.

— Да, сани, телега, — сказал я. — Любишь кататься — люби саночки возить. Что еще?

— Не надо было жениться, если не можешь обеспечить семью.

— По одежке протягивай ножки. Тише едешь — дальше будешь. На чужой каравай рта не разевай.

— Ладно, не психуй, мне некогда. Надо успеть до закрытия универсама съездить за деньгами к маме. Поставь варить картошку и смотри за Машей.

Ты уехала к родителям на Смоленскую, а мы с Машей наскоро приготовили ужин. По опыту я знал, что, если не накормить ее до твоего возвращения с покупками, она останется голодной.

Маша ела котлету с картофельным пюре и болтала под столом ногами. Я заметил ей, что это плохая манера — болтать ногами.

— Ты сердитый сегодня, да? — сказала она. — У тебя мама денежки просит?

— Да, — сказал я. — Она просит то, чего у меня нет. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Маша. — А ты поищи и найди.

Памятуя, что устами младенца глаголет истина, я иногда советовался с Машей. Но деньги — это был, конечно, не тот предмет, который можно было обсудить с четырехлетней дочкой.

— Знаешь, сколько найди? — продолжала она. — Тысячу.

— Может быть, миллион? — рассеянно спросил я.

— Не знаю. Может быть, — ответила Маша и лукаво взглянула на меня. — Я чего не знаю, того не знаю. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал я.— Ты мартышка. У тебя мои глаза и волосы, а рот и нос мамин. И давай лучше не будем о деньгах.

— У меня, во-первых, мои глаза и мой рот,— с достоинством возразила Маша.— И я никакая не мартышка, а доченька. А ты, во-вторых, поцелуй маму, и она не будет просить у тебя денежки. Я больше не хочу пюре...

Ты вернулась в начале восьмого с большим, перевязанным крест-накрест пакетом. Глаза твои блестящие. Движения были порывисты, широки, целеустремленны.

— Сейчас, доченька,— сказала ты и перерезала столовым ножом бечевку.

Оберточная бумага с шуршанием распалась, и из нее выскочила упругая светло-коричневая шубка. Ты подхватила ее одной рукой, другой поймала Машину ручку, взглянула торжествующе-взволнованно на меня и сказала:

— Сейчас ты посмотришь, что у тебя за жена! И деньги раздобыла и шубку подобрала... все! Надешь валенки, дочка.

Шубка действительно была хороша, разве только чуть великовата для Маши. Я был рад, но как радовалась ты — редко кто мог так радоваться! Ты поворачивала Машу, заставляла ходить, наклоняться, выпрямляться и все время требовательно обращалась ко мне:

— Ну? Как?

— Ну, отлично.

— Нет, ты обрати внимание, какой большой запах! Ты видишь?

— Да, здорово.

— Теперь ей до самой школы хватит. А ну, еще раз повернись, доченька! Ты видишь?

— Что?

— Ты ничего не видишь?

— Ну, вижу, что хорошо; отличная шубка. Но, может быть, довольно? Мы замучили девочку...

— Да ты посмотри на подкладку. Тебе что, не нравится? Или денег жалко?

— Ничего, Таня, мне не жалко. И все нравится. Шубка прекрасная, запах большой, и подкладка что надо, и ты, безусловно, хорошая хозяйка,— быстро говорил я.

— Честно? — допытывалась ты, заглядывая мне в глаза.

На другой вечер сцена повторилась. Ты купила Маше детский спортивный гарнитур: красную вязаную шапочку, шарф и варежки. И снова, облаченная в шубу и валенки, ходила Маша по комнате, поворачивалась, наклонялась и выпрямлялась, а я наполовину от души, наполовину из вежливости охал и говорил, как здорово подходит красная шапочка с варежками и шарфом к золотистой шубке, какой это замечательный ансамбль и вообще — вкус у моей жены удивительный.

Разумеется, я тебе льстил, но если бы не льстил, то ты была бы искренне огорчена и опечалена. Было что-то трогательно-детское в твоей пылкой любви к обновам, хотя я и понимал, что любовь эта во многом протекает от унаследованной тобой страсти — приобрести.

Минул еще один день — как раз в этот день касса взаимопомощи отвалила мне сто восемьдесят рубликов, максимальную, равную моему месячному окладу сумму, коей касса имела право распорядиться, — я вернулся с работы и не успел еще переступить порог, как услышал какую-то суету и твой радостно-взволнованный голос из комнаты:

— Валера, подожди, не заходи...

— Ой, папа, не заходи! — воскликнула Машенька.

Я понял, что ты купила что-то себе, и мне необходимо внутренне подготовиться к этому. Я разделся, умылся, причесался, немного подождал, не выходя из ванной, наконец, как будто мы играли в прятки, громко раздалось:

— Можно!

— Иду! — сказал я и, полузажмурившись, шагнул вперед.

Ты стояла посреди комнаты, чуть наклонив голову, и глаза твои быстро, зорко, томно бежали мое лицо. Я еще не видел, что на тебе, но уже чувствовал — это что-то выдающееся, потрясающее, то, чего у других нет и никогда не может быть. Сперва я заметил, что губы твои подкрашены, лоб и нос подпудрены, прическа — в идеальном, я бы сказал, скульптурном порядке. Затем я уловил твое дыхание, напряженную, заданную позу твою и главное — написанный на твоём лице вопрос: «Ну? Как?..» Рот мой, я чувствовал, раскрывался все шире, глаза, округляясь, становились все радостнее, я сделал еще шаг вперед и, достав платок, обессиленно промокнул пот на лбу. Только в этот момент я разглядел, что на тебе очень хорошее черное, с блестящей ниткой, платье.

— Ну, убила! — сказал я и в глубине души был по-настоящему рад, что у тебя такое красивое новое платье, что оно так хорошо сидит на тебе и что, наконец, ты такая вот, какая ты есть в этом платье, что ты моя жена.

Дальше следовало то, что почти не поддается описанию. Я опять охал, кивал, восхищался, выслушивая тысячу твоих тончайших замечаний по поводу достоинства платья; что-то восторженное и, по-видимому, глупое бормотал сам, я смотрел на тебя, когда ты прохаживалась, останавливалась, поворачивала голову налево, направо, смотрел, и вот что скажу тебе: я видел твое милое, как мне казалось тогда, милое, милое, мальчишески-счастливое лицо. Ей-богу, не каюсь и не осуждаю ни тебя, ни себя за этот театр. Ты была счастлива, хоть так счастлива, а я, глядя на тебя, в душе своей очень-очень рад.

В тот вечер мы легли спать полуголодные (ужин ты, конечно, не успела приготовить), но спали, как мне помнится, отменно.

Чтобы сбалансировать наш бюджет, я попросил у своего шефа — начальника отдела — какую-нибудь сверхурочную работу. Он устроил меня на подставку в экспериментальную мастерскую. Естественно, домой я стал возвращаться позже, хотя и работал без обеда (выгадывал час времени). Ты мне давала с собой бутерброды с докторской колбасой, но в некоторые дни я мог изловчиться и, забежав в буфет, съесть что-нибудь горячее — сосиски, например. Однажды я сказал тебе, что сверх тех денег, которые ты, как распорядитель кредитов, выдаешь мне на проезд и сигареты, мне надо бы еще три-четыре рубля в неделю на буфет.

— Валера, ты же берешь с собой бутерброды,— сказала ты. — Денег мне, конечно, не жалко, в конце концов ты хозяин, но учти, что мы так никогда ничего не накопим... Да что накопим — из долгов не выпутаемся. — Ты недовольно поджала губы и вдруг поразительно стала похожа на своего отца, каким он бывал, когда к нему обращались с просьбами.

— Таня,— сказал я,— мне как-то неловко тебе это объяснять. Я работаю теперь по десять часов вместо семи. Причем, должен признаться, сильно устаю. И бутербродов твоих с докторской колбасой мне не хватает. Я есть хочу на работе — понимаешь? А деньги я заработаю.

— Возьми еще бутерброд.

— Но если мне хочется горячего... Могу я себе позволить такую роскошь?

— Сколько тебе надо?

— Рубля четыре.

— Ты же сказал — три. Ну что ты на меня так смотришь? Ты же сам сказал...

— Хорошо, три.

— Знаешь, бери все. И не морочь мне голову. Забирай все свои несчастные гроши и оставь меня в покое!

Ты схватила сумочку и стала переключать в ней какие-то бумажки, корешки, квитанции с лиловыми копировальными буквами. В душе твоей шла борьба, и следы этой борьбы явственно обозначились на твоём лице. Мне стало жалко тебя.

— У тебя мелочи нет? — сказал я.

— У тебя два рубля есть? — спросила ты. — А то у меня вот только такие... Ты мучительно мяла в руке синеватую пятирублевку.

— Поищи мелочь, я опаздываю. Дай мне копеек пятьдесят, и довольно на сегодня, мне надо бежать...

И так почти каждое утро, ты помнишь.

А вечером — другое... Прежде я приходил с работы в пять, теперь всегда не раньше половины восьмого. Я возвращался измождённый, одеревенелый и, как бы ни был голоден, валился минут на двадцать на диван. Порой, когда особенно уставал, я даже засыпал на короткое время перед ужином. В такие вечера я был тебе плохим помощником в домашних делах, а точнее — никаким. И именно в такие вечера ты заводилась надолго и была беспощадна.

Как-то раз ты сказала:

— Все после работы приходят к семье и что-то делают, а у нас все не как у людей.

Я чувствовал себя несколько виноватым и не ответил. Это еще больше рассердило тебя.

— Ну, что молчишь? Что как воды в рот набрал? Пришел с работы, и нет чтобы помочь жене: почистить картошку или хотя бы поточить нож. Другой муж не меньше тебя устает, а и в магазины ходит, и полы натирает, и все веселый.

— Какой другой? — сказал я.

— Ладно, все ты понимаешь, не притворяйся... Может, отвезем Машу к бабушке и сходим в кино?

— Это невозможно. Подожди до воскресенья.

Ты усмехнулась.

— Не надо брать сверхурочную, если не можешь.

— То есть как это не могу? — сказал я. — С работой я справляюсь. Деньги зарабатываю. Остальные свои обязанности тоже, кажется, выполняю. Что еще?

— Эх ты, неудачник! У другого в двадцать шесть лет и своя машина и на книжке есть кое-что. Неудачник!

Тебе страшно хотелось обидеть меня, но я решил не поддаваться.

— Таня, — сказал я как можно мягче, — что ты от меня хочешь? Ну, прямо...

— Настоящей человеческой жизни, — сказала ты, — то, что мне обещал. А пока хотя бы внимания...

— Скоро я закончу эту работу и снова буду приходить вовремя, тогда я опять буду весь в твоём распоряжении. Потерпи. Ну, надо же нам залатать пробоины в бюджете. Неужели ты этого не понимаешь?

— Понимаю. Но мне надоело.

— Что тебе опять надоело?

— Ждать надоело. Копейки считать.

Я был готов вспылить. И вспылел бы, если бы Машенька, сидевшая на горшке, не попросила сонным

голосом подать ей бумажку. Помню, я все-таки сказал тебе:

— Ты тратишь в месяц на троих почти две тысячи старыми. И это ты называешь — считать копейки. Стыдно!

На что ты мне ответила:

— Мне стыдиться нечего. Я не трачу по пятёрке на сигареты и не выуживаю у жены последние рубли на дополнительные горячие завтраки.

Ну что я мог на это сказать? Я крепко стиснул зубы и поспешил на лестничную площадку. Так было приятно поглубже затянуться сигаретным дымком и попробовать успокоить себя нехитрым рассуждением, что вот, мол, это тоже жизнь, и без разговора о деньгах не обходится ни одна семья; словом, такая жизнь!

Я терпел. Пока я еще мог терпеть.

В начале октября, серым дождливым днем, когда я только-только собрался поработать с машиной, у меня внезапно закружилась голова, и я потерял сознание. Подробно об этом я тебе никогда не рассказывал, но ты теперь должна знать все... Очнулся я в кабинете начальника, на диване, с задранными ногами, в растрепанной, расстегнутой одежде. Рядом со мной сидел Вадик и человек в белом — врач из заводской амбулатории. Наш шеф и его секретарша стояли напротив; шеф выглядел встревоженным, хмурым. Пахло нашатырным спиртом. Я хотел подняться, но врач удержал меня: «Полежите еще несколько минут». Элла принесла мне чашку крепкого кофе. Все было до крайности неловко, неудобно.

Тем же днем меня обследовали в ведомственной поликлинике и нашли, что у меня общее переутомление. Ох, как хотелось мне, чтобы ты побывала на этом осмотре, а потом послушала разговор шефа с главврачом! В последнее время я не очень ладил с шефом — из-за Вадика, который при разработке аванпроекта отстаивал настолько оригинальную идею (между прочим, связанную с темой его диссертации), что от него в смущении попятнулись даже испытанные приверженцы. Я-то был убежден, что Вадик прав, и изъявил готовность вместе с ним заняться обоснованием его предложения, но шеф неожиданно заосторожничал и фактически взял сторону любителей спокойной жизни. Мне по этому поводу пришлось дважды объясняться с руководством, сгоряча я обвинил шефа в консерватизме, а он, я думаю, тоже сгоряча пригрозил «раскассировать» нашу группу — кое-что об этом я, по-моему, тебе рассказывал.

Тем приятнее показались мне слова шефа, обращенные к эскулапу: «Побыстрее поставить на ноги сего молодого человека (то есть меня), потому что он во как нужен... очень способный... можно сказать, прирожденный математик, это теперь крайне важно... заинтересован весь отдел» и т. п. Я много бы дал за то, чтобы ты сама услышала эти слова. Тебе всегда казалось удивительным, что меня, твоего мужа, считают ценным работником — хорошим, мыслящим инженером и соответственно ко мне относятся. В приказе по КБ было сказано так: «В связи с успешным выполнением плана III квартала и принимая во внимание ходатайство руководства и профсоюзной организации Отдела — 2«б», а также учитывая медицинское заключение, премировать старшего инженера товарища Дьякова В. С. бесплатной путевкой в санаторий ГУАП (Сочи)».

В тот день я вернулся домой уже не тем человеком, каким я уходил из дому утром. Оказывается, я страдаю гипотонией и астено-невротическим синдромом, развившимся вследствие длительного перенапряжения, переутомления. Это было чудовищно,

и когда на кухне за чашкой чая я тебе сообщил об этом, ты слегка побледнела, а в глазах твоих застыл испуг.

— Что же теперь делать? Почему это? — спросила ты.

Я не мог отказать себе в удовольствии хоть чуточку уколоть тебя: ведь, в общем, ты тоже была виновата в моей болезни.

— Почему бывает переутомление? — сказал я. — Потому что человек плохо питается и мало отдыхает. Проще простого.

— Значит, это я виновата?

— Сейчас это не имеет значения — кто. Наверно, оба мы виноваты... Словом, дошел: гипотония, синдром. Заездила женушка.

Это было так приятно — бросать в твоё лицо подобные упреки и видеть, как ты переживаешь!

— Если говорить откровенно, — продолжал я, — то, конечно, ты, Таня, ты в основном...

— Валера, ты поправишься. Честное слово, я тебя откормлю. И спать будешь, сколько влезет, и гулять... с Машей или даже без нее, как захочешь.

Тут я почувствовал, что наступил подходящий момент, чтобы сказать главное.

— Спасибо, Таня. Но, видишь ли, врачи находят, что в домашних условиях избавиться от этих заболеваний невозможно. Я еду в Сочи.

— Куда? — тихо переспросила ты.

— В санаторий. Мне дают бесплатную путевку.

— Когда? — сказала ты уже другим, несколько упавшим и уже совсем невиноватым тоном.

— Через несколько дней.

Ты встала и пошла в комнату. Через минуту я услышал, что ты разговариваешь с Машей.

— Вот, доченька, бросает нас отец. Отцу наплевать, как мы с тобой останемся тут одни. Ему бы только свое удовольствие справить.

— Послушай, что ты болтаешь? — сказал я. — Я еду лечиться.

— Знаем мы эти лечения! Езжай. Потом я тоже поеду в дом отдыха поправлять нервы.

— Не ругайтесь, — сказала Маша. — Папа, на ручки! Я взял Машу на руки.

— Удивляюсь тебе, Татьяна, — сказал я. — Минуту назад ты говорила одно, сейчас — другое...

— Что я говорила? — перебила ты меня. — Я говорила, что можно дома...

— Да я от дома и заболел.

— Ты от работы заболел. Оттого, что со своим Вадиком доказать что-то хотите, очень умными себя поставить, — вот отчего. Работали бы, как все, и не было бы никаких переутомлений, это точно.

— Ты ошибаешься.

— Точно. А то больше всех им надо, донкихоты нашлись... Недаром от Вадика жена ушла!

— А это ты уже совершенно зря, — сказал я. Меня начало охватывать раздражение, и было обидно за друга. — Вадька — талантливый парень, настоящий

инженер и ученый будущий. И жена еще пожалеет, — добавил я, сдерживаясь. — Ты же не знаешь, в чем суть. Суть в том, что у нас многие хотят работать по старинке, только с логарифмической линейкой, и не потому, что не понимают пользы вычислительных машин, а потому, что для работы с машиной нужна специальная подготовка, то, чего прежде наши технические вузы не давали своим выпускникам. Нужно доучиваться. Кстати, я тоже должен доучиваться, но я сейчас не об этом... Вадик не донкихот, — продолжал я, опять невольно возбуждаясь, — Вадик предложил принципиально новое решение, и я за него буду драться, пусть хоть весь отдел станет против; выгода от его предложения огромная, но надо все серьезно обосновать, а это как раз и не под силу тем, кто умеет пользоваться одной линейкой. Доходит до тебя?

— Вот я и говорю: умные чересчур.

— При чем тут умные! Нам, возможно, придется втроем или вчетвером проворочивать всю работу, для этого тоже надо быть здоровым.

— Ну, езжай, езжай...

Ты словно чувствовала, каким горем обернется для нас эта поездка.

— Езжай! — повторила ты в третий раз.

— Не ругайтесь, — сказала Маша и обняла меня за шею.

Мы пошли с ней на кухню и стали делать «тянучки» — растапливать на огне в столовой ложке сахар.

— А ты скоро обратно приедешь? — спросила Маша.

— Через месяц, — сказал я.

— Месяц — это много или мало?

Я пожал плечами.

— Не знаю, Машенька. Кому как...

Мне показалось, что ты стоишь за дверью и прислушиваешься. Я хотел вернуться в комнату, но Маша цепко ухватила меня за рукав.

— Я тебе что-то на ушко скажу, — предупредила она. Личико ее было лукавым и немножко смущенным. — Поцелуй маму, — сказала она шепотом мне «на ушко», когда я наклонился...

Но ты не подпустила близко к себе нас с Машей.

— Нечего лизаться. Ужинай и спать. Раз больной, значит, больной.

Было похоже, что ты приняла какое-то решение, и стала спокойной, холодно-сдержанной.

Такой ты была на протяжении всех четырех дней до моего отъезда. И лишь в ту минуту, когда, расцеловав вас с Машенькой, я взялся за дверную ручку, чтобы двинуться в путь, губы твои дрогнули, ты отвела глаза в сторону и сказала чуть сконфуженно:

— Ну, ты только смотри это...

— Что, Таня?

— Это... води себя как следует.

Я все понял.

— Дурочка, — сказал я и на прощание еще раз крепко поцеловал тебя.

ч а с т ь т р е т ь я

I

Луна зашла. Угомонились лягушки в болотце. Стало серо, сыро; мгла у поверхности земли как будто уплотнена, но уже прочерчивались на фоне дымного предрассветного неба верхушки ближних берез, а в шорохах и звуках окружающей жизни чувствовалось прудреннее оживление.

Он все слышал. Внимание его как бы раздвоилось, и одна половина настороженно следила за тем, что было вокруг, другая — за тем, что происходило внутри, в нем самом. Он слышал, как в поселке неподалеку прокричал петух, и, словно подчиняясь команде, в разных местах и на разный манер — сдавленно, безмятежно, отчаянно — закукарекали другие. Потом хлопнула чья-то калитка, звякнула цепь, спросонок, лениво и недовольно, проворчал пес; залаял,

будто закашлял больной коклюшем, низко и хрипло, второй; часто, зло, звонко протягивала третья собака. Потом далеко-далеко с неожиданной стороны до- несясь бархатистый гудок и тонкий, металлически от- четливый звук приближающегося товарного состава. И вдруг загрохотало, забило и смолкло: это в аэро- порту опробовали мотор. А потом ненадолго наста- ла тишина, и было слышно, как гудит проходящими автомашинами загородное шоссе.

Некоторое время ему чего-то вроде особенно не хватало, но скоро по разным, прежде не различимым звукам он понял, что это: исчезло кваканье; спала, унялась наконец нечистая, неистовая сила в болотце. Немного погода ему почудились чьи-то ша- ги и женские голоса. Глаза его в этот момент были закрыты, а когда открыл их, с трудом размежив на- брякшие веки, он ничего не увидел. И не услышал больше шагов — только так же гудело проходящими машинами шоссе да нарастало, приближаясь, желез- ное постукивание товарного состава.

Это он слышал. Но ему надо было другое, и по- тому то, что он слышал, мало интересовало его. Ему надо было, чтобы со стороны станции раздался приглашенный, сиплый свисток электрички, когда, тронувшись и не набрав еще скорости, она прибли- жается к огражденному шлагбаумами переезду. Ему нужна была последняя электричка, и, хотя ка- кой-то частью сознания он понимал, что ее уже не будет, он ждал именно ее, потому что, как пред- ставлялось ему, последняя электричка была его спасением.

И он продолжал ждать. И он продолжал следить за тем, что происходило внутри него. Время как бы перестало существовать, важно было не время во- обще, не часы, а иное: чтобы то, что происходило внутри него, не опередило того, что он ждал, что ему было надо.

Внутри были жар, боль, бред и тиканье. Ему было холодно, зябли ноги, особенно левая в тесной туф- ле, но он говорил себе: я потерплю, я буду тер- петь, я хочу жить, я должен дожидаться, меня спасут. Он верил, что его спасут и он будет жить — теперь он будет жить совсем, совсем иначе, — и поэтому он все может перетерпеть. Сознание его, как и преж- де, то делалось прозрачным и четким, то погружа- лось в какой-то странный сумеречный сон, похожий на явь, — он готов был снести и это. Было только очень, очень холодно.

2

В Сочи жарило солнце, двадцать шесть дней сплошного, висящего в небе и отраженного в море, в камнях, в цветах огромного южного солнца. Не мудрено, что, когда, вернувшись в Мос- кву, я ехал в метро и потом с чемоданчиком в руке бежал к нашему дому, все палили на меня глаза: русоволосый, голубоглазый негр.

Я очень рассчитывал на то, что этот эффектный вид поможет мне скрыть смущение в первую мину- ту встречи с тобой, что я спрячусь за загар, за нату- ральное возбуждение, вызванное длительной разлу- кой. Я заранее боялся твоего взгляда, боялся, что своим смущением выдам себя.

С трепетом душевным и физическим вставил я ключ в замочную скважину, повернул его с мяг- ким нажимом влево и толкнул коленом дверь. На меня пахнуло милым домашним уютom, чем-то пра- здничным. Ты, одетая в новый костюм, шла мне навстречу, а за тобой в нарядном платье шагала Машенька.

Лучше было бы, если бы первой шла Машенька, а ты — за ней: я бы схватил ее, расцеловал, под- бросил в воздух, а уж потом поздоровался с тобой. Так мне было бы легче.

Но ты шла первой, и на твоём подпудренном и подкрашенном лице было смущение, а в глазах — тревожный вопрос. Ты смотрела на меня так, что я сразу понял: ты мучительно боишься что-то прочи- тать на моем лице. Это длилось всего мгновение, но я это очень хорошо запомнил: в твоём взгляде был страх, что ты увидишь мое смущение, может быть, даже смятение и что, значит, я перед тобой не чист.

Я это понял в то же мгновение, и в то же самое мгновение ощутил, что ни капли не смущаюсь и не волнуюсь, и это было удивительно. И в то же мгно- вение — все в то же! — я заметил, что твой страх пропал, и ты почувствовала облегчение. И обоим стало хорошо, и мы обнялись и поцеловались.

В глубине души я чувствовал себя преступником, и то, что я не смутился, доказывало лишь мою ни- зость. Но удивление не проходило: оказывается, можно было совершать такие поступки и не испы- тывать угрызений совести. По крайней мере — пока...

Маша строго смотрела на меня моими глазами. Я был поражен, как она выросла и повзрослела.

— Что же ты не идешь к папе? — сказала ты, ре- вниво переводя взгляд с Маши на меня.

— Пусть он идет ко мне, — с достоинством отве- тила Маша, делая ударение на «он».

Тут, ты помнишь, я поднял ее на руки, и, знаешь, мне показалось, что Маша поцеловала меня как-то особенно — самозабвенно и порывисто, будто она без слов что-то прощала мне.

Я разделся, пошел в ванную, и мне так захотелось, чтобы ничего того, что произошло со мной в Сочи, не было или, во всяком случае, чтобы с тем было покончено. Как хорошо жить просто в семье, думал я. Чистым, со спокойной совестью.

Я так думал, наивный человек. Впрочем, преда- ваться размышлениям было некогда: Маша, что-то простив мне, стояла за дверью ванной и просила открыть и впустить ее.

— Я хочу на тебя посмотреть! — кричала она. — Папа, ты весь такой черный?

— Весь! — отвечал я, окутываясь теплым душевым дождем, который приглушал наши голоса.

— Маша, отойди, нехорошо, — слышался твой го- лос.

— Сейчас, дочка, — сказал я, быстро вытерся, на- дел плавки и отодвинул задвижку.

Вы стояли за дверью рядом. Ты выглядела скон- фуженной. А мне стало вдруг стыдно. Стыдно за свой южный загар, за промытую гладкую кожу, за посвежевшие бицепсы. В сущности, мне было стыд- но показывать тебе свое тело, которое принадлежало уже не только тебе. Но и это чувство — стыд — дли- лось лишь мгновение.

— Ну и негр! — сказала ты и дотронулась до мое- го коричневого плеча.

Знаешь, что я понял тогда, в ту минуту? Ты соску- чилась по мне. Даже, может быть, больше — истос- ковалась.

— Хорошо? — спросил я, как мальчишка, сцепив руки над головой и подрагивая мускулами. Это я ликовал оттого, что я понял.

— Ладно, одевайся. Завтрак остынет, — сказала ты, не похожая на себя, мягкая, умиротворенная.

И еще я заметил, что, даже простив мне, Маша смотрела на меня изучающе. На меня и на тебя. Она старалась понять что-то свое.

...После ты призналась мне, что по-настоящему женщиной ты почувствовала себя только с того дня,

как я вернулся с юга. Имело ли это какую-нибудь связь с тем, что я был тебе неверен, а если имело, то какую, — я потом не раз задавался этим вопросом. Может быть, пробуждение женщины в тебе было своего рода оборонительной реакцией, может, таким путем наша любовь отстаивала себя?

Маша долго не засыпала. Она была возбуждена, пела «топ, топ», читала наизусть стихи про какого-то пирата, а мы с тобой лежали рядом и притворялись, что устали и очень хотим спать, а Маша, неслучайная болтушка, мешала. Мы лежали с тобой, не касаясь друг друга, боясь лишней раз пошевелиться, и у нас пересыхало во рту, и Машина болтовня казалась бесконечной. Наконец ты встала и отшлепала ее. Горько заплакав, Маша отвернулась к стене, и через минуту послышалось вначале едва различимое, затем все более явственное, громкое, ровное, равномерное посапывание.

Ты мне казалась самой лучшей, ни с кем не сравнимой женщиной. Все это было как будто впервые, нет, даже больше, значительнее. Это было так, как, вероятно, должно было бы быть с самого начала. И зачем мне нужен был кто-то еще, кроме тебя? Никого, кроме тебя, не нужно было ни тогда, ни сейчас, никогда, потому что ты была самой лучшей, прекрасной, совершенной женщиной.

— Любишь меня?

— Да, да. А ты?

— Люблю, люблю.

И отдых был глубоким, спокойным, и на душе было светло, спокойно, хорошо, и в комнате было так спокойно, не очень темно, тепло, и Машенька, посапывая, крепко спала. Никого больше мне было не надо, кроме тебя, потому что ты была самой красивой, самой родной, самой-самой...

— Любишь?

— Люблю. А ты?

— И я. Люблю. А ты?..

Зачем нужна была та, другая, когда ты у меня такая моя, такая любящая и любимая? Зачем нужна была та, другая, — я этого никогда не смогу объяснить. Я этого не знаю. Нет, я не думал о той, другой, не сравнивал тебя и ее, нет. Лишь где-то на дне души иногда поворачивался сосущий червячок, и только когда он поворачивался, только тогда я вспоминал о той, другой, но для того лишь, чтобы снова сказать себе, что ты лучше, красивее, совершеннее и что я люблю только тебя.

Мы спали долго, и спали бы еще, если бы нас не разбудила Маша, и мы были счастливы в то утро, мы с тобой и Маша, и нам казалось, что мы будем счастливы всегда.

Казалось, что счастливы...

После обеда, когда Маша отправилась отдыхать в свою кроватку, а ты стала мыть на кухне посуду, я заметил у тебя на руке повыше локтя несколько синяков. Я взял тебя за локоть, повернул к свету и отчетливо увидел три темных кружка, напоминающих отпечатки пальцев. Ты вначале как будто ничего не поняла, а потом, словно спохватившись, резко отстранила мою руку.

— Что это у тебя за синяки? — спросил я и почувствовал, как противно защемило сердце.

Я пристально посмотрел на тебя.

— Какие синяки? — сказала ты. — Ах, эти, на руке...

— А где еще? — сказал я. — У тебя еще есть синяки?

— Ну и дурак, — сказала ты. — Ты постой в очередях в детском магазине, тогда узнаешь, какие синяки и где: Ты что подумал?

Теперь ты пристально посмотрела на меня. Почти так, как вчера, но уже без страха увидеть что-то

очень неприятное для себя. Наоборот. Ты желала увидеть все. Ты хотела знать правду.

— Что молчишь?

— Что-то я прежде не замечал у тебя синяков, — пробормотал я. — Ты ведь, кажется, не первый год ходишь в детский...

— Нет, ты это серьезно? — будто даже обрадовалась ты и что-то подумала про себя.

— Что серьезно? Почему у тебя отпечатки пальцев на руке? Кто тебя хватал за руку?

— Нет, ты серьезно? — Ты все более смягчалась. добрела и в то же время продолжала пытливо прощупывать меня взглядом и что-то обдумывать про себя.

— Тебя что — из очереди, что ли, вытаскивали за руку? Ты без очереди лезла? — спросил я. Я хоть и успокаивался понемногу, видя, что мои вопросы не волнуют тебя, но хотелось, чтобы ты до конца рассеяла сомнения. — Ну что же ты? Объясни!

— Да что ты привязался с этими синяками? — сказала ты. — Откуда я знаю, как мне поставили их? У меня и на ноге синяк и на боку; такая кожа, будто не знаешь. Дотронься, и пятно. Почему ты раньше не придавал этому значения?

— Да нет, — сказал я совершенно искренне, — ведь на руке-то явно отпечатки пальцев. Так никогда не было.

Словно тень какая-то вдруг опустилась на твоё лицо. Ты пронзительно, быстро, насквозь взглянула на меня. При этом усилием воли ты подавила страх перед тем, что могла увидеть. Ты хотела увидеть правду.

— Слушай, — сказала ты, — ты никого не завел себе на юге?

Может быть, ты и увидела бы все, во всяком случае, обязательно заметила бы мое смущение, волнение, смятение — хоть в небольшой степени, но меня всерьез занимали отпечатки пальцев, синие, крупные следы пальцев на твоей руке, и поэтому ты не смогла увидеть правду.

— Почему ты об этом спрашиваешь? У тебя есть какие-нибудь основания подозревать меня в неверности? — очень естественно сказал я.

— Нет, но ты сам ведешь себя как-то подозрительно. До этого никогда не обращал внимания на синяки, а теперь придрался. Ты знаешь, тот, кто плохо думает о других, сам должен быть не чист.

— Не знаю я такого правила. У тебя на руке следы пальцев, кто-то тебя хватал или держал — вот я и спросил. А ты вместо того, чтобы объяснить, что и как, задаешь встречный вопрос.

— Ну, знаешь, — сказала ты, ставя вымытую посуду в шкаф, — пока ревновать ты меня не можешь. Во-первых, мне это не нужно (тут ты чуть покраснела и смешалась), — и никогда нужно не было, а во-вторых, ты что же думаешь — у меня на руках ребенок, дом, магазины, готовка, и я, по-твоему, могу еще думать о каких-то глупостях? Чего это тебе в голову взбрело? Мне это не нравится.

— Ладно, все, — сказал я. — Какой-то дурацкий разговор. Ты допрашиваешь меня, я тебя. Ладно, кончим. В кино сходим?

Ты кинула на эту удочку. Я так понимаю, что и тебе тяжел был этот разговор, тяжело даже помыслить, что я мог бы сделать то, что сделал. И ты согласилась со мной. Ты сказала:

— Надеюсь, ты меня одну не заставишь везти Машу к родителям?

— Ну что ты, — сказал я. — Я с удовольствием поеду вместе. Иди переодевайся пока...

Все-таки в глубине души меня угнетало, что я мо-

гу так естественно лгать: я как-то был более высокого мнения о себе. А возможно, я лгал и не очень естественно. Потому что ты, я видел это, до конца не успокаивалась.

Вся надежда была только на время: пройдут дни, недели, месяцы, и забудется то, что случилось со мной в Сочи; забуду об этом я, и перестанешь волноваться ты.

И верно. Пошли дни, недели, и стало бледнеть в памяти и в сердце то, что было. Сказано же: с глаз долой — из сердца вон. Я вернулся на работу, вскоре мы получили разрешение от начальника КБ заняться обоснованием Вадыкина предложения, и все стало хорошо, привычно, все как будто по-прежнему.

Как будто. До того проклятого вечера.

3

В тот промозглый декабрьский вечер, добираясь от метро пешком, я сильно продрог и, когда вошел в дом, первым делом зажег газ и поставил на конфорку чайник. Тебя с Машей не было, я решил, что вы гуляете во дворе, и, не дожидаясь вашего возвращения, напил чаю, принял таблетку кальцекса и лег на диван, укрыв ноги лыжной курткой. Вероятно, я вздремнул, потому что не слышал, как ты отпирала дверь, хотя мне кажется, что я не засыпал ни на минуту, даже не закрывал глаза. Ты включила в комнате свет, и только в этот момент я заметил, что ты здесь. Ты стояла в проеме двери и смотрела в мою сторону — в резком свете трехсотсвечевой люстры. Я взглянул на тебя. Было что-то странное в твоей позе, в твоей фигуре, остановившейся посреди двери, в этом внезапном и резком твоём появлении. Я еще ни о чем не догадывался, но сердце неприятно екнуло, и я спросил тебя:

— А где Маша? Что случилось?

— Машу я отвезла к бабушке, — ответила ты удивительно ровным, небывало ровным, почти незнакомым голосом, прошла и села на диван у моих ног.

Я отодвинул ноги к стене, и мне почему-то не захотелось спрашивать, зачем ты отвезла Машу к бабушке. Я еще надеялся, что ничего такого нет и ты мне все объяснишь. Я от волнения закрыл глаза.

— Валера, — услышал я в ту же минуту твой ровный, даже будто ласковый, потрясающе спокойный голос, — Валера, она кто, эта Нина Березина?

— Нина? — сказал я, не открывая глаз. — Экономист-плановик. А что? Она моя землячка.

— Я не об этом спрашиваю, — сказала ты по-прежнему преувеличенно спокойно, и я прекрасно понимал, что не об этом: ты меня спрашивала, что у меня было с этой Ниной; даже не так: было ли это у меня с Ниной — вот ты о чем, по сути, спрашивала меня, и я это прекрасно понимал.

И я понимал, что лгать нельзя; я понимал, что солгать не удастся; ты сейчас заметишь малейшую фальшь, и эта моя фальшь погубит все.

— У меня с ней ничего не было, — быстро сказал я, открыл глаза и сел, спустив ноги на пол.

— Валера, ты, может быть, сам все расскажешь? Мало ли ведь что бывает в жизни, тем более юг, санаторий? — сказала ты, все еще притворяясь, но голос уже выдавал тебя: была в нем глубоко запрятанная, едва сдерживаемая дрожь.

И тут я увидел, что ты бледная, тщательно причесанная и одетая: ты была в том самом костюме, который был на тебе, когда я вернулся с юга.

— Я тебе не изменял, — быстро сказал я.

О, как бы много я дал за то, чтобы это была правда! Если бы это была правда!..

Вероятно, я вел бы себя как-то иначе, говорил бы что-то другое, если бы это была правда, что я тебе не изменял. И ты это чувствовала. Но это было слишком страшно — знать все. И ты невольно сама пришла мне на помощь. Я так тебя понимаю: в ту минуту у тебя не хватило мужества узнать все.

— На, читай! — сказала ты, открыла свою сумочку и бросила мне на колени письмо.

Не знаю, не знаю, не знаю. До сих пор не знаю, не могу удовлетворительно объяснить себе, зачем она так написала... «Обнимаю, люблю, тоскую». Только эти три слова в конце и говорили о наших отношениях — в конце этого, в общем, милого, товарищеского письма.

Пока я читал, я чувствовал на себе твой требовательный, скорбный, любящий и ненавидящий взгляд. Я читал, даваясь словами, половинки не понимая — понимая только, что в этих словах ничего такого нет. И вот конец: «Обнимаю, люблю, тоскую».

Если бы такое письмо получил действительно ни в чем не повинный человек, он, наверно, рассмеялся бы, пошутил, может быть, даже немножко нос задрал перед женой: вот, мол, влюбляются в меня...

— Не понимаю, черт знает, — сказал я довольно жалко.

— Нет, не черт! — закричала вдруг ты. — А на конверте что? «Лично». И без обратного адреса. Одна неразборчивая завитушка. Шлюха — твоя землячка, вот она кто! Бессовестная шлюха! И ты...

— Постой. Ты специально отвезла Машу, чтобы поругаться?

— Специально!

— Постой... — Я почувствовал некоторое облегчение; я почувствовал, что мне есть за что ухватиться. — Она порядочная женщина, девушка вернее, — сказал я и густо покраснел.

Заметила ли ты, что я покраснел? Возможно, и не заметила, не успела: я вскочил и побежал в переднюю и стал рыться в карманах пальто, якобы разыскивая сигареты (сигареты, как обычно, лежали у меня в правом кармане брюк). Когда, закулив, я вернулся, ты стояла у стола и нервно похлопывала по его краю письмом, свернутым в трубку.

— Не надо прежде всего делать из мухи слона, — сказал я.

— Боже мой! — прошептала ты как бы самой себе.

И я увидел, как из-под опущенных ресниц твоих выплыли маленькие-маленькие слезинки и растаяли на щеке... Мне хотелось подойти и обнять тебя, но я не посмел. Наверно, надо было подойти и обнять, я уверен, что надо было подойти, но у меня не хватило смелости. Конечно, если бы я не был серьезно перед тобой виноват и все дело заключалось только в трех этих словах — «Обнимаю, люблю, тоскую», — написанных влюбленной, но посторонней для меня женщиной, то тогда не потребовалось бы что-то преодолевать в себе, чтобы подойти и обнять тебя. Если бы... И ты почувствовала и это. «Да, виноват», — мне кажется, снова подумала ты.

— Таня, я не виноват, что она написала эти слова. Понимаешь? Я не давал никакого повода, — пробормотал я.

Если бы ты знала, как презирал я себя в ту минуту! Я понимал, что мне грозит. Я не хотел тебя лишиться. Я ведь любил только тебя. Тебя и Машу.

— Таня!.. — произнес я и осекся.

Ты раскрыла свои большие, с порозовевшими белками глаза и глянула на меня так, будто ударила.

— Боже, боже! — повторила ты, отвернувшись, села на краешек дивана, потом ткнулась лицом в

руки.— Ведь говорили мне, предупреждали. Не послушалась. Думала, человек. Думала, будет беречь. Поможет с институтом. За что?— Ты ударила кулаком по дивану и продолжала, захлебываясь, сквозь плач: — Обманщик! Подлец! Гулять от такой жены...

— Да кто гуляет? — сказал я серым голосом.

Ты резким движением встала. Лицо твое было искажено от плача: рот открыт, губы дрожали, глаза сузились, щеки мокрые. Милая, милая...

— Мерзавец, негодяй! — бросала ты мне в лицо, но это не оскорбляло меня. Я видел, как тебе больно, и знал, что это я сделал тебе больно и что ты права и будешь права, называя меня последними словами. Было даже чувство некоторого облегчения: вроде начал расплываться...

— А если я докажу тебе, что я не виноват? — внезапно ворвался я в поток твоих слов.

И ты сразу умолкла. Ты посмотрела на меня красными, ничего не понимающими глазами, высморкалась и еще раз посмотрела на меня.

— Доказывай своей тете. Меня это больше не интересует. Все. Хватит.

Я несколько не сомневаюсь — и тогда не сомневался, что с самого начала разговора тебя как раз только это и интересовало — доказательства. Каково бы ни было твое истинное отношение ко мне, но, коль я твой муж и пока я твой муж, ты не могла не желать того, чтобы я доказал тебе свою невиновность. Я не меньше тебя желал того же, но как я мог доказать свою невиновность?

Я вышел на кухню, погасил сигарету и, приоткрыв дверь, бросил окурок в унитаз. Мозг мой лихорадочно работал, придумывая доказательства. Я ничего не мог придумать. Я вернулся в комнату и сел к столу. Ты, держа перед собой круглое зеркальце, запудривала следы слез на щеках. Глаза у тебя были красные. Глаза запудрить было нельзя. Я понял, что ты ждешь. Все твое напряженное лицо, твоя неудобная поза сидящего на краешке дивана человека, преувеличенно внимательный, острый взгляд в зеркало и через зеркало украдкой на меня — все выражало нетерпеливое ожидание. Но доказательства не было. И я ничего не мог придумать. Сейчас ты должна была встать и уйти. Ну, еще минуту... Сколько же можно было всматриваться в зеркало и подпудривать нос и щеки с таким независимым видом?

— Ну? — сказала ты, не выдержав.

— Что? — сказал я.

— Что же ты не доказываешь?

— А тебя разве интересует? Тебя же это больше не интересует, зачем я тебе буду что-то доказывать?

Ты взглянула на меня очень зорко. И ты, я понял, разгадала мою хитрость. И тебе стало еще тяжелее: ну для чего, спрашивается, было бы хитрить человеку, если он не виноват?

— Запутался, заврался, — сказала ты, щелкнула крышечкой пудреницы и убрала ее в сумку. — Ну, все, — сказала ты и встала.

Ты постояла несколько секунд, будто что-то припоминая свое, не имеющее отношения к нашему разговору, и пошла из комнаты в переднюю. Ты подошла к вешалке, сняла платок. Ты еще ждала. Но у меня не было доказательств, и я не мог ничего придумать. Я сидел у стола и молча курил.

— Запомни одно, — сказала ты, и я уловил в голосе твоём дрожь, — никакая сила не заставит меня вернуться сюда...

Я не верил в это. Я не мог себе этого представить — ты и Маша, вернее, вы с Машей, существующие отдельно от меня, живущие где-то без меня. Это было невозможно. Ты быстро надевала шубку. Твои губы, щеки, все лицо твое дрожало, и ты спе-

шила уйти, чтобы я не видел, как все дрожит, и ты не могла уйти так просто: это ведь, в сущности, безумие — взять и уйти от человека, тем более насовсем, тем более от живого мужа, отца Машеньки; это было какое-то сумасшествие, убийство, и ты не могла не чувствовать этого так же, как и я. И поэтому ты спешила надеть шубку, чтобы выскочить за дверь, и там немного прийти в себя. Это было все невозможно, невыносимо, неестественно — ты не должна была уходить так просто насовсем. Но у меня не было доказательств. И я был очень виноват перед тобой. Но уходить насовсем тебе было нельзя. Ты резала по живому. Ты с Машенькой уже стали частью меня самого. Это был какой-то очень дурной, очень кошмарный сон.

Я поднялся со стула и, как во сне, не чувствуя себя, прошел в переднюю и загоролит собой дверь. Я опередил тебя всего на две, три секунды: ты уже протягивала руку к вертушке запора.

— Не уходи. Не делай глупостей. То чепуха все. Ничего серьезного не было. Не уходи, Таня, не уходи, не уходи. Нельзя. Понимаешь? — шептал я и чувствовал, что все во мне дрожит. — Все чепуха. Не уходи. Ничего не было, — бормотал я пересохшими губами, загоразживая собой дверь.

Ты ничего не отвечала мне. И так было еще страшней. Хотя я понимаю, почему не отвечала: словами ничего нельзя было сказать; вернее — сказать то, что тебе хотелось сказать; и потом ты могла расплакаться совсем уж по-детски, я это понимал, и тогда твое самолюбие страдало бы еще больше.

И ты молча, кусая губы, с дрожащим лицом опять протянула руку к замку. И я опять мягко отстранил твою руку. А ты снова тянула руку к двери, и я снова отстранял.

— Понимаешь? Чепуха. Ничего не было. Уходить нельзя, — твердил я, как помешанный, и все отстранял твою руку, и мне приходилось отстранять все настойчивее, жестче.

— Да что же это такое? — борясь со мной, закричала ты сквозь брызнувшие слезы. — Ты что, издеваешься? Какое имеешь право? А если я больше не хочу с тобой жить!..

Оказывается, тебе надо было сказать совсем немного. Только вот это: «Я больше не хочу с тобой жить». Что-то мгновенно во мне оборвалось.

— Иди, — сказал я.

— Насильник! Трус! — кричала ты, готовая продолжать борьбу.

— Иди, — сказал я. — Ты специально это подстроила с письмом и весь этот скандал. — Я сам почти верил в то, что говорю: во мне снова вспыхнуло подозрительное чувство. — Теперь понятно, откуда у тебя синяки. Все теперь понятно. Можешь идти, не держу.

Я отступил от двери. Я закурил и пошел в ванную. Я слушал: хлопнет ли дверь? Дверь не хлопала. Я посмотрел в зеркало. Я увидел только свои глаза. Глаза были непривычно острые и выражали настроенное ожидание: хлопнет дверь или не хлопнет? Дверь не хлопала. Я вышел большими шагами из ванной и сказал тебе:

— Я проветрю комнату. Поезжай за Машей.

Это была моя ошибка. Я не должен был этого говорить. Я вообще не должен был ничего говорить. Я тебе задал задачу, и ты должна была решить ее сама. Я думаю, ты решила бы ее правильно: не ушла бы. А так я все снова испортил.

— Если ты не против, конечно, — попытался я поправиться.

— Спасибо, спасибо, — сказала ты с усмешкой, завязывая перед зеркалом платок.

Мне показалось, что ты уже спокойна — как тебе удалось так быстро стать спокойной? И твое спокойствие было каким-то недобрим; оно было немного зловещим, сильным, уверенным в себе — так мне казалось. И у меня снова больно заныло сердце.

И мне бы снова встать к двери, загородив ее собой, и не пускать тебя. Но ты подавила меня на момент этим спокойствием. На какой-то момент я почувствовал себя неспособным бороться, вот так прямо, грубо, буквально бороться — не пускать. И в этот именно момент ты повернула вертушку запора и скрылась за дверью. И дверь, закрывшись за тобой, хлопнула.

Я понял, что проиграл. Но ты тоже проиграла. Ты тоже, потому, что едва отступали, удаляясь, твои каблукки по коридору, как я заставил себя больше не думать о тебе. Я открыл в комнате форточку, заперся в ванной и стал думать о той, о другой. Я стал думать о Нине. Если бы она была в Москве, то я, наверно, ушел бы к ней. Я думаю, мне было бы намного легче, если бы я немедленно, только немедленно ушел к ней, к Нине.

Я проветрил комнату, постелил себе и лег. Не спалось. Было какое-то странное состояние: я чувствовал себя очень уставшим, и мне хотелось спать, но я не мог уснуть по-настоящему. Я никак не мог погрузиться в сон достаточно глубоко, а плавал где-то на поверхности. Я как будто и спал и вместе с тем все слышал, и мозг мой, как жернов, перемалывал обрывочные мысли и впечатления дня. Я вспомнил, что не ужинал, встал, достал из холодильника колбасу и съел ее с черным хлебом; потом вскипятил чайник и попил чаю. Было без четверти десять. Я покурив в ванной, пополоскал рот и завел часы. Потом вспомнил, что не перекрыл газ, и, выйдя на кухню, повернул ручку возле газового счетчика книзу. Делать было вроде больше нечего, и я снова лег.

Гудел лифт за стеной. Знаешь, когда ты дома не один, то и не слышишь, как гудит лифт, не обращаешь внимания. А тут о чем бы я ни начинал думать, я все время слышал: вот хлопнули внизу железной дверью, закрывая кабину; вот нажали на щитке белую кнопку с черной цифрой, и лифт щелкнул, трогаясь; вот загудел внизу мотор, зашелестели тросы — лифт пошел вверх.

Вот гудение оборвалось. Открылась железная дверь. Хлопнула железная дверь, и лифт, щелкнув, загудел и пополз выше. Застучали каблукки. Сюда или туда? Нет, туда. Не сюда. Значит, я могу спать, сказал я себе. Мне не надо ждать. Я должен спать, мне завтра на работу, говорил я себе.

И все равно прислушивался. Гудел лифт, хлопала железная дверь — выше, ниже, иногда на нашем этаже, но каблукки стучали не сюда. В половине двенадцатого я понял, что ты не приедешь. Я встал, покурив на кухне, попил водички и, взяв с вешалки лыжную куртку, снова лег.

Все равно не спалось. Я больше не слышал, как гудит лифт и хлопает железная дверь, но уснуть не мог. Я решил обмануть себя. Я сказал себе, что не буду спать совсем. Ну, подумаешь, не посплю одну ночь, сказал я себе. Я сказал себе, что буду думать о приятном. Но я не мог приказывать себе думать о том-то и не думать о другом. Мысли беспорядочно сменяли друг друга: приятные и неприятные, всякие. С этим ничего нельзя было поделать.

Один раз мне подумалось так. Я никогда не расскажу ей (то есть тебе), что у меня было с Ниной, никогда не признаюсь. Я думал, это невозможно, немыслимо рассказать тебе, потому что в общем-то — и, может быть, это самое страшное, — в общем-

то с Ниной у меня все происходило так же (или почти так же), как и с тобой. Те (или почти те) слова, которые я говорил тебе, я говорил и ей; у меня было то же головокружение, тот же дурман, то же беспокойство, пока я еще не заговорил, и тот же веселый подъем духа, дерзость, смелость потом, когда заговорил и познакомился. Немыслимо рассказывать об этом, потому что все, что было с той, другой, потрясающе напоминало то, что было у нас с тобой. Как можно об этом рассказывать?

Те же слова, взгляды, улыбки. Рукопожатия. Мысль о том, что это любовь; вот это и есть любовь, вот это и есть настоящая, единственная, до гроба, любовь, а то, что было прежде, ошибка... И луна вполне вечерами, черными, насыщенными электричеством, шумом моря, сладкими запахами тропических цветов. И солнце — все оправдывающее, бодрое, веселящее, бездумное. Луна, и солнце, и море. И глаза, и губы, и руки. И в сущности — все то же. Даже тогда порой мелькало в голове: то же! Сколько же может быть настоящих, единственных, до гроба, любвей? Это было что-то очень постыдное, ужасное, и, конечно, об этом нельзя рассказывать.

Я никогда не расскажу ей (я имел в виду тебя), не расскажу, что у меня было с Ниной, никогда не признаюсь. Так мне подумалось один раз. А другой раз подумалось иначе. Может быть, я признаюсь ей (то есть тебе), когда буду умирать. Я подумал так: когда буду умирать, я скажу тебе, что виноват перед тобой, и спрошу: можешь ли ты меня простить? Почему-то было очень приятно думать, что перед смертью (лет через сорок) я тебе признаюсь, и ты меня простишь. С этой мыслью, кажется, я и уснул.

Все-таки я уснул. Было мутно, тревожно, мучительно на душе, но я уснул, а утром проснулся в обычное время и, хоть чувствовал себя разбитым, собрался, попил кофе и поехал на работу.

4

Я понимал, что уйти навсегда ты не могла. Слишком мало оснований было у тебя для столь серьезного шага. «Обнимаю, люблю, тоскую» — это, конечно, улика, но это еще не доказательство, что я изменил тебе. Эти три слова написал не я, эти три слова были адресованы мне в конце хорошего товарищеского письма. Появление их в таком письме могло быть истолковано и как неудачная шутка и как неожиданное, внезапно прорвавшееся признание в любви. Но не как доказательство моей неверности. Бросать мужа из-за этого не стала бы ни одна порядочная женщина, разумеется, если она хоть каплю любит его. А ведь нас с тобой связывала еще и Маша. Словом, я понимал — и не только понимал, но и чувствовал сердцем, что ты ушла не навсегда.

Поэтому, возвращаясь с работы, я не очень удивился, что дверь квартиры заперта не на два оборота ключа, а на один (утром, уходя, я запер, как обычно, на два оборота). Я решил, что ты вернулась, одна или даже с Машей. Я приготовился быть равным, чуточку сдержанным с тобой, нежным с Машей, как будто ничего особенного не случилось.

Каково же было мое разочарование, когда, открыв дверь, я увидел в передней тяжелое синее с серым каракулевым воротником пальто тещи. Оно в единственном числе висело на вешалке, а над ним на полке лежала каракулевая, с кожаным верхом ушанка. Твоей шубки не было. Вообще тебя не было дома, я это сразу почувствовал.

И не только разочарование, но и сильнейшее раздражение охватило меня. С каких это пор тесть без спросу стал врываться в мое жилье? Кто дал ему право? И какое ты имела право дать ему ключ от нашей квартиры?

А он уже стоял в двери комнаты, плотный, в темном габардиновом костюме, в белых, подвернутых ниже колен бурках, краснолицый, седоватый, с усмешечкой на небольших твердых губах. Пахло чужим папиросным дымом.

— Ты извини за вторжение, за нарушение, так сказать, вашего суверенитета — так? — сказал он. — Танюшка просила тут кое-какие вещицы, чтобы ты со мной переслал, понимаешь.

— А что, она сама не могла приехать? — спросил я.

— Лежит. Температурка небольшая. Видно, простыла.

— Это что, правда? — вырвалось у меня.

— Шуточки, шуточки...

Я снял пальто, бросил свою шапку рядом с его шапкой и пошел в ванную мыть руки. Я не верил, что ты лежишь и у тебя температура, что тебе срочно потребовались какие-то вещи, настолько срочные, что ты решила снарядить за ними отца, дав ему ключ от нашей квартиры. Хотя, может быть, ты и простыла и у тебя была «температурка небольшая», отец твой приехал, конечно, не за вещами. Мне было это ясно.

Я пригласил его за стол, налил ему и себе чаю, надеясь, что так, за столом, он скорее скажет, что ему надо, и заодно сообщит что-нибудь о тебе. Но он пил чай и говорил о своих яблонях, о погоде. Это меня еще больше насторожило. Мне показалось, что он чего-то выжидает. Может, он ждал, что я покажусь ему?

— Александр Александрович, — наконец сказал я, — что-то мы с вами все не о том. Будто в кошки-мышки играем, честное слово. Зачем?

Он посмотрел на меня спокойными, ничего не выражающими глазами. Глазами очень хитрого, предельно владеющего собой человека.

— Ты о Татьяне хочешь что-нибудь узнать? Так скажи прямо. Сам ходишь вокруг да около. — Он говорил, как всегда, едва открывая небольшой аккуртатный рот; отхлебнул из стакана и прибавил: — Уж какие тут кошки-мышки... ведь попался. Дело очевидное.

— Что, Таня действительно не могла приехать? — сказал я.

— Да как хочешь суди. И не могла и не желает. У нее действительно температура, действительно простыла. Но и не желает. Вполне резонно. Супружеская измена.

Особой досады, или горечи, или тем более чувства оскорбленного достоинства в тоне его речи я не уловил. Но я понял одну из целей его визита: выяснить, была ли на самом деле супружеская измена. Я подумал, что это, конечно, ты просила отца поговорить со мной. Но это была лишь одна из целей.

— Послушайте, Александр Александрович, — сказал я. — Вот вы опытный человек... ну, давайте откровенно, по-мужски. Следует из того письма или не следует, что я изменил Тане?

— Да ведь изменил. Чего уж тут... А чего особенного?

— Как это, чего особенного?

— Да так. — Он отодвинул пустой стакан и снова посмотрел точно в мои глаза своими спокойными, бестрепетными глазами. — Ты думаешь, я не изменял? Изменял. Сказал бы, что не изменял, — все



равно не поверил бы. Так? И все, ну, за редкими исключениями, понимаешь, тоже налево, заворачивают. И ничего в этом особенного нет. Один раз, как говорится, живем. Наукой доказано. Верно?

— Не знаю.

— Как не знаешь? А что же, по-твоему, еще какая-то жизнь есть, кроме этой нашей грешной, зем-

ной? В антимире, что ли? Нет. В это я не верю. Так что бери, понимаешь, от жизни все, что она дает. Но одно «но». Попадаться не дозволено. Попался — отвечай. Приходится отвечать, и ничего тут, дорогой, не поделаешь. Так?

— Александр Александрович, вы против меня что-нибудь имеете?

— Почему? — сказал он. — Ничего не имею. Закуривай «Беломора».

— Я сигареты курю, спасибо... Да вы ведь были против нашего брака с Таней.

— Ну, что было, то бывшем поросло. Надо вперед смотреть. Скажу по совести, как думаю: звезд с неба ты не хватаешь, но хлеб у тебя надежный, специальность перспективная. До сей поры считали: Татьяна за тобой устроена. До сей поры. А теперь — вопрос. По правде, никто от тебя такой прыти не ожидал.

— Вы опять за свое. То письмо ничего не доказывает.

— А я не о письме. Я в данном случае ставлю вопрос шире. Где гарантия, что в один прекрасный день ты, грубо говоря, не бросишь Татьяну с ребенком и именно на мою голову?

— Какие у вас основания так ставить вопрос?

— Вот то-то и оно-то, что есть основания. У меня. Татьяна, та о другом болеет. Молодая, понимаешь, цветущая женщина — ей обидно. У нее гордость страдает. А я глубже смотрю. Ежели тебя сейчас, понимаешь, за три недели времени какая-то периферийная дамочка окрутила, то что будет дальше? Голову теряешь ты, вот в чем беда. Есть у тебя это, есть, не спорь, пожалуйста. Я вижу. Бывают такие натуры. Налей-ка еще полстакана...

Я налил. Мне было все труднее сдерживаться.

— Мы так ни до чего хорошего не договоримся, Александр Александрович, — сказал я. — Вы убеждены, что уличили меня в измене, а я отрицаю. И буду отрицать. И вообще мне надоело. Давайте переменим пластинку.

Он побарабанил короткими, сильными пальцами по столу.

— Нервишки у тебя и впрямь, я гляжу, не блещут. Это плохо, плохо... Ну что ж, расслабься мне некогда. Спасибо за чай.

— Не стоит. Не забудьте папиросы, — сказал я.

— Не забуду. Ладно. — Он поднялся. — Передавать что Татьяне ст тебя или не надо?

— Пожалуйста, — сказал я. — Пусть она сама приезжает за своими вещами. Вам я никаких ее вещей не дам. И посредников больше принимать не буду.

— Так, так. Очень любезно.

Я видел, как нахмурилось его лицо, как обиженно поджал он маленькие твердые губы, и я подумал, что мне теперь будет, наверно, еще труднее помириться с тобой. Но иначе я не мог.

Я встал и пошел за ним в переднюю, включил свет, потом вернулся на кухню. Я слышал, как он, шумно сопя, надевал свое тяжелое, с серым каракулевым воротником пальто, шапку, как, твердо ступая толстыми подошвами белых, подвернутых ниже колен бурс, подошел к двери, постоял немного, затем аккуратно открыл и так же аккуратно, без стука, затворил за собой дверь.

Я не мог иначе. Мне казалось, что я делаю очередную глупость, но продолжать подобный разговор с твоим отцом было выше моих сил. Я не сдержался, и я раскаивался потом, что не сдержался, потом, когда посреди ночи напала на меня тоска... Я готов был идти пешком к вам на Смоленскую и просить прощения у тебя и твоего отца. Тяжелое

предчувствие сдавило мне сердце. То мне казалось, что кто-то из вас опасно заболел, ты или Маша, то чудилось, что ты уже ушла к другому. Я встал, оделся и сварил кофе. Помню, было ровно три часа, когда закипел кофе. Я включил во всей квартире свет, выпил чашку кофе, выкурил подряд две сигареты и только тогда ощутил, что смогу уснуть. Как это ни странно — после чашки крепкого кофе и двух сигарет посреди ночи. И я уснул. И потом — утром и в течение всего дня чувствовал себя удовлетворительно. Днем у меня не было никаких дурных предчувствий. Я по-прежнему верил, что ты не могла уйти навсегда...

Ты пришла вскоре после моего возвращения с работы. Ты с порога объявила, что приехала забрать свои вещи. Как будто ты не могла взять их днем без меня!

— Как Маша? — довольно сухо спросил я.

Ты сказала с вымученной усмешкой:

— Тебя это интересует?

— Да, интересует, — сказал я.

— У нее насморк... Там же холодина в квартире... — У тебя был уже другой тон, не вызывающий и не агрессивный.

Я тогда не знал, что, вернувшись домой, отец выругал тебя за то, что ты посылала его ко мне, назвал меня «порядочным человеком, хотя и дураком», и заключил, что мы с тобой бесимся с жиру, что мы идиоты, которым вместе тесно, а врозь скучно.

— Черт те что, — продолжала ты, переключая с места на место теплые Машины вещи: шерстяные кофточки, рейтузы, носки, — живут как будто в центре, а никакого порядка. Третий день батареи холодные, лопнули там какие-то трубы. Я просто боюсь за Машеньку...

И тут я чуть было опять все не испортил.

— Незачем было возить ее к родителям, — сказал я и сам почувствовал неуверенность в своем голосе.

И тотчас, как тончайший приемник, ты отметила это. Брови твои приподнялись, ты метнула в мою сторону недоуменный, измученный взгляд.

— Не слишком ли торопишься с выводами? — сказала ты.

— Хватит, Таня, — сказал я. — Давай прекратим.

— Ты считаешь, что я могу так просто забыть твою подлость? Ошибаешься.

— Это ты ошибаешься. Я больше не намерен выслушивать твои вздорные обвинения. Довольно с меня. Или ты прекратишь, или...

— Что или?..

— Да что или. Возвращаясь к родителям, — сказал я.

— А я, между прочим, и не собиралась оставаться здесь. Ты очень ошибаешься. Я тебе никогда не прощу, ни-ког-да! И я тебе тоже сделаю, будь уверен...

— Что ты сделаешь? Чего болтаешь?

— То, что мне надо, то и сделаю. Понятно? Я не позволю издеваться! Не позволю топтать свое человеческое достоинство!

Ты была права. Ах, как ты была права! Я подумал: может, попросить у тебя прощения?

— Татьяна, — сказал я, — давай я поклонюсь памятью матери...

— О чем?

— Поклонюсь, что люблю только тебя.

— Клянись, что у тебя ничего не было с той шлюхой.

— Так ведь она не шлюха, ты ошибаешься.

— Для меня она шлюха. Шлюха! Шлюха! Напи-

сать женатому человеку такие слова, вешаться ему на шею... Шлюха!

— Нет, Таня, так я не могу.

— Я тебя за язык не тянула.

— Значит, не хочешь, чтобы я поклялся?

— Хочу.— Ты смотрела на меня уже с надеждой и интересом. Враждебность исчезла, колючесть исчезла. Конечно, тебе очень хотелось, чтобы то все было неправдой, недоразумением, некрасивым, дурным сном. Поклясться памятью матери — такой клятве нельзя было не верить.

Взгляд твой добрел, ты все зорче всматривалась в меня, а я думал: пусть я буду великим грешником, но я верну ее с Машенькой, и она не сделает того, чем она мне угрожала. Главное, чтобы она не сделала этого.

— Клянусь памятью мамы, — сказал я, — что я тебе не изменял и никогда не изменю, что я любил, люблю и буду любить тебя одну, только тебя...

— Хватит, — сказала ты. — Иди в «Гастроном» за голубцами. — И ты засмеялась, отвернулась и засунула обратно в шкаф теплые Машины вещи.

Я тебя обнял. Потом ты меня обняла. Потом я думал: как заблуждаются те, кто в поисках остроты чувства вступает в связь с разными женщинами. Мужчине нужна только одна женщина. Ему нужна любимая женщина. Ему нужно, чтобы эта любимая женщина его любила. Мне нужно было, чтобы ты любила меня, а тебе — я это отлично чувствовал! — чтобы я любил тебя...

Мы вместе вышли из дому, ты поехала за Машей, а я отправился в «Гастроном» за голубцами. Ты попросила еще захватить по пути пачку масла и молока две бутылки. И десяток яиц, если будут. И в булочной — два батона по тринадцать и половинку обдирного. И сахарного песку полкило... Ах, как это все было славно!

Следующий день была суббота. Дома пахло хорошим обедом, уютом, чистотой. Едва я переоделся после работы, как ты оставила нас с Машей вдвоем, а сама пошла во двор в овощную палатку за какой-то мелочью. Я посадил Машу на колени, и мы стали играть в игру, которая называется «Тпру, лошадка!».

— Папа, ты знаешь что? — в разгар игры, вдруг остановившись, сказала Маша. — Знаешь что?

— Нет, не знаю... Ты забыла сказать «тпру».

— Тпру. Знаешь?

— Нет. — Я пожал плечами. — Чего не знаю...

— Папа! — перебила она меня; ее личико было серьезно, а в голубых, таких всегда ясных моих глазах стоял вопрос, который требовал немедленного, безотлагательного решения. — Папа, а можно у меня будут два папы?

— Зачем тебе так много? — сказал я и насторожился. — А кто еще?

— Дядя Витя. Знаешь? Я буду ходить с ним в кино, а жить буду с тобой дома. Хорошо? Можно, папа?

— Это Виктор Аверьянович, приятель дедушки? — спросил я и почувствовал уже знакомый холодок под сердцем. — Он ходил с мамой в кино?

— Я не знаю. — Личико Маши не меняло своего выражения; что-то ей надо было понять. — Я спала. А потом дедушка приехал и разбудил меня. А потом пришла мама, а дедушка ее ругал. Давай играть.

— Подожди, Машенька. Скажи, этот дядя Витя был у вас, то есть у дедушки, позавчера? Что он говорил тебе?

— Ничего не говорил. Я забыла. Он сказал маме:

«Ты хочешь в кино?» А мама так головой сделала: «Нет». Он мне шоколадку дал, а потом я скоро пошла спать. Давай лучше играть в «Тпру, лошадка!».

— А бабушка была в это время дома?

— Папа, я не хочу больше разговаривать.

— Дома или нет бабушка была?

— У бабушки спинка болит. Она не ходит гулять. Понимаешь? Давай играть.

— Поиграй пока одна, а я пойду покурю.

Я ушел в ванную. Воображение услужливо нарисовало крупную, гладкую физиономию Виктора Аверьяновича, его мясистые горячие руки, его ищущие глаза, его доверительный шепот: «Ты счастлива? Хочешь в кино?»

Ты была уже на кухне, когда, докурив сигарету, я вышел из ванной. Ты взглянула на меня, и твое лицо, порозовевшее от мороза, сразу, как-то неправдоподобно быстро потускнело.

— Ты ходила с этим типом, с этим вашим Виктором Аверьяновичем, в кино? — спросил я.

В глазах твоих промелькнула досада и что-то еще, похожее на усталость.

— Ну и что? — ответила ты.

Холодок под сердцем моим задрожал, запульсировал.

— Какую вы смотрели картину? Быстро говори!

— Да что ты бросаешься, как бешеный?

— Я тебе покажу бешеного! Где ты была с ним? Вы были не в кино!

— Как ты смеешь?! — Ты отпрянула, вскинув руки к груди.

И вдруг взгляд твой испуганно скользнул мимо меня вниз и остановился, точно завороченный.

Я резко обернулся. В двери стояла Маша, оцепеневшая, дрожащая, с огромными, налитыми ужасом глазами. Я тихонько отодвинул Машу в сторону и, не одеваясь, на цыпочках вышел вон.

5

«Разводиться? Стреляться? Убить ее? Его убить? Вопросы, один другого отчаяннее, прыгали в моем разгоряченном мозгу... А откуда я, собственно, взял, что у нее с ним что-то было? Ну если она даже сходила с ним в кино? Неужели для нее это так просто: пренебречь супружеским долгом, рисковать благополучием семьи, дочери? Ах, ах, ах! В конце концов я могу точно узнать, были ли они в кино и когда она вернулась домой. Это все можно установить абсолютно точно. Каким образом? Самым элементарным. Спросить ее, потом спросить его и сличить ответы. И я не боюсь показаться смешным? Очень боюсь. Но если мне удастся уличить их во лжи... Разводиться? Его, паразита, убить? Ее? Покончить с собой? А Машенька? Это же ад!» — подумал я.

Я вернулся, надел пальто, проверил кошелек. Ну, конечно, одна медь, на сигареты и то не хватит. Сам, дурак, так поставил — отдавать все до копейки. Я разыскал твою хозяйственную сумку и выгреб со дна несколько выпачканных землей медяков. Теперь можно было трогаться: хватало на пачку «Новости» и на проезд в троллейбусе туда и обратно.

Ты была в комнате, Маша сидела у тебя на коленях, положив обе ручки на твое плечо и уткнувшись носом в твою грудь. Я посмотрел на ее нежный затылок, на светящиеся колечки русских моих волос и остро позавидовал тебе. Ты медленно повернула голову. Наши взгляды столкнулись.

— Вот, дружок, что значит шкодничать, — сказала ты. — И покоя нет.

Меня поразила открытая, откровенная враждебность твоего тона. Эта враждебность сбивала с толку. У тебя не должно было быть враждебности, тем более открытой, если бы ты была так виновата передо мной.

— Это ты о себе? — сказал я. — Молодчина, молодчина. Отец ее приезжает за вещами, бедная якобы лежит с температурой, а эта бедная в кино с ухажером убежала! Ведь факт, подлость твоя факт, а не предположение, как ты пыталась против меня...

— Папа, не ругайтесь, — сказала Маша. — Папа!.. И столько боли, столько страха было в ее голосе, это была такая мольба о пощаде, что я оборвал себя на полуслове и пошел.

— Пошарь еще в моих карманах! — бросила ты мне вдогонку.

И опять в словах твоих слышалась эта враждебность, непонятная и обнадеживающая. «А если на самом деле она только сходила с ним в кино?» — подумал я.

Все равно поеду к ее родителям выяснять, сказал я себе. Иначе невозможно, иначе ад. Напротив детского универмага я сел в троллейбус, но сошел не на Смоленской, а неожиданно для себя пораньше — у «Призыва»... Дядька, в очках, в старом, потертом кителе, терпеливо отстукивал что-то на портативной машинке. Он всегда немного удивлял меня: казалось, после всех ранений и фронтовых невзгод, оставшись с одним легким, с перебитым бедром, сердечник, язвенник, человек должен был бы превыше всего ценить покой, но дядька будто нарочно выискивал себе общественную работу похлopotнее: председатель товарищеского суда при домкоме, внештатный лектор-международник, общественный контролер... Я его любил, чуть старомодного, порой излишне прямолинейного, и нередко, не говоря тебе об этом, заходил к нему с какой-нибудь своей заботой или огорчением.

— Ну что, Аника-воин? — увидев меня, сказал дядька. — Опять?

— Да, — сказал я, — и, кажется, очень серьезно.

— Так у тебя и тот раз было очень серьезно. Не очень серьезно ты не умеешь. Что стряслось?

— Понимаешь, дядя Миша, я ведь изменил Татьяне... Я почувствовал вдруг чудовищность того, что я сделал, стоило только вот так, открыто, вслух сказать: «Я изменил Татьяне».

— Она узнала? — очень расстроенным голосом спросил дядька, снял большие, в темной роговой оправе очки и сел рядом со мной.

— Нет, но догадывается. Мне та женщина, вернее, девушка, кстати, наша землячка, я с ней в Сочи познакомился, она прислала мне письмо, такое хорошее товарищеское письмо, и в конце его приписочка, всего, знаешь, три слова: «Обнимаю, люблю, тоскую». И Татьяна прочитала.

— Когда это было?

— В среду. Уже четвертый день.

— А ты что же, обалдуй иванович, зачем ты той девице дал адрес? Котелок твой соображает?

— Ну, дядя Миша, во-первых, об этом говорить поздно, а, во-вторых, главное теперь не это. Я боюсь, что Татьяна начнет мне мстить, и тогда конец семье. Машу жаль.

— А я говорю, раньше надо было думать. Лучше-то было вовсе не засматриваться на девок, имея молодую жену. Но коль уж, как говорят, бес попутал, следовало позаботиться, чтобы другим от этого не было худо. Не разводить охи да вздохи, а думать... — Он вынул из кармана платок и

громко, трубно прочистил свой висловатый, в рябь бинках нос.

— Ты, кажется, тоже исходишь из того, что главное было не попадаться, а меня сейчас совсем другое заботит, — сказал я.

— Я исхожу из самой жизни, позволь тебе заметить, племянничек. И я прекрасно понимаю твою работу. Ты хочешь, чтобы я дал тебе совет, так ведь? А это трудно, невозможно как трудно.

Он встал и, прихрамывая, принес с письменного стола пачку «Казбека».

— Вот же все понимают вред курения, а курят. Понимают весь вред и тянут, чадят. А ведь с этими любовными делишками даже и не понимают. Вроде пустячок, приятное времяпрепровождение. Я не про всех, ты не маши рукой. Ты слушай, а не хочешь слушать — я тебя не неволю. Я тебе не аптекарь — пожалуйста, получай по рецепту... Плохо то, что у вас, у нынешних молодых людей, исчезло представление о грехе, греховности, особенно когда касается этих так называемых любовных дел, то есть прелюбодеяний — вот точное слово тебе, точное, старое слово — прелюбодеяний, короче говоря. Причем греха, греховности не в религиозном смысле — хотя, надо признать, религия осуждала и тем самым как-то сдерживала животные страсти, — да... не в религиозном, а в смысле земного, реального зла, вреда себе и окружающим. Себе и окружающим. Доходит? И если ты пал, если ты человек, конечно, с разумом и совестью, как подобает, а не скотина, ты уж будь любезен, неси расплату за свое падение, за этот грех, сам, один, не заставляй страдать других, насколько это возможно. Я вот о чем, из чего я исхожу.

— Я не признаюсь Татьяне никогда, разве только перед смертью. Но что-то она все-таки чувствует.

— А как же? Не может не чувствовать. Потому что ты стал другим, ты изменился в чем-то. А письмо полюбовницы, эти ласковые словечки подсказывают, в каком направлении и отчего ты изменился. Вот тебе и реальное зло. Потеря доверия со всеми вытекающими последствиями.

— Но я не думаю, что я так уж изменился. Правда, знаешь, я стал за собой замечать, что я вроде сам теперь меньше доверяю ей.

— Ну вот, вот. Вот так всегда и у всех. И у меня так было в молодые годы. Да, было. И думаешь, знал, как поправить дело? Ничего не знал. Метался, как и ты. Надо восстановить в правах гражданства понятие греха как безнравственного деяния, за которое неизбежно следует кара, хотя бы заговорить во весь голос об этом реальном эле, социальном, если хочешь, назвать вещи своими именами, и это, наверно, первый шаг к решению проблемы... А ты хотел, чтобы я так просто дал совет, на блюдечке его преподнес. Это немыслимо как сложно все, мы даже не представляем себе, как сложно.

— Что же все-таки делать, дядя Миша? У кого я еще могу спросить, с кем посоветоваться? Страшно, что Таня изменит мне, назло, в отместку, и тогда...

— Что тогда, можешь не говорить. Машу больше всех жалко. Вот главное. Ты все ищешь главное. Девочка, ребенок должна неизвестно за что страдать — вот главное!

Он снова поднялся, достал из буфета рюмки, потом принес с кухни запотевший графинчик с водкой и разрезанный пополам огурец в чайном блюде.

— Ну, давай по-родственному, по-мужски, — сказал он и наполнил рюмки. — Я тебе вот что скажу, Валерка. Скажу и как близкий твой и как старый солдат, тертый калач. Я-то сам, увы, опоздал... все мы задним умом крепки, да... Не давай разлететься семье. Борись за то лучшее, что знаешь в душе

Татьяны, и помогай избавляться от того, что ей вредит, и ей самой и вам обоим... Ну, скажем, не повезло, в чем-то не повезло тебе на семейном фронте, солдат. Но если ты не найдешь счастья в том, чтобы выполнять свой человеческий долг и тут, и на этом маленьком плацдарме, на этой, так сказать, пяди земли, то не будет для тебя личного счастья, браток, вообще. Вот как я теперь думаю! Не знаю, поймешь ли меня, согласишься ли, но другого пока ничего не скажу. Это я, старый хрыч, выстрадал.

Мы выпили, а через полчаса я был дома. Хорошим обедом уже не пахло, повсюду в беспорядке валялись вещи — Машины рваные колготки, твоя старая варежка, мой один носок, — вероятно, ты что-то искала. Шубка твоя висела на месте, но расхожего зимнего пальто не было, не было и Машиной шубки. Я понял, что вы гуляете. Я умылся, включил на кухне свет и стал обедать. Мой любимый фасолевый суп был едва теплым, тушеная картошка покрылась блестками застывшего жира. Я поел, сложил грязную посуду в раковину и хотел почитать, пока вас нет. Вадик давно рекомендовал мне книгу Данина «Неизбежность странного мира». Сегодня я взял ее в нашей заводской библиотеке. Я раскрыл книгу, пробежал глазами оглавление и вступительную часть, но дальше читать не смог: было как-то очень неспокойно на душе.

«Мужик, — я себе сказал, — ты принял единственно правильное решение. Ты не имеешь права ревновать и вообще психовать».

«Да, но как это сделать? — возразил я себе тут же. — Никто по своей доброй воле не ревнует и не психует. Мало понимать, на что я имею право, на что не имею; как подчинить сердце рассудку — вот в чем вопрос. Один из вечных вопросов. И я не знаю ответа. Чего не знаю, того не знаю».

«Ты понимаешь, а это уже много. Понимаешь, что это ты, ты виноват в ваших ненормальных взаимоотношениях с Татьяной. Ты сам вызвал кризис в семье. Сам виноват, что тебя теперь мучает ревность. Ты даже понимаешь, почему; ты понимаешь, что тебе после всего содеянного тобой многое лишь кажется. У тебя нет настоящих, подлинных причин для беспокойства».

«А хороший обед и порядок в доме — разве это не верный, давно установленный признак, что она чувствует себя виноватой? В чем виноватой? В том, что она как будто напрасно подозревала тебя в измене: ведь она поверила твоей клятве. Хорошо, пусть так. А то, что она ходила с ним в кино? Она же призналась, что ходила с ним в кино. А может быть, она и не в кино с ним ходила? Пойдет этот тип просто в кино — как же! У него своя «Волга» и отдельная холостяцкая квартира... Он вначале предложил ей покататься на машине, потом пригласил зайти на минуту к нему выпить чашку кофе... Знаем мы эти штуки! Так в чем же дело?»

«Погоди, погоди. Она же честная женщина, Таня. Была честная, пока ты был честный. Вот в том-то и дело! До этого ты ничего за ней такого не замечал. А теперь ты заронил в ее душу сомнение и можешь ожидать всего. Но почему? Почему? А потому, что она дочь своего отца: «Живем один раз... Бери от жизни все, что она дает...» И если это можно было тебе, то почему нельзя ей? Она вполне может так поставить вопрос. Самой себе. Она же еще не понимает, какие последствия несет в себе супружеская неверность. Душа чернеет».

Тебе просто надо выяснить, в кино они были или не в кино. Понятно? Только в этом дело теперь. Если она тебе не изменила, то ты теперь будешь ей верен до конца жизни, будешь ее всегда и еще

больше, чем прежде, любить и уважать. И тогда мы все начнем сначала. Маша уже не маленькая, и ее не страшно отдать в детский сад. А Таня поступит наконец учиться: ведь несмотря на влияние отца, она не забыла о твоем обещании помочь ей, она все ждет, и еще не поздно, учиться никогда не поздно... Но сперва надо узнать, в кино они были или нет. Хорошо. Допустим, узнал. Это было очень сложно, трудно, унижительно, но ты узнал, выяснил. Допустим, она в тот вечер изменила тебе. Что тогда?

Что? Этого вопроса не существует. Только разрыв.

А как же твое железно принятое решение — сохранить во имя Машеньки семью? Ведь ты сам виноват во всем. Даже в измене Татьяны, если эта измена имела место. Ты должен простить ее.

Тогда зачем выяснять, были ли они в кино? Тебе не надо ничего выяснять, мужик. Ты должен сказать себе: вот тебе наказание — измена жены, и ты обязан это снести, обязан простить ее; этим ты искупаешь свою вину.

А если она и раньше изменяла тебе с этим типом?.. А если она вообще не изменяла?..»

Я почувствовал, что голова моя распухла от бесконечных больных вопросов. Я не мог читать, не мог спокойно сидеть на месте. Я уж и курить больше не мог: во рту была ядовитая горечь. Я открыл форточку, оделся и вышел во двор.

Был тихий снежный вечер. С предновогоднего елочного базара тащили елки. На третьем этаже крутился магнитофон. Возле хлебной палатки выстроилась очередь. Помню, я сказал себе тогда: «Хочу душевного спокойствия. Хочу тащить елку, слушать цыганские романсы, стоять в очереди». Тебя и Маши поблизости не было. Я решил пройтись вокруг дома — думал, может быть, встречу. Мне хотелось погулять вместе с вами: с тобой и с Машей. Чтобы Маша шла посредине, а мы держали ее за руки. Чтобы у нас с тобой был свой взрослый, неторопливый разговор о новогодней елке, о Маше, о том, что нам необходимо купить к празднику. Чтобы Маша, перебивая нас, приставала со своими вопросами, время от времени, балуясь, повисала на наших руках или тянула к ледяной дорожке.

Словом, я вдруг остро почувствовал прелесть обыкновенной, нормальной семейной жизни и тоску оттого, что моя семейная жизнь катится под откос. Я все более ускорял шаг, я обошел дом — вас не было. В полном душевном смятении я вбежал по лестнице на наш этаж — вы стояли возле двери и отряхивались от снега.

Взгляд твой был холоден, безразличен, чуть отчужден. Если бы он был враждебен, как два часа назад, я бы знал, что делать: я сказал бы, что люблю тебя и хочу, чтобы у нас было все, как у людей: новогодние хлопоты, елка, праздничные подарки. Если бы взгляд был недоверчив, печален, насторожен — таким он часто бывал в первые дни после моего возвращения из Сочи, — и с этим я тоже справился бы теперь: растормошил бы тебя, развеселил и, конечно, тоже сказал бы, что люблю, сказал бы от души.

Но взгляд твой был просто безразличен, холодно-важно-безразличен: так смотрят на посторонних. И в горле моем застряли слова, которые накапливались во мне, пока я искал вас во дворе и вокруг дома; я снова ощутил уже такой знакомый холодок под сердцем.

— Ты не озябла? — спросил я Машу.

— Какой ты смешной, папа: я вспотела! И я хочу еще гулять.

— Но ты вспотела, это тоже нехорошо. Надо переодеться, — сказал я и открыл дверь.

— А когда я переоденусь, ты пойдешь со мной еще гулять?

— Может быть. Заходи...

Ты, опередив Машу, вошла первой, посмотрела внимательно на свое лицо в зеркало у вешалки, сняла с крючка хозяйственную сумку и сказала:

— Маша, я в магазин.

Невозможно было не поддаться этому тону, и я тоже сказал:

— Мы, Машенька, переоденемся и погуляем с тобой еще с полчаса. Пусть мать не забудет ключ от квартиры.

Ты ничего не ответила, поправила перед зеркалом свою пушистую шапочку и вышла. А у меня внезапно заняло сердце. В голову полезли самые нелепые мысли. Я быстро сменил Маше нижнюю рубашку, свитер, снова надел на нее шубку, и мы пошли следом за тобой в магазин.

Если бы ты знала, как я обрадовался, увидев через квадратное стекло окна тебя стоящей в очереди за молоком! Маше я, разумеется, не сказал об этом, я показал ей в витрине Деда Мороза и разукрашенную елку, и мы зашагали обратно к дому.

— Папа, а у нас будет дома елка? — спросила Маша.

— Обязательно. Только небольшая.

— А я скажу маме, чтобы она большую купила.

— Ты лучше скажи маме, чтобы она перестала сердиться, — сказал я. — Ты знаешь, почему она такая сердитая?

— Не знаю, — сказала Маша. — Она, наверно, хочет в кино. Ты уехал... куда ты уехал днем?

— К дяде Мише. А что?

— Ты уехал к дяде Мише, а мама опять плакала. А потом умылась, покрасила себе губки, и мы пошли гулять. Ты купишь мне большую елку?

— Да, да.

Вечером, когда Маша уснула и вскоре легла ты, я попытался заговорить с тобой. Я спросил, где мы будем встречать Новый год. Ты молчала.

— Нас приглашает в компанию Вадик. В понедельник мне надо дать ему ответ. Слышишь?

— Отстань.

Я пошел в ванную, покурил, почистил зубы и тоже решил ложиться спать. Ты перекинула свою подушку на другой конец дивана.

— Таня...

Ты молчала.

— В конце концов в чем дело? Кто на кого должен больше сердиться? Ты на меня за то, что женщина, которая живет от Москвы за пятьсот километров, что она... объяснилась мне в любви, или я — за твое вероломное поведение? Ты была с тем растленным типом в кино, а твой папаша уверял меня здесь, что ты лежишь и у тебя температура. У кого больше оснований для недоверия?

Ты молчала.

— Послушай, Таня, я хочу, чтобы у нас был мир. Чтобы не было таких безобразных сцен, как днем — пусть, я согласен, я виноват... уж больно, знаешь, пакостный тип этот, и просто невозможно, трудно удержаться от всяких мыслей в связи с этим, ну, ты понимаешь, о чем я. Ну хорошо, я ни слова больше об этом, никаких подозрений — пусть. Ведь я тебя люблю. Да, я тебя люблю, ты знаешь, всегда любил, люблю и буду любить. Машенька... Ведь это подло доводить девочку до такого состояния. Ладно, я виноват. Пусть я виноват. Только я виноват. Передо мной все время стоит ее личико в красных пятнах, а ты понимаешь, ты знаешь, что такое для меня Машенька... Словом, я хочу вернуться к нормальной

спокойной жизни. Я люблю свою семью. С той весны будет не страшно отдать Машу в садик... Все может быть так хорошо. Ты слушаешь меня?

Ты молчала. Я уловил твое сдерживаемое дыхание.

— Ты что-то надумала? Говори! В конце концов надо же объясниться...

Ты ответила глухим, прерывающимся от волнения голосом:

— Ты лжец. С самого начала, с первых дней. Хватит, ненавижу. Подавай заявление на развод. Все...

Я почувствовал, что я преступник, которому нет и никогда не будет прощения.

6

Заявление в народный суд я написал в понедельник. Воскресенье провел у Вадика; он как раз только что благополучно развелся со своей женой, и мне хотелось посоветоваться с ним насчет формулировок. Заявление получилось, по-моему, короткое и убедительное: «Ввиду того, что не сошлись характерами...»

Ты прочитала, покраснела, вскинула на меня испытывающе глаза и бросила бумагу на стол.

— Что значит не сошлись характерами? Этого я не подпишу.

— Но это самая безболезненная формулировка. В других случаях неизбежны всякие неприятные процедуры... — И я стал объяснять тебе то, что мне самому накануне объяснил Вадик.

Ты очень нервничала, одергивала кофточку, наматывала на палец узкий конец косынки, выщипывала ниточки. И каждый взгляд твой был до предела испытующ — ты точно не верила, что это я перед тобой, я; я думаю, что в ту минуту я казался тебе каким-то новым и даже по-новому привлекательным; на твоём лице было написано: «Неужели это он, Валерка, мой муж? Что происходит?»

— Тем более что в общем-то эта причина действительно существует, я ее не выдумал, — продолжал я бесстрастно. — Характеры у нас абсолютно не схожи: я, как ты знаешь, человек импульсивный, ты по-своему дай бог... Но если хочешь указать другую причину — пожалуйста, это — твое право.

— Ты мне изменил.

— А доказательства?

— Письмо.

— Это не доказательство. Сходи с этим письмом к юристу, он тебе то же самое скажет. В общем, я советую тебе согласиться с моей формулировкой. Тут нет никакой неправды. И нас разведут без лишней нервотрепки...

Нет, я не играл. Тогда я на самом деле думал, что надо развестись. И как можно быстрее. Лучше бы всего — в тот же день, сразу. Вот так — пойти в загс, предъявить паспорта, свидетельство о браке, заявление и выйти оттуда чужими.

Сердце мое точно одеревенело. Я сам удивлялся себе. Вот с этой самой минуты, и даже не минуты, а секунды, как ты сказала «ненавижу». Ты сказала «ненавижу» и потом сказала «подавай на развод» и будто предала самое наше святое и потаенное...

Я больше не играл. И ты, почти всегда безошибочно читавшая в моем сердце, не могла не понять, что я не играю. И тот нигде не записанный и всем известный закон, который можно было бы назвать законом психологической инерции (есть — не надо, уходит — стремишься догнать, не дается — хочешь взять), немедленно сработал.

— Знаешь, — сказала ты, вдруг мучительно покраснев и отворачиваясь от меня, — а о Машеньке ты подумал? Как будет девочка расти без отца?..

Ты действовала на ощупь, но безошибочно. Это же совершенно нечеловеческая вещь — женская интуиция!

— ...которая тем более так похожа на тебя и так тебя любит. Понимаешь, все, все, все можно перетерпеть, а вот видеть Машины страдающие глаза, а потом — ее вопросы, где папа.., это ужасно!

— Что ты хочешь от меня, Татьяна? — сказал я. — Кто начал всю эту волюнку?

— Не знаю, — сказала ты и заплакала.

Я уверен, что и слезы твои были только оружием, с помощью которого ты намеревалась сломить меня. Но тогда это все выглядело так естественно: и немного запоздалая щемящая мысль — а как дочка будет без отца, и некоторая твоя растерянность, и слезы. Это было так естественно, натурально и ничуть не роняло твоего достоинства. Ты вроде бы и не отказывалась от развода и в то же время в глубине души будто бы сожалела о нем. О, эта звериная женская интуиция!

— Ладно, — сказала ты, всхлипывая. — Так мне и надо, дура набитой. Пошла за него честная и все пять лет, как затворница, ни на кого другого не посмотрела. Так, видно, всегда бывает с такими, как я...

— Но ты же сама сказала, что ходила с ним... — Я опять почувствовал ноющую боль и противный хлопок под сердцем.

Ты усмехнулась и вытерла платочком слезы.

— Глупый ты. Теперь я могу сказать тебе все. Я с ним не в кино была, а в магазине «Ткани», недалеко от «Восстания», он там замдиректора. Они как раз получили импортный штапель. В семь ушла, а в восемь была уже дома. Можешь мать спросить. И штапель этот у нее лежит.

— Но ведь ты ненавидишь меня, ты это тоже сказала, — пробормотал я, чувствуя, как все растет и в то же время сужается моя боль.

— Ох, как я устала! Кто бы знал, как я устала! — сказала ты и посмотрела на меня своими большими заплаканными глазами; разве можно было что-нибудь понять по этим глазам? — Давай ручку, — сказала ты, — я напишу на заявлении, что согласна. Не сошлись, так не сошлись. Не все ли теперь равно? — Вот что, пожалуй, лучше это дело отложить до Нового года, — сказал я. — Спешку тут совершенно незачем пороть. Встретим Новый год, а там будет видно... Позвонить Вадьке?

— Как хочешь. Позвони...

Так ты победила меня еще раз.

И все пошло как будто по-прежнему. Впрочем, не все.

Я возвращаюсь с работы. Дома темно, душно, пахнет пылью. Я зажигаю свет. В передней разбросана обувь, в комнате не убрана постель, на кухне — грязная посуда. Форточка закрыта. Что делать?

«Что делать?» — спрашиваю я себя в который уж раз и не нахожу ответа. Я не знаю, что мне делать.

Я открываю форточку, беру тряпку, щетку и иду в комнату — убираю постель, смахиваю пыль, подметаю пол. Потом перехожу в переднюю и складываю попарно обувь — твои домашние туфли, Машины галоши, тапочки, опять стираю пыль и подметаю. Перехожу на кухню и, засучив рукава, мою горячей водой тарелки, ложки, чашки. Через полчаса в квартире порядок. Думаю: неужели ей самой трудно было это сделать?

Как всегда, вернувшись с работы, я завариваю чай.

В буфете ни крошки хлеба. В холодильнике — пачка потрескавшихся дрожжей и сморщенная морковка. Ни молока, ни масла. Почему?

Я сижу на кухне и пью крепкий чай. Я стараюсь ни о чем себя не спрашивать. Просто сижу и пью чай. Отдыхаю.

Коротко постукивает, поворачиваясь, ключ в замке, распахивается дверь. Маша несется прямо на кухню.

— Папа, ты не будешь ругаться?

— Нет, Машенька.

Под носом и на щеке у нее засохшие зеленоватые полоски, на лбу склеившиеся от пота пряди волос, шубка застегнута на одну пуговицу.

— Опять вспотела?

— Немножко.

— Ну пойдем переодевайся.

Она подает мне красную шершавую ручонку и идет рядом, не сводя с меня настороженного, направленного снизу вверх взгляда. Ты в это время, не снимая пальто, изучаешь свое лицо в зеркале, подмазываешь губы, пудришь нос и лоб. Когда я прохожу мимо, ты небрежно роняешь:

— Я в магазин.

И, взяв сумку, хлопает дверью.

Маша сразу веселеет. Мы переодеваемся в сухое, чистим основательно нос, основательно, с мылом, моем руки, лицо, шею, тщательно вытираемся и идем в комнату играть. Мы играем в «Тпру, лошади!» и в «дочки-матери». Снова коротко постукивает, поворачиваясь, ключ в замке, Маша, вздрогнув, пристально глядит мне в глаза.

— Не будете ругаться?

— Нет.

— Маша, тебе омлет приготовить? — раздается через минуту твой голос на кухне.

— Не хочу омлет, я утром ела, — отвечает Маша и еще более настороженно смотрит на меня. Ее мои глаза спрашивают: «Не будете? Не будете?»

— Не беспокойся, Машенька, я не буду, — говорю я.

— Ничего, съешь, мне больше нечего тебе давать, — говоришь ты, появляясь на пороге.

— Мама, я вырву, — говорит Маша испуганно. — Я больше не хочу омлета. — И она делает такое движение, как будто у нее позывы на рвоту.

— Дай ей чай с молоком и с булкой, если ничего другого нет, — говорю я.

— А ты помолчи. Мы сами разберемся... Я тебе сказку прочитаю, — говоришь ты Маше.

— Мама... осторожно произносит Маша, смотрит на тебя, на меня, опять на тебя, глаза ее умоляют: «Не будете ругаться?» — Мама, — говорит она, — я съем омлет, только я вырву.

— Господи! — не выдерживаю я. — У тебя есть картошка?

— Отстань. Буду я сейчас возиться с картошкой.

— Давай я почищу и поджарю. Минутное же дело.

— Чисти, если тебе охота. Я опаздываю на репетицию в красный уголок.

— Но, может быть, ты сперва покормишь нас ужином?

— Уже заплакал? Сами не можете? В рот я вам должна положить?

— Мама, — говорит Маша, бледная. — Я буду есть омлет. Я не вырву. Не ругайся.

— Вот несчастная кривляка! — возмущаешься ты.

— Маша, зачем же? Пойдем на кухню, я тебя покормлю, — говорю я.

— В рот им, видите ли, я должна положить, — продолжаешь ты с пафосом. — А то они сами не могут, господа! Хороши будете и так.

Я чувствую, как Маша быстро поглаживает меня по руке, на личике ее загораются пятна, а взгляд шепчет: «Не будете? Не будете?»

— Не буду, не буду, не буду,— бормочу я и, дрожа, тащу Машу за собой на кухню.— Злодейка! Преступница!— ору я уже на кухне.

Хлопает дверь.

Иногда дверь хлопает тотчас же, едва я успеваю войти в дом.

— Мне надо к маме,— объявляешь ты.

— Зачем?

— Надо.

Я не люблю этих твоих поездок к матери. Я готов видеть твою мать у нас хоть каждый день, но отпускать тебя к ней не люблю. Ты это знаешь. И если ты возвращаешься поздно, когда Маша уже спит, я не могу удержаться от того, чтобы не учинить тебе допрос. Я этого не хочу, мне унижительно, но я спрашиваю:

— Этот тип тоже был?

— Какой тип? — Так наивно, невинно, будто ты и в самом деле не понимаешь, о чем я.

В такие минуты я тебя ненавижу. Мне кажется, что ты насквозь пропитана фальшью: твои глаза, твой голос, руки твои, все твои движения, когда ты переодеваешься,— все фальшь, притворство, обман, ад.

7

«Не знаю, не знаю, не знаю,— пронеслось в его голове в то время, как перед ним бледнели и затухали кадры той странной видеоленты, которая была отражением его собственной жизни.— Что-то все-таки можно было; наверно, можно: ведь она верила мне, и в конце концов я в ответе за все. Можно было... Но что? И почему — было?»

Он прислушался. Сознание его в силу какого-то закона цикличности вновь ясно, и он услышал прежде всего толчки внутри себя, мерные, пульсирующие, похожие на тиканье. Потом он услышал скрип — так скрипит на ветру надломленная ель, — но ему померещилось, что где-то далеко каркает ворона, низко, надсадно (это был звук механического рожка на железнодорожном переезде), услышал как будто паровозный гудок и подумал с удивлением: «Я сплю? Но я ведь только что долго разговаривал с Татьяной. Где я? Что со мной?»

«Таня», — хотел сказать он и пошевелил запекшимися губами, и этого было достаточно, чтобы откудато снизу, из тяжелых глубин живота, хлынула и опалила его боль.

Боль ожила, зажала, затикала, стала опять сверлить и туманить мозг. С огромным трудом он открыл глаза — веки были словно чужими, чугунонепослушными — и увидел дымное, чуть зазеленевшее небо и черную листву березы, под которой он лежал.

«Я ранен... Почему не было последней электрички?» — подумал он.

Веки смежились сами собой, и он ощутил в уголках глаз, в этих луночках у основания носа, горячую щекоющую влагу. Подобно большинству умирающих, он не понимал, что умирает. Он понимал только то, что может умереть, и ему было жаль себя, жаль жену, дочку, жаль, что не сделал чего-то простого и важного, от чего было бы всем хорошо, и он плакал беспомощно и бессильно, как всегда, когда плачут с закрытыми глазами.

Больше он не ревновал, не ненавидел и не любил той любовью, которая способна оборачиваться в ненависть; силы у него доставало лишь на то, чтобы жалеть. И он жалел сейчас и жену и дочку, но, пожалуй, особенно жену. И он вдруг понял со всей ясностью и мощью прозрения, что ему надо было не бежать, не терпеть, не смиряться; счастье была рядом — только протяни руку; надо было просто ее жалеть, то есть желать добра, то есть поступать так, как хотелось бы, чтобы поступали с ним самим, и главное — не ограничивать ее только домом, а помочь ей войти в ту большую жизнь, без которой он сам не мыслил себя и в которой она все эти годы упорно, хотя порой и безотчетно, стремилась; надо было так ее жалеть, и это чувство подсказывало бы ему в каждом отдельном случае, что делать.

Загрохотало, забило, застучало и смолкло — это опробовали в аэропорту мотор. А потом стало слышно, как гудит проходящими машинами шоссе за березовой рощей.

Вновь — уже ближе — бархатисто пропел электро-воз, залаяла, будто закашляла, собака, напоминающая коклюшного больного, прошелестела листва над головой.

«Скорее бы рассвет, утро,— думал он.— Должны же подобрать меня уже утром?..»

Он не знал, что та девушка в белом, которой он помог спастись от насильников, выпускница поселковой школы, засидевшая допоздна в тот вечер у подруги и потом напрямик через рощу побежавшая домой, что эта девушка после долгих сомнений и колебаний разбудила уже во втором часу мать и рассказала о случившемся. Они зажгли старый керосиновый фонарь и, трясясь от страха, прошли по асфальтированной дорожке, оглядывая близлежащие кусты. Возвратившись ни с чем, подняли с постели свояка, служившего в военизированной охране, втроем растолкали ото сна сторожуху в пос-сове, и свояк стал звонить в районную милицию. Там, на том конце провода, спросили, кто говорит, ответили: «Ясно» — и немного погодя прибавили: «Ждите». В райотдел уже поступило сообщение, что на восемнадцатом километре задержано трое подозрительных в средней степени опьянения; у одного при досмотре обнаружены пятна крови на рукаве...

Дежурная милицейская машина с двумя оперативниками и врачом мчалась по шоссе к дачному поселку, и водитель все чаще поглядывал наискось влево, чтобы не проскочить нужного поворота, а Валерий по-прежнему лежал под своей березой, обессиленный от потери крови, оочевевший от холода. Дышать ему было все труднее, и начинало чудиться, что он на дне реки, а над ним вода, водоросли и сквозь них смутно просвечивает небо. Так бывало с ним во сне: он будто бы тонул, но вот удивительно — ему удавалось вдохнуть в воде, и он тут же просыпался. Он и теперь дышал в воде с темными колеблющимися водорослями, но отчего-то не просыпался.

Он снова ненадолго пришел в себя, и последнее, что он увидел, была золотистая точка света — капля росы на березовом листке, зажженная первым солнечным лучом. Он вспомнил, что где-то читал про такую летящую в пространстве точку света, которая живет один миг, а сама в себе вечность; сейчас эта золотистая точка («электричка», — мелькнуло в голове) над ним росла, шевеля лучиками и опускаясь, и он, собрав все силы, стал ждать, когда она подойдет к нему и он станет ею.

—

Геннадий
Машкин



ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

РАССКАЗ

Рисунки Г. Калиновского.

—3 а двадцать пять рублей я вам прекрасную могилу отгрохаю.— Могучие руки кладбищенской сторожихи скрещиваются на груди.— Лучше и не надо.

— Видите ли,— я переминаюсь с ноги на ногу перед калиткой, которая висит на одном ремешке,— мне экспедиция выделила рабочих. Укажите, пожалуйста, место...

— Двадцать рублей — и дело с концом,— не унижается сторожиха.

Она проворно выскакивает за калитку. Устремившиеся было за ней крепкие, румяные ребятишки, козлята и цыплята остаются за оградой.

— Меня рабочие ждут там, поймите,— бормочу я, показывая рукой в сторону кладбища.— Отведите место, и все.

Сторожиха сердито сопит и делает шаг по направлению к кладбищу. Из-под кирзовых ее сапог с задорными, сплюснутыми носками желтой пудрой поднимается пыль.

Я отстаю и с наслаждением дышу придорожным пыльным воздухом. Однако ноздри слышат сладкий запах тления. Может быть, он исходит от складок широкого платья сторожихи, от ее рук с кожей, как бурые скалы Витима? И я нащупываю в нагрудном кармане «энцефалитки» пузырек с духами «Белая сирень».

Отвинчиваю колпачок и втягиваю по способу йогов, как воду через ноздри, запах белой сирени. Рот сводит судорогой и наполняется горькой слюной.

Перестарался... Как только сдал покойника в морг, купил «Белую сирень» и надышался до одури. В детстве однажды увидел я покойника и целую неделю не мог есть. С тех пор я не был ни на одних похоронах. А тут пришлось сопровождать мертвого из тайги на вертолете. Нелепо погибшего Володю Ураганова.

Экспертизой выяснено, что Володя Ураганов проломил височную косточку, упав головой на пенек. «От нехватки витаминов и солей височная кость у них, якутов, истончается», — объяснил мне следователь, который давал санкцию на похороны Володи. Я проклял тот пенек, на который упал Володя. Ехал он хорошо на своем олене, пел песню. Но где-то в кустах зашебуршил медведь, и дернулся вожак. Володя свалился на просеку. А была она в заостренных пеньках. Сами же и рубили ее на гольце — вот что обидно. И песня Володина в ушах у меня долго звучала: не верилось, что погиб наш каюр. Даже вертолетный гул не мог ее заглушить. И если бы не мне сопровождать покойника, думал бы я о нем, как о живом. Просто ушел в дальний маршрут, и все. Но мне пришлось до конца почувствовать, что наш Володя умолк навсегда.

В вертолете я сжался, не смея взглянуть на того, кто сидел рядом со мной на красном сиденье. Белобрый пилот несколько раз прицеливался в меня черным кругляшом наушника, прежде чем заложить вираж над темно-стеклистым плесом Витима. Вертолетчик недаром поворачивал голову. Когда машина дала левый крен, покойник начал сползать на меня. Володя навалился на меня всей своей мертвой тяжестью, и я инстинктивно рванулся с сиденья к пристегнутой ручке выходной двери. Но пилот не дал мне вывалиться из машины. Он выпрямил вертолет...

— Пятнадцать рублей — самое малое. — Сторожиха грузно поворачивается ко мне в воротах кладбища.

Ворота — два сучковатых бревна, врытых в землю по бокам от дороги. Забора никакого нет.

— Да у меня рабочие,— раздраженно отвечаю я и замедляю шаги. Прочесываю взглядом кладбище. Оно какое-то пестрое и бесплановое. Впереди, на открытом склоне гольца, еще сохраняется некое подобие постепенно блекнувших рядов. Но дальше, в шелестящих глубинах северного кустарника, среди древних крестов сияют свежей масляной краской ограды и маленькие обелиски со звездочками. Но где же мои рабочие? Нет рабочих. Ушли...

Я подбегаю к первому ряду. Лопаты, лом, кайла на месте. Они остро поблескивают возле свежей могилы, где в капитальной железной ограде терпко пахнет гора пихтовых венков. Вспоминаю, что по пути сюда мы проходили мимо забегаловки, именуемой «Голубым Дунаем». Рабочие перемигивались очень красноречиво: «Выпить бы, братцы, за упокой Володиной души. Стоящий парень был».

— Песок не задача выбросить, мерзлоту подолби попробуй,— пугает меня подоспевшая сторожиха.

— Укажите место! — Я хватаю лопату и всаживаю в землю, как гарпун.

— За десятку я мерзлоту кайлить не буду. — Голубичинки ее глаз холодеют под низко, от солнца, повязанной косынкой. — Зачем мне за десятку мерзлоту кайлить?

— Да какая тут мерзлота? — Я втаптываю лопату ногой, и она — как нож в масло. — Может, вы лучше нас в геологии разбираетесь?

— В своем деле смыслу. — Сторожиха упирает руки в крутые бока. Лицо ее, простеганное морщи-

нами, словно телогрейка нитками, становится надменным. — Двадцать пять лет хороню... Где зря человека не положу. Вашего надо в мерзлоту.

— Да не все ли равно, где покойнику лежать?

Оглядываюсь — не возвращаются ли рабочие. Дорога, желтым ручьем сбегающая в городок, пустынная. Но откуда-то сзади, из кустов, раздается звук, напоминающий скрип ставни, и потом полувнятное бормотание.

Может быть, это мои рабочие? С надеждой отыскиваю глазами источник звуков. Иду туда, перешагивая через холмики. Трещат под моими ботсами веточки старых венков, шуршат лепестки рассыпавшихся бумажных цветов. Вступаю под сень леска. Топчу солнечные пятнышки, которые подпрыгивают в травах.

За изумрудным кустом пахучей черемухи сидит на свежей могиле мужчина. Новый синий плащ натянулся на его согнутой спине. Вздрагивает завиток седых волос в ложбинке над худой шеей. Скрипучий звук опять вырывается из недр его груди. Мужчина поворачивается. Глаза его красны, но слез нет.

— Ушел друг от меня, — пожаловался он с судорожным всхлипом. — Раны старые жить не дали...

Читаю надпись на железном листке, прибитом к красному обелиску: «Ожигов Сергей Васильевич, родился в 1923...» В сорок первом ему было восемнадцать лет. А мне уже двадцать пять. Нашему поколению, можно сказать, повезло. Мы дожили до двадцати пяти. Не убиты, не искалечены... И, может, проживем до тридцати. А до пятидесяти?... Ну, это уж слишком долго без войны. А вдруг и до ста проживем?!

— А-ы-ы-ых... — скрипит снова в горле у мужчины, и он припадает к своей скомканной белой кепке. — Я-то под Курском должен лежать, да ты меня выкопал-а-а-ал из воронки, помнишь, Сережка-а-а...

— Будет, будет тебе, Ефим, убиваться. — Сторожиha берет за его плечо пальцами с грубыми оплывами суставов. — Хорошо лежит Сергей, в мерзлоте. Навечно.

Ефим достал из кармана пол-литровую бутылку водки, стаканчик, пакетик плавленого сыра, пучок лука батун и кулечек карамелек.

— Выпьем, Пелагея Абросимовна, за упокой души Сереги, — сказал он, открывая блестящую пробку зубами.

Я делаю вид, что не слышу, и направляюсь разглядывать надгробья. Ефим несколько раз предлагает и мне выпить. Но я чиркаю себя ребром ладони по горлу, морщусь и кручу головой.

— Хлипкий народ пошел, — доносится сипловатый бас сторожиha. Она вытягивает водку из стаканчика и хрустит бело-зеленым стеблем лука.

Я рад, что отделался от нее. Массивный памятник в виде чугунной тумбы с крестом отвлекает меня от текущих забот. Глубоко вдавлена в металл надпись через «ерь»: «Фельдшеру Гудкову Петру Ивановичу благодарение от друзей и многих исцеленных. Родился в 1836 году, умер в 1915 году. Покойся в мире, незабвенный друг».

Ощупываю пальцами вензеля на чугунных гранях. Солнечные блики косой струей пересекают памятник. Куст ольхи шевелится рядом, и солнечная струя течет, течет... «Отлит в Иркутске на заводе Сибирякова» — мелкая полустертая насечка. Перевожу взгляд вниз, в долину, где отчаянно стучат моторами катера. Легче было покойника сплавить по реке в Иркутск, чем завозить сюда этот громоздкий памятник.

— Целебный памятник этот, — раздается сзади



знакомый голос. — Сама-то я не проверяла: бог милостив — ни одна зараза не пристает. — И она рассмеялась добродушным смешком: — Го-го-го...

Интересно, чем мог лечить тогда фельдшер? Лечил ли хоть цингу? Наверно, лечил: не поставили бы такой памятник, что обошелся чуть дешевле золота. А чем исцелял? Тогда еще ни витаминов не было, ни антибиотиков... Разве тайга... С ее травами, ягодой, хвоей, корнями. Конечно, в союзе с тайгой лечил фельдшер Гудков Петр Иванович.

Рябенский крапивник садится на ветку ольхи и скачет на пружинистых ножках. Перескакивает на карликовую березу с мелким глянцеви́тым листом и спрыгивает на узкую цементную плиту с барельефом распятия и надписью, похожей на латинскую. Иду дальше и чуть не сваливаюсь в яму, заботливо прикрытую пихтовыми ветками.

— Готовая! — восклицаю я, заглядывая в темный зев, откуда несет холодом вечной мерзлоты. — Наши откопали?..

— Нет, — вздохнув, отвечает сторожиha, — это я трудилась для старика своего. — Она вновь надвигает на глаза козырек косынки.

— Умер?

— Два года мучается — помереть не может. — Она подпирает щеку ладонью. — Старый осколок, с гражданской еще, к сердцу подошел...

— И вы... — Язык мой заплетается, я яростно размахиваю руками. — И вы живому могилу вырыли?!

Она спокойно укладывает руки на бюсте.

— Сразу в мерзлоту положу, — с гордостью говорит сторожиha. — Заслужил он: от Буденного саблю имеет... Будет себе лежать целехонький до второго пришествия. Прикажет ему господь после трубного гласа: «Поднимись!» — и поднимется, как после буденновской команды... — Она прищуривает глаз-голубицу и грозит узловатым пальцем городу: — Я знаю, кого в мерзлоту положить, а кого — на угрев...

«Сумасшедшая», — думаю я, но с упоительным любопытством поворачиваюсь на каблуках. Здесь все перемешано: возле древней могилы — свежая, рядом с католическим крестом — тонкий серп полумесяца со звездочкой на металлическом штыре, покосившийся старательный крест из листвяка, мраморная плита с желтой шестилучевой звездой, стальная балка с позванивающим колечком, а это абориген — на жесткой траве холмика разбросаны монеты, хвосты беличьих шкурок, сверточки березовой коры, осколки стекла и раздутые гильзы охотничьих патронов...

— И они все в мерзлоте? — спрашиваю я, окидываю рукой эти могилки с разнородными памятниками и просто безвестные холмики.

Сторожиха кивает.

— А вы, может, помните, Пелагея... э-э-э...

— Абросимовна, — подсказывает она.

— Вы, может, помните, Пелагея Абросимовна, геолог у нас утонул, в прошлом году... Схоронили его тут без нас... Захаров Дмитрий...

— Экспедищикам отвожу мерзлоту. — Губы ее выгибаются коромыслом. — А вы старуху уважить не хотите — двадцатку заработать не даете...

— Понимаете, Пелагея Абросимовна, — уже виновато бормочу я, — маленький я человек... Замначальника экспедиции так распорядился... Дал рабочих, а где они?

— А-а-а, — рычит сторожиха, и шея ее напрягается, как у борца, — этому борову место припасено у меня... Сколько тут людей полегло, а этот выжил. Говорят, при немцах полицай был самый настоящий, душегуб, и — на тебе! — заместитель по хозяйству. И обнаглел до невероятия... Насчет детской площадки решали мы тут весной. Место-то рядом с его доминой пустовало. Так он что сказал: «А где мои куры пастись будут?..» Ну, я его на самый угрев уложу, даст бог.

— Володя наш без троп ходил, напрямую, — замечаю я. — Продукты нам вовремя подвозил, без спальников мы редко оставались.

— Знаю я их, Урагановых-то. — Она задумчиво ковыряет носком сапога прошлогоднюю прель. — Семейка на сто оленей, гром по тайге идет, когда перекочевывают... Своих ребятишек куча да двух русских у друга своего Савостина взял и воспитывает. Жена у того померла, оставила пятерых мал мала меньше. Они двух и взяли. — Она пригибается над кустом и достает штыковую лопату. — Ладно, уж за десятку выбью для него и в мерзлоте.

Сторожиха очерчивает прямоугольник между литовским надгробием и серым старательским крестом. Всаживает лопату по самый завиток, выворачивает черный пласт земли. Я сажусь на теплый цемент надгробия, смотрю, как мелькает лопата. В ноздри мне вливается, перебивая «Белую сирень», запах сырого чернозема, обрезанных корешков, прошлогодних листьев и женского пота.

— Знаете, Пелагея Абросимовна, — векакиваю я с плиты, — закрою-ка я вам наряд рублей на тридцать... Как за шурф, понимаете? Больше не могу, а тридцать выпишу.

Она разгибается и смахивает бугорчатым, жилистым тылом ладони пот со своих светлых усов.

— Вот это другой разговор.

— Передохните. — Я вырываю у нее черень, сбрасываю «энцефалитку» и врезаю лопату в желтую супесь. Грунт берется легко. Слушаю сторожику под мерные взмахи лопаты.

— Не внучата бы, обошлась и без приработка. — Кисти рук ее с набрякшими ветками вен свисают с раздвинутых коленок. — А куда денешь их, коли

мать с отцом прямо заморили детишек. Мастером горным сынок-то, невестка в конторе сидит. В кухне у них холодильник поуркивает, а детишки белеманной каши, чуть что не по ним — в пол ногами: «Топ-топ-топ, гук-гук-гук...» Ну, забрала к себе, козьим молоком отпоила, рассказами ублажила... Сейчас сам видел — как пузыри!

Я киваю и наваливаюсь на лопату. Раздается скрежет железа о мерзлоту. Я вошел в землю до пояса, но дальше копать бесполезно. Я-то знаю, что такое мерзлота. Меня уже охватило холодом. Тут лопатой ничего не сделаешь.

— Мерзлота к себе так просто не пускает. — Взгляд Пелагеи Абросимовны невидящ: он устремлен под ноги, в землю, словно глаза видят там, под



землей, что-то. — На пожар ее беру. Дрова пилить придется.

Мой взгляд тоже устремляется в землю. Он расплывается на солнечной струе чуждого памятника. И я вижу лежащих в вечной мерзлоте. Нет, не просто лежащих — плывущих в океане времени. А нет ли берегов у этого океана? И не предчувствие ли этих обетованных материков влекло еще фараонов: «О мать Нейт, распрости надо мной свои крылья, извечные звезды».

— Да, пора раскладывать пожар, — говорю я, высканивая из ямы, поднимаю «энцефалитку» и стряхиваю ее. Из кармана выпадает флакон с духами. Беру его, отираю от песчинок, налипших к стеклу, и протягиваю сторожихе.

— Возьмите, Пелагея Абросимовна.

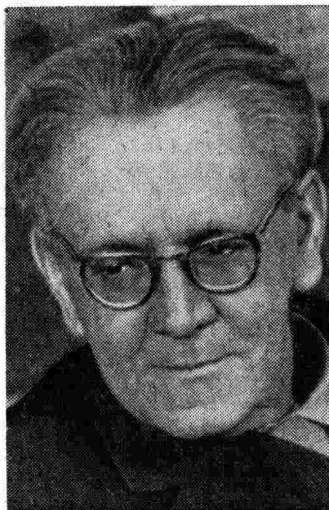
Женщина будто от сна отрывается. Она благоговейно ставит флакон на ладонь, отвинчивает крышку и втягивает духи затрепетавшими ноздрями.

— В доме поставлю. — Она прижимает флакон к груди. — Пусть старичку весной будет пахнуть.

— Пойду насчет остального для Володи. — Я разглядываю рубчатый след своей подошвы.

— Ну, дай тебе бог здоровья. — И, улыбаясь, сторожиха выставляет на солнце белые, словно кусочки разбитой тарелки, зубы.

Самуил Маршак



☆

Запахло чугунной печкой
И углем железнодорожным...
Далекое стало возможным:
Высокий мост над речкой
Проходит, гремя, перед нами,
Мелькает в оконной раме
Вокзал меж осенних кленов
И степь — за цепью вагонов.
Простор, покой и прохлада.
А сердце беспечно и радо,
В нем нет ни страстей, ни тревоги.
Оно на свободе, в дороге.

☆

Уже недолго ждать весны,
Но в этот полдень ясный,
Хоть дни зимы и сочтены,
Она еще прекрасна.
Еще пленяет нас зима
Своей широкой гладью,
Как бы раскрытой для письма
Нетронутой тетрадью.
И пусть кругом белым-бело,
Но сквозь мороз жестокий
Лучи, несущие тепло,
Ласкают наши щеки.

☆

Вся жизнь твоя пошла обратным ходом,
И я бегу по стершимся следам,
Туннелями под очень темным сводом
Ко всем тебя возившим поездам.
И, пробежав последнюю дорогу,
Где с двух сторон летят пески степей,
Я неизменно прихожу к порогу
Отныне вечной комнаты твоей.
Здесь ты лежишь в своей одежде новой,
Как в тот печальный вечер именин,
В свою дорогу дальнюю готовый,
Прекрасный юноша, мой младший сын.
1946.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

После дождя

По скользкому асфальту проходя,
По площадям, блестящим от дождя,
Где, отражаясь, как в ночном стекле,
Бегут огни, — я думал о земле.

Земля под этой ровной мостовой
Не прорастет весеннею травой.
Пусть эта площадь глаже хрустала,
Там, под асфальтом, — черная земля.

☆

Кто морю возвратил тепло и свет?
Зазеленело море, засинело.
А вот сверкнули крылья чайки белой:
— Не нужен ли в придачу белый цвет!

Уступы гор снежок разрисовал.
Стоит зима на голых склонах скал.
Оттуда молодежь скользит на лыжах.
Еще пылает осень в рощах рыжих.
Сквозь них ручей несется, как весной,
А там — внизу, у моря — летний зной.

Уходит в небеса морской простор...
Всю силу зренья исчерпал мой взор,
Ничто ему в дороге не мешало,
И видит он, что видит очень мало.

Песня о самом себе

Шел я сам по себе,
Говорил я себе,
Говорил я себе самому:
Сам смотри за собой,
Сам ходи за собой,
Не нужны мы с тобой никому!

Отвечал я себе,
И сказал я себе,
И сказал я себе самому:
Ой, ходи за собой,
Не ходи за собой,
А придешь все равно к одному!

Тут прервал я себя:
Постыдись-ка себя,
Пожалей ты себя самого.
Кто следит за собой
Да глядит за собой,
Проживет, не боясь ничего.

Выходя из себя,
Обругал я себя
И сказал самому себе так:
Сам следи за собой
Да гляди за собой...
Ишь, учить меня вздумал — дурак!

☆

Я знаю, что огромное число
Людей и мне и всем необходимо,
Чтобы вокруг рождалось и цвело
И хлопотливо проходило мимо.

Как омывает море в тот же час
И берег Севера и берег Юга,
Так, если много, много, много нас,
Весь мир мы видим в сердце друг у друга.



**СЛОВО
ВETERANAM
РЕВОЛЮЦИИ**

А. И. Микоян

О днях Бакинской коммуны

(Из
воспоминаний)



II

Летом 1918 года над Бакинской коммуной нависла серьезная военная угроза. Немецко-турецкое командование начало поход в Закавказье, чтобы захватить Баку — кладовую нефти.

Следует напомнить, что в ту пору в Закавказье Советская власть существовала лишь в Баку, его пригородах и в нескольких уездах Бакинской губернии. В остальном Закавказье господствовала власть контрреволюционного Закавказского комиссариата, возглавляемого грузинскими меньшевиками, азербай-

джанскими мусаватистами и армянскими дашнаками.

Смертельно боясь нарастающего революционного подъема в Закавказье, этот комиссариат шел на крайние меры, проводя политику жестокого террора против рабочих и крестьян. Однако вскоре, поняв, что предательская политика комиссариата вызывает возмущение народных масс, стоящие за его спиной партии решили прибегнуть к новой хитрости, еще раз обмануть трудящихся. В феврале 1918 года они создали «широкопредставительный» Закавказский сейм, который, однако, по-прежнему состоял из меньшевиков, мусаватистов, дашнаков, эсеров и кадетов. Сейм создал свое правительство во главе с меньшевиком Чхеидзе и объявил независимой Закавказскую республику, тем самым юридически оформив ее отделение от Российской советской республики (хотя фактически уже Закавказский комиссариат не признавал центральной власти Совет-

Продолжение. Начало см. в журнале «Юность» № 11 за 1967 г.

Вверху: Баку сегодня. Фото Л. Бородулина.

ской России, выжидая провала большевиков и прихода к власти эсеро-меньшевистского правительства).

Большевики Закавказья развернули широкую кампанию против сейма, разоблачая истинные намерения его организаторов и вдохновителей. Надо сказать, что вообще в тот период коммунистические организации Закавказья значительно выросли и организационно окрепли. Это немало способствовало революционному подъему народных масс.

Вскоре Закавказский сейм открыто вступил в переговоры и сговор с Германией и Турцией. Было объявлено об образовании Грузинской республики во главе с лидером грузинских меньшевиков Жордания. Грузинская республика была формально признана Германией, которая тем самым нарушила свои обязательства по Брестскому миру. Правительство Грузии дало разрешение на ввод немецких войск на территорию республики и их проход в Баку. Вскоре то же сделали азербайджанские и армянские помещики и капиталисты, объявившие об образовании своих государств.

Следует отметить, что до тех пор в своих программах не требовали выхода из России не только социалистические, но и все буржуазные закавказские партии за исключением небольшой реакционной пантюркистской группы в Азербайджане и Дагестане, которая упорно добивалась присоединения к Турции. Грузинская партия федералистов и армянская партия дашнаков требовали федеративного положения в составе России. Большевики вместе с большевиками до Февральской революции были против этих идей, высказываясь за единство республиканской России — за областные самоуправления. Это предусматривалось и в программе РСДРП.

Еще в начале октября 1917 года на первом Кавказском краевом съезде большевиков среди других обсуждался национальный вопрос. Докладчик — Малакия Торошелидзе — отстаивал старую позицию областного самоуправления, не предлагая ничего нового в национальной политике партии.

Шаумян прибыл только к концу съезда. Он выдвинул новое предложение: разделить Закавказье на три территориальных национальных автономных объединения с учетом национального состава населения этих территорий. К сожалению, съезд не понял новых требований изменившейся политической обстановки и отклонил тогда предложение Шаумяна. Я был делегатом этого съезда и тоже (хотя и считал себя человеком, понимающим национальную политику нашей партии) оказался среди тех, кто не понял и не поддержал предложение Шаумяна. Это было нашей политической ошибкой.

В ту пору соотношение сил между меньшевиками и большевиками в целом по Закавказью складывалось в пользу меньшевиков. Принятие предложения Шаумяна по национальному вопросу положительно повлияло бы на дальнейший ход событий во всем Закавказье, особенно в Азербайджане. С выдвинутым им лозунгом нам, большевикам, было бы много легче привлечь на свою сторону крестьянство Азербайджана, вырвать его из-под влияния мусавистов.

Помнится, помимо чисто доктринерского отношения к этому вопросу, сыграл свою роль и еще один аргумент: предложение Шаумяна, дескать, мало чем отличается от меньшевистского плана Жордания, поэтому оно может быть неправильно понято в массах как сдача наших большевистских позиций в национальном вопросе, как признание, что в этом вопросе мы пошли за меньшевиками. А это мы считали несовместимым с нашей партийной гордостью.

Эту свою ошибку закавказские коммунисты долго

потом не признавали. В Баку мы поняли и признали ее в 1919 году, выдвинув правильный лозунг борьбы за самостоятельное национальное государство — за Советский Азербайджан, тесно связанный с Советской Россией.

В свою очередь, нам очень долго пришлось убеждать руководящих тбилисских товарищей — большевиков встать на такую же позицию. Мы пошли тогда с ними на компромисс: они не выступают против нашего лозунга Советского Азербайджана, а мы не поднимаем вопроса о советских республиках в Грузии и Армении. После победы Советской власти в Азербайджане, в апреле 1920 года, старая позиция тбилисских товарищей стала уже просто невозможной. К тому же еще в конце 1919 года ЦК РКП(б) принял обязательное для всего Закавказья решение по этим вопросам в духе предложений коммунистов Азербайджана.



Правящие круги султанской Турции всячески добивались включения Азербайджана в состав своего государства. Выступившие вскоре турецкие войска шли на Баку; им всячески помогали азербайджанские помещики, правительство которых находилось в Елизаветполе и держало в своем подчинении те районы Азербайджана, где не было Советской власти.

Фактически началась вооруженная интервенция Закавказья силами германо-турецких империалистов в союзе с внутренней контрреволюцией. В то время положение Советской власти в Центральной России было также крайне тяжелым. Помощь из России к нам шла, но, конечно, не в тех масштабах, какие были нам нужны в столь критический момент.

Приближалось решающее сражение. Где встретить врага? Ждать ли его под стенами Баку и тут дать ему бой? Или, не дожидаясь его приближения, самим перейти в наступление, достичь Елизаветполя и там разбить противника? Было принято второе решение как наиболее правильное.



Когда в начале июня 1918 года было принято решение о наступлении Красной Армии, мне разрешили уехать на фронт. Я был назначен комиссаром 3-й бригады, командовал которой известный дашнак Амазасп. Место моего назначения — правый фланг фронта, севернее железнодорожной магистрали Баку—Елизаветполь, в направлении Шемахинского и Геокчайского уездов.

Положение мое было не из легких. Мне, не имевшему достаточного военного опыта, предстояло знакомиться с командными кадрами и солдатами в ходе самого наступления. Нужно было завоевать доверие своих подчиненных, организовать среди них воспитательную политическую работу. Положение осложнялось и тем, что имели место эксцессы отдельных дашнаков по отношению к местным жителям-азербайджанцам. Кроме того, я должен был участвовать как в принятии решений о проведении военных операций, так и в их непосредственном осуществлении.

В течение первого месяца мы продвинулись довольно далеко вперед. Дела наши шли неплохо, хотя и трудностей было много. Мусависты, например, всячески старались, отступая, уводить с собой местное крестьянское население. А между тем пошла пора убирать созревшие хлеба. Мы проводили мобилизацию местного населения для

уборки хлеба, но рабочих рук все-таки не хватало. Задерживаться же воинским частям было нельзя: они должны двигаться вперед. Помню, я послал тогда телеграмму Джапаридзе о создавшемся положении и просил его срочно организовать помощь этим районам людьми и техникой из Баку. Кое-что в этом направлении было сделано.

Время было горячее. Недели через две после начала нашего наступления на станцию Аджикабул, где был штаб, приехал Шаумян. Он провел широкое военное совещание. Я должен был присутствовать на этом совещании как комиссар бригады и очень хотел этого, но не смог поехать: понадобилась бы отлучка на день-два, а события развивались так быстро и стремительно, что мой отъезд из бригады даже на один день был невозможен. Так я не попал на это совещание и очень об этом жалел.

Успешно наступая, мы вскоре подошли к уездному центру Геокчай. В это время турки ввели в бой свежие части и ударили во фланг наших войск. Чтобы не допустить окружения своих передовых частей, мы должны были вывести их из города. Началось отступление с боями.

Участие в этих боях было для меня хорошей военной школой. До этого у меня не было никаких столкновений ни с командиром бригады, ни с начальником штаба. В частях меня узнавали и, судя по всему, признавали. Влияла не столько моя политическая работа — выступления перед солдатами, беседы с ними и т. д., — но, пожалуй, больше всего солдатам пришлось по душе то, что в отличие от командира бригады Амазаспа я долго не засиживался в штабе, а большую часть времени проводил среди солдат — то в одном, то в другом батальоне. Во время боев я тоже старался быть с ними в окопах.

С начала отступления я шел с арьергардом, в последних рядах отступающих войск, чтобы не допустить среди солдат паники, вселить в них бодрость и уверенность. Мы отступили, перешли через перевал и закрепились на другой стороне. Вершина горы была в руках турок. Позиция их по сравнению с нашей была более выгодной. К тому же у нас не было резервов.

Командующий отрядом (к этому времени на Шемахинском направлении сформировался отряд в составе нашей бригады и других соседних воинских частей под командованием бывшего полковника царской армии Казарова) и командир моей бригады Амазасп все время говорили об опасности, что турки при поддержке кавалерии могут ударить по левому флангу наших позиций, прорвать его, отрезать от тыла и разгромить. Мы ждали подкрепления. Часть прибывшего из России отряда Петрова ожидалась через день-два в Шемахе.

Заняла позицию на фронте и дружина из нескольких сот молокан — русских крестьян Шемахинского уезда. Это была подмога. Но все-таки достаточного резерва, который можно было бы бросить в прорыв, у нас не было. Мы могли располагать лишь кавалерийской сотней, да и то неполной.

В такой трудной обстановке, когда мы находились в штабной палатке, командир бригады стал жаловаться, что он якобы заболел — сильно болит живот, он не в силах больше оставаться здесь. Он взял коня, телохранителей и уехал. Я не мог возражать против его отъезда: человек заявил, что он болен. Все же мне показалось странным, как это можно покинуть свой пост в такой напряженный момент. Только через несколько дней я догадался, что болезнь Амазаспа была выдумкой.

На следующий день утром турки усилили огонь.

В штаб стали поступать донесения из батальонов о напряженности положения, просьбы дать подкрепление. Некоторые докладывали, что без подкреплений они не смогут удерживать занимаемых позиций. Однако ничего реального, кроме совета, мы дать им не могли. Возникла угроза, что та или другая часть может сняться с позиций и убежать, а это привело бы к катастрофическим последствиям для всего отряда.

Командующий отрядом говорил, что единственный выход — отступить организованно до Шемахи, а затем до Маразы; но это нужно сделать только ночью, потому что отступать днем по открытому месту — значило дать возможность туркам разгромить все части.

Вдруг, еще до обеда, Казаров заявил мне, что он тоже плохо себя чувствует, у него болит живот и он должен уехать в госпиталь в Шемаху. Это меня возмутило: вчера заболел командир бригады, а сегодня — командующий отрядом! Надо сказать, что командующий отрядом был опытным военным командиром и его присутствие в части было крайне необходимо, тем более в такой напряженный момент. Но он очень настойчиво твердил, что заболел тяжело. Я ничего не мог с ним поделать. Он уехал. Войска остались без командования. Старшим здесь оказался я — комиссар, почти не имеющий опыта военной работы.

Я понимал, что в создавшихся условиях моя главная задача состоит в том, чтобы выстоять до темноты, а ночью организованно отойти к холмам перед Шемахой.

Соединившись по полемому телефону с командирами батальонов, я проинформировал их о положении дел, дал строгие указания во что бы то ни стало удерживать позиции и, когда ночью будет дан сигнал, организованно отойти на намеченные рубежи. Командиры обещали мне все это выполнить, хотя и сетовали на трудности.

Я пошел проверить положение на батарее. Снарядов там оставалось мало — десятка полтора. Но командир батареи и весь расчет оказались спокойными, опытными военными: они берегли орудия и снаряды до решающей схватки.

Вернувшись в штабную палатку, чтобы выяснить, не было ли каких новых сообщений, я узнал от командира батальона, что молоканская дружина хочет разойтись по домам. Образовывался прорыв фронта, и нам нечем было его прикрыть. Я сразу же отправился на позиции, занятые молоканами. Они находились рядом с нашей бригадой. Добровольная дружина молокан состояла, как я уже говорил, из русских поселенцев этого района. Их села были в непосредственной близости от передовых позиций. До этого дня молокане вели себя твердо, никаких колебаний у них не было.

Придя в расположение молокан, я выяснил, что их волнует, чем они недовольны. Они мне сказали: «Мы отступали до этого места, где сейчас стоим и где находятся наши родные села. Но если придется отступать еще дальше, наши села попадут в руки турок». Они не верили в то, что нам удастся удерживать занятые позиции, и потому собрались разойтись по домам. Я стал их увещевать, они же продолжали настаивать на своем: «Мы, крестьяне, добровольно пришли вам на помощь, но сейчас создались такие условия, когда мы не можем бросить свои семьи на произвол судьбы». В результате долгих переговоров мне все же удалось уговорить их держать занятые позиции до тех пор, пока их удерживает наша бригада; если же нам придется отступить, то и они, не допуская прорыва, могут отойти в орга-

низованном порядке, а потом разойтись по домам. На том и порешили.

Вернувшись в штаб, я застал там Сафарова — командира конной сотни партизанского отряда Татевоса Амирова. До этого я с ним уже встречался несколько раз, и он производил на меня весьма приятное впечатление. Это был человек волевой, прямой, хорошо относящийся к Советской власти. Он и его начальник Амиров особенно хорошо относились к Шаумяну. (Об Амирове, который впоследствии погиб в числе 26 бакинских комиссаров, о его своеобразной и противоречивой личности я расскажу дальше несколько подробнее.)

В это время к нам поступило сообщение, что турецкие войска начали какие-то подозрительные передвижения на левом фланге. Конная сотня Сафарова стояла в запасе в овраге. Мы с ним договорились: он выведет свою сотню из оврага, чтобы дезориентировать противника, и инсценирует передвижение нашей конницы. Ему это успешно удалось: он двинул сотню по склону горы, как бы в обход турецких позиций. Все это происходило во второй половине дня. Я был уверен, что до ночи нам удастся удержаться на своих позициях. Однако положение было весьма неустойчивым и усугублялось еще тем, что командиры батальонов, позвонив в штаб, узнали, что ни командира бригады, ни командующего отрядом на месте нет. Это, естественно, их смущало.

Я направился к батальону, занимавшему нашу центральную позицию. Он имел две цепи окопов. Побеседовав с солдатами, я не заметил у них особой тревоги. Затем я поговорил с командиром батальона. Тот находился в несколько минорном настроении, хотя внешне был спокоен. Однако никакой собственной инициативы он не проявлял.

Мы находились во второй линии окопов; бой шел на первой линии, до которой было около трехсот метров. Путь к ней шел через овраг. Часть этого пути простреливалась противником, а сам овраг был в относительной безопасности. Я спросил командира батальона, был ли он сегодня на передовой. Отвечает: «Нет, сегодня не был, но был там вчера ночью». Я предложил: «Пойдемте сейчас вместе, побеседуем с бойцами и выясним обстановку». Отвечает: «Туда идти опасно, турки все время обстреливают». На это я ему ответил: «На фронте всегда опасно, давайте пойдем вместе». Он сказал: «Пока не стемнеет, на передовую позицию я не пойду». Такой ответ был для меня полной неожиданностью. Его трусость меня не только возмутила, но и вызвала какое-то чувство брезгливости к нему. Однако я сдержался и лишь резко сказал, что раз так, я пойду один. И стал спускаться в овраг.

Только я сделал несколько десятков шагов, как с разных сторон засвистели пули. Я упал на землю, как бы убитый. Свист пуль некоторое время продолжался. Инстинктивно я стал потихоньку придвигать к себе близлежащие камни, чтобы спрятать за ними голову, не то можно было погибнуть даже и от шальной пули. Потом, немного отдохнув, я воспользовался затишьем, вскочил и быстро побежал вперед. Пули засвистели снова. Я опять упал на землю. В это время я подумал, что вообще, выскочив в овраг, я сделал глупость, проявил горячность: ведь меня могли легко убить или ранить. И все это в такой момент, когда нет ни командира бригады, ни командующего отрядом. Тут я еще больше разозлился на командира батальона, но уже не столько за то, что тот не захотел идти со мной, сколько за то, что он не отговорил меня. Когда мы с ним спорили, мне показалось, что в нем говори-

ла не столько осторожность, сколько трусость. Именно это меня тогда и возмутило.

Турки, видимо, решили, что я убит, и перестали стрелять. До безопасной зоны оставалось не более двух десятков шагов. Я вновь рванулся вперед и ввалился в овраг. Чувство какого-то облегчения овладело мной. Я стал спокойно подниматься по склону горы к передовым окопам. Находившиеся там солдаты оборачивались, удивляясь, откуда я взялся.

Выяснилось, что настроение у солдат хорошее, патроны и хлеб есть, жалоб особых нет. Солдаты спрашивали меня об общем положении на фронте. Я ответил: «Положение, сами знаете, неважное». Затем похвалил их, сказал, что надо и впредь так держаться, что отступить назад без приказа нельзя ни на шаг. Так я обошел всю цепь. Поговорил с командирами двух рот. Им я прямо сказал, что ночью мы, очевидно, начнем отступление и что их роты будут отступать последними, прикрывая наш отход.

Командиры рот произвели на меня очень хорошее впечатление, им можно было верить. Мое появление у них, судя по всему, тоже произвело хорошее впечатление и на солдат и на их командиров. Но они по-товарищески журили меня за то, что я подверг себя такой опасности и к тому же неправильно выбрал путь. Оказывается, надо было идти через овраг чуть дальше: там простреливалось значительно меньшее расстояние. Один из красноармейцев, который хорошо знал именно этот, менее опасный путь, проводил меня. Отпуская меня, командир роты сказал, что, когда я достигну опасной зоны, они откроют сильный ружейный огонь и тем отвлекут от меня внимание турок. Так все и произошло.

Одним словом, я благополучно вернулся назад. В штабе узнал, что за время моего отсутствия все было спокойно. Войска продолжали удерживать позиции.

С наступлением темноты наши части стали сниматься и организованно отходить в сторону города Шемахи. Турки не заметили нашего отступления и не преследовали нас. Наши части расположились на холмах перед городом.

В Шемахе я застал командующего нашим отрядом. По его виду никак нельзя было сказать, что он серьезно болел. Стал его спрашивать, что же мы будем делать дальше. Казаров сказал, что нужны день-два на то, чтобы привести наши войска в порядок и что боя туркам под Шемахой давать нельзя. Нужно отойти в район села Маразы — это один переход от Шемахи в сторону Баку. На все мои возражения он заявлял: войска устали, а к туркам подошло свежее подкрепление, и если здесь дать бой, то мы его можем проиграть и понести большие потери, что будет хуже для обороны Баку. И позиции для боя не очень для нас выгодны. Если же мы организованно отступим до села Маразы, то сможем там закрепиться, тем более что там мы будем обеспечены снабжением, а турки, оторвавшись от своих обозов, попадут в более трудное положение. К тому же, говорил он, на нашем левом фланге части Красной Армии отступают.

Я оказался не в состоянии доказать ему обратное, так как и сам еще не был окончательно уверен в своей правоте. К тому же Казаров был действительно очень опытный военный. Я не знал еще тогда, что он уже давно за моей спиной договорился обо всем с Амазаспом. Но тогда подозревать их в предательстве у меня не было оснований.

На следующее утро я проверил, как идет эвакуация раненых. Их всех удалось вывезти. Успели также погрузить на конный транспорт и отправить имевшийся у нас небольшой запас боеприпасов.



В середине дня вдруг подбегает ко мне командир одной роты и докладывает, что его солдаты без разрешения снялись с позиции и уходят по соседней улице в сторону Баку. Мы с ним побежали на ту улицу. Увидя толпу солдат, действительно идущих в направлении Баку, я выхватил револьвер и закричал: «Стой, стрелять буду!» Уверенности в благополучном исходе своего шага у меня не было. Я понимал: «Их много, они вооружены, а я один с их командиром, к тому же угрожаю револьвером; что им стоит убить нас?» Однако я еще раз крикнул. Солдаты остановились. Я приказал им немедленно вернуться обратно. Они послушались и вернулись. Однако минут через пятнадцать мне сообщили, что те же солдаты вновь бегут, но уже по другой улице.

Как раз в этот момент в Шемаху прибыла часть отряда Петрова. В моем распоряжении оказалась надежная группа матросов, к тому же на грузовике и с пулеметом. Вместе с ними я бросился за убегающими красноармейцами. Догнали, направили на них пулемет. Наконец-то их удалось остановить, а затем и вернуть на место.

Когда стемнело, мы подняли пехоту, оставив конницу в арьергарде, на подступах к Шемахе. Командный состав на конях двигался с пехотой. Через 5—10 километров начался проливной дождь, который шел долго; все промокли до костей, грязь была по колено.

Всю ночь до рассвета мы шли по раскисшему чернозему с боевым снаряжением. Коням было трудно передвигаться по грязи.

Солдаты безумно устали от бессонной ночи.

Мы верхом ехали шагом, не отрываясь от пехоты. Рядом со мной ехал командующий отрядом. Мне не хотелось с ним говорить, поэтому мы молчали, каждый погруженный в свои думы. Меня тревожила тогда обстановка на других участках фронта. Думал я и о том, какие указания мы получим из Баку

по прибытии в Маразы. Тут я впервые стал серьезно думать о странной позиции командующего отрядом и «заболевшего» командира бригады. У меня мелькнула мысль: а нет ли у них какого сговора — уж очень «дружно» они «заболели», и как-то подозрительно схожи были их рассуждения.

Внешне и тот и другой были очень вежливы. Но... В общем, в голову закрадывались подозрения. Я понимал, что одному мне с ними не справиться: не хватит ни сил, ни знаний. Я решил, что по прибытии в Маразы потребую, чтобы Шеболдаев или кто-нибудь другой приехал к нам из Баку, помог разобраться и правильно организовать оборону.

Совершенно промокнувший, уставший, в эту ночь я впервые в жизни, сидя верхом на коне... спал. Засыпая, я вдруг чувствовал, что падаю. Сразу просыпался. И так много раз. До этого я никак не мог себе представить, как это можно спать верхом. Оказывается, человеческий организм способен и на это.

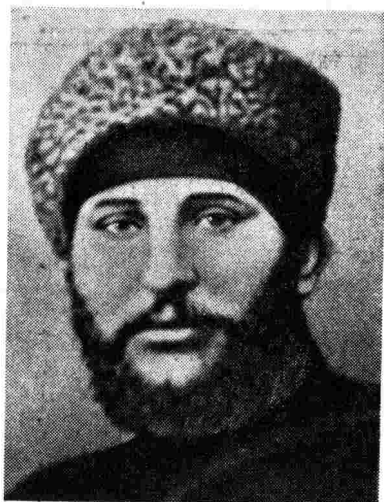
В Маразах мы собрали весь командный состав и приказали привести части в боевой порядок, занять позиции, выставить охрану и послать конную разведку в сторону Шемахи.

Старший командир из отряда Петрова доложил мне, что ночью при отступлении застрел в грязи их броневомобиль — единственный на нашем участке фронта. Чтобы его вытащить, мы направили туда конницу. Броневик был на ходу.

К этому времени конная разведка донесла, что турки вступили в Шемаху, но дальше не продвигаются. Стало ясно, что мы оторвались от противника на большое расстояние. Видимо, турки приводили в порядок свои войска.

Я сообщил в Баку о положении дел, просил принять меры к обеспечению снабжения войск, а также прислать Шеболдаева для помощи в составлении плана нашей обороны.

В Маразах я остановился отдельно от командующе-



Григорий
Константинович
ПЕТРОВ
(1892—1918)

го отрядом, в крестьянской избе. Поскольку из Баку мне обещали, что Шеболдаев придет, я спокойно лег спать.

Встаю на другой день и вижу: все войска выстроены. Впереди на конях — командующий отрядом и неожиданно появившийся командир нашей бригады. Оказывается, уже дана команда — двигаться в сторону Баку, прибыть в район Водокачки, что находится в нескольких километрах от станции Сумгаит.

Я был поражен: как это без меня, комиссара, было принято такое решение? Чем оно вызвано? Ведь турок не видно, зачем же так поспешно отступать? С этими вопросами я обратился к Амазаспу.

Он ответил: «Командую бригадой я и сам отвечаю за свои действия». И двинул коня вперед. Я остановился, ошеломленный всем происшедшим.

Вскоре я встретил командира конной сотни Сафарова и предложил ему вместе с его сотней остаться в моем распоряжении. Он охотно согласился. Мы направились с ним на телеграф, чтобы немедленно сообщить о происшедшем в Баку.

По пути я спросил Сафарова, как он думает, оправдано ли такое отступление. Противника не видно, продовольствие не поступило. Отряд ушел без продовольствия и без воды, а путь от Маразов до Водокачки безводный. Сафаров согласился, что столь поспешный отход отряда ничем не оправдан. Тут я вспомнил и сопоставил все поступки и рассуждения командующего отрядом и командира бригады за последние дни. Получалась какая-то сложная цепь заранее продуманных действий. «Предательство!» Придя к такому выводу, я направил телеграмму в Баку в адрес Шаумяна: «Вопреки моим усилиям, по приказу Амазаспа отошел обоз, а за ним постепенно двинулась пехота. Виновики должны быть преданы суду. Комиссар третьей бригады А. МИКОЯН».

Отправив телеграмму, я поручил Сафарову послать конную разведку в сторону Шемахи, чтобы получить свежие данные о нахождении головной колонны турецких войск. Сами мы остались в Маразах.

Во второй половине дня разведчики вернулись и сообщили, что турки находятся еще в Шемахе и никакого продвижения их войск в нашу сторону не происходит. Получив такое донесение, мы с сотней Сафарова спокойно отошли к Водокачке.

Переночевав в расположении отряда Петрова (который уже стоял в районе Водокачки) и не заходя ни к Казарову, ни к Амазаспу, я направился в расположение батальонов, чтобы побеседовать с солдатами, находившимися на отдыхе, выяснить моральное состояние частей и их боеспособность. Солдаты жаловались на большую усталость от многодневных боев и на трудности последнего отхода без продовольствия и воды. На мой вопрос, готовы ли они занять позиции, они ответили, что будут готовы, если им дадут хотя бы три дня, чтобы отдохнуть, помыться и выспаться. А пока просили отвести их в тыл, временно заменив свежими частями.

Это, конечно, было бы очень хорошо, но мы не знали, имелась ли такая возможность в Баку. Вместе с тем мы понимали: чтобы войти в соприкосновение с нашими войсками, туркам потребуется еще несколько дней. Это время и можно было бы использовать для отдыха.

Командирам батальонов были даны соответствующие указания. Они попросили только обеспечить их необходимым продовольствием. Я обещал выполнить их просьбу.

В то утро из Баку в мое распоряжение неожиданно поступила легковая машина. Она оказалась весьма кстати. Сразу я поехал на железнодорожную станцию Сумгаит, где имелась телеграфная связь с органами управления фронта. Получив гарантию, что продовольствие в нашу часть будет обязательно доставлено, я вернулся в расположение бригады.

Подъезжая к зданию водокачки, где был размещен штаб бригады, на расстоянии 100—150 метров от него я увидел около дороги несколько сотен отдыхающих на земле красноармейцев. Машина моя была открытая, я сидел на заднем сиденье. Вдруг вижу, как один из красноармейцев лениво поднялся с земли и, опираясь на винтовку, обратился к шоферу, требуя остановить машину. Почему он обратился с этим вопросом к шоферу, а не ко мне, комиссару? Шофер не подчинился, машина продолжала двигаться. Тогда я приказал шоферу остановить машину и, выйдя из нее, строго спросил красноармейца: «В чем дело, что случилось?» Подошло еще несколько бойцов. Первый красноармеец, смущаясь и волнуясь, спросил: «Правда ли, товарищ комиссар, что вы передали нашего командира Амазаспа военному суду?» Этот вопрос крайне удивил меня. Откуда они могли узнать о моей телеграмме Шаумяну? Сразу мелькнула мысль: против меня, видимо, что-то задумано Амазаспом, так как, помимо него, солдаты ничего не могли знать о телеграмме. Я ответил не сразу, а в свою очередь, задал встречный вопрос: «Вы видели турок, когда отступали от Маразов?» Отвечают: «Нет, не видели». Спрашиваю: «Зачем же тогда вы так поспешно отступали? Ведь у вас не было ни хлеба, ни воды». Отвечают: «Да, не было». «Тогда почему же, — продолжаю я, — не дожидаясь доставки продовольствия и воды, вы были переведены на новые позиции? Если военные обстоятельства требовали отхода, то и тогда надо бы подождать продовольствия. Турки находились далеко, прямой опасности столкновения с ними не было. Все эти вопросы и требуют разъяснения. Поэтому я и попросил военного суд разобраться, кто в этом виноват».

В это время на уже окружало много десятков красноармейцев. Началась обычная мирная беседа солдат со своим комиссаром.

Во время этого разговора я увидел, что метрах в 100—150 от нас стоит Амазасп в окружении нескольких своих приближенных, пристально смотрит в нашу сторону и видит: вместо намеченного само-

суда надо мной идет мирная беседа. Тогда, видимо, по его указанию, двое его телохранителей-кавалеристов побежали в нашу сторону, растолкали окружавших меня красноармейцев, и один из них размахнулся и ударил меня плетью по голове и шее. Я инстинктивно схватился за револьвер. Он тоже выхватил маузер. Тут красноармейцы разняли нас, сорвав эту попытку расправы надо мной. Я молчасел в машину и уехал. Всю дорогу я думал: как могло получиться, что Амазаспу стала известна моя телеграмма Шаумяну? Но так и не смог тогда найти ответа.

В Сумгаите первым делом я постарался достать номера газеты «Бакинский рабочий», чтобы узнать новости. И вдруг в номере за 22 июля вижу дословный текст своей телеграммы Шаумяну. «Как это могло произойти? — возмущенно думал я. — Амазасп не арестован, не предан суду, а телеграмма опубликована в газете! Кому и зачем это понадобилось? Кому от этого польза?»

Позже, в Баку, выяснилось, что моя телеграмма была передана в газету по неопытности секретарем Шаумяна, Ольгой Шатуновской, которая хотела обнародовать факт предательства дашнаков на фронте, чтобы подорвать их влияние на бакинских рабочих-армян.

Про себя я решил тогда же, что поеду в Баку, буду всячески добиваться ареста Амазаспа и без этого не вернусь на фронт. Но потом, в газете за 25 июля, я прочитал другое сообщение, которое взволновало меня еще больше. Оказывается, накануне во всех районах Баку состоялись массовые митинги по вопросу «приглашения» английских войск в Баку. Большевики выступали против такого «приглашения», а меньшевики, эсеры и дашнаки были за «приглашение» англичан. Рабочие же массы, измученные голодом, напуганные нашествием турок и, видимо, недостаточно еще понимая всю опасность вторжения англичан, предпочли английское зло немецко-турецкому и на митингах выступали за «приглашение» английских войск.

По существу, это было выражением их открытого недоверия политике большевиков. Я был поражен, что по такому важнейшему вопросу да еще в такое грозное военное время, когда английские войска захватили Мурманск и Архангельск, когда началась общая интервенция против Советской власти и было ясно, что «приглашение» английских войск в Баку означает фактическое открытие дверей для оккупации ими города, могут еще устраиваться столь опасные дискуссии на митингах! Вместо того, чтобы запретить всякую пропаганду вредной идеи «приглашения» английских войск в Баку и принять энергичные меры против английских агентов, проводятся такие дискуссии среди голодных рабочих, встревоженных к тому же опасностью турецкого нашествия. Непоправимая ошибка, думал я.

Правда, в газетах я увидел и другие сообщения — о собраниях рабочих и красноармейцев, где принимались большевистские резолюции, направленные против «приглашения» англичан, требующие мобилизации рабочих на фронт. Это был голос наиболее сознательной, передовой части бакинского пролетариата.

Не зная, что происходит и что будет предпринято в связи с создавшимся положением, очень взволнованный, я немедленно отправился в Баку.

Приехал я туда 25 июля. В этот день заседал Бакинский Совет, на котором присутствовали члены районных Советов, судовых комитетов и представители Красной Армии.

Яков
Давыдович
ЗЕВИН
(1888—1918)



☆

На заседание Совета я прибыл, когда оно уже подходило к концу. Был перерыв, после которого выступил Шаумян с заключительной речью. Как я узнал, Шаумян уже сделал доклад о политическом и военном положении и решительно осудил призывы меньшевиков, дашнаков и эсеров о «приглашении» в Баку англичан. Как чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, он сделал заявление от имени центральной Советской власти, сообщив, что V Всероссийский съезд Советов высказался за независимую политику Советской России — независимую от немцев и от англичан. Шаумян настоятельно требовал снять с обсуждения вопрос о «приглашении» английских войск. Он привел данные о помощи, оказанной нам Советской Россией, назвал цифры о количестве оружия, которое уже прибыло или находится по пути из Астрахани в Баку. Шаумян предлагал: в ожидании новой помощи из России мобилизовать и укрепить армию и флот, создав мощную оборону Баку.

Затем один за другим выступили представители правых партий с возражениями против предложения Шаумяна, со злобными нападениями на Бакинский Совнарком, на Красную Армию. Против правых со страстными речами выступили Азизбеков, Джапаридзе, Зевин и другие большевики.

В обстановке острой борьбы, несмотря на все усилия коммунистов, незначительным большинством (за резолюцию объединенного блока меньшевиков, дашнаков и эсеров было подано 258 голосов, а за резолюцию большевиков, левых эсеров и левых дашнаков, предложенную Шаумяном, — 236) одержала верх резолюция правых о «приглашении» английских войск в Баку и образовании нового коалиционного правительства с участием всех партий, представленных в Совете.

Такой поворот событий предрешил и переход группы моряков Каспийской военной флотилии — частью обманутых, частью подкупленных англичанами — на сторону правых партий. Об этом прямо говорил Шаумян в своем выступлении. Он сказал также, что они еще пожалеют об этой роковой своей ошибке, но будет поздно.

После голосования Шаумян заявил, что, как представитель центральной Советской власти, он протестует против этого предательства.



Иван
Яковлевич
Габышев
(1887—1918)

Был объявлен перерыв, во время которого заседала большевистская фракция Бакинского Совета.

Когда уже поздно возобновилось заседание Совета, я был в зале. С заявлением от имени фракции большевиков выступил Шаумян. «Приглашений» англичан, сказал он, есть не что иное, как акт черной неблагодарности и предательства по отношению к революционной России. Он заклеймил эсеров, меньшевиков и дашнаков как врагов Советской власти и заявил, что большевики снимают с себя ответственность за эту преступную политику и отказываются от постов народных комиссаров.

Все это ошеломило меня тогда своей неожиданностью — я ведь не был в курсе всех событий, приведших к этому. Позже, когда еще не изгладились свежие впечатления и можно было более спокойно и тщательно разобраться во всей сложной обстановке тех дней, я писал: «Меньшевики, эсерам и дашнакам действительно удалось посулами помощи англичан против осаждавших Баку турок запутать значительную часть бакинских рабочих. Рабочие дрогнули. Не было хлеба: Баку уже был отрезан от Северного Кавказа казачьими бандами. Голод гулял по рабочим кварталам. Баку был отрезан от источника доброкачественной воды. Под стенами города скапливалось все больше и больше контрреволюционных полчищ. Гул артиллерийского огня заглушал притихшие заводские гудки. Страх возможной расправы контрреволюции подтачивал силы рабочих. Пользуясь легальностью, эсеро-меньшевистские прохвосты безнаказанно отравляли сознание рабочих мыслью о том, что стоит им захотеть, и несчетное количество «культурных» английских войск придет на помощь своим «братьям-союзникам» против турок, спасет город. На митингах в районах и на заседании Совета рабочих депутатов социал-предательское предложение о «приглашении» англичан получило большинство».

В ту же ночь, сразу после заседания Совета, состоялось экстренное расширенное заседание Бакинского комитета партии.

Многие из нас выступили против решения фракции большевиков об уходе народных комиссаров со своих постов. Было принято предложение власти не сдавать, к тому же новой власти Совет, по существу, не избрал. Все ранее существовавшие органы власти — Исполком Совета, Совет Народных Ко-

миссаров — должны продолжать свою работу. Было решено провести мобилизацию среди бакинских рабочих для пополнения рядов Красной Армии, ввести чрезвычайное положение в городе и принять меры против лиц, ведущих контрреволюционную агитацию. Ввиду особой сложности обстановки было решено созвать общебакинскую партийную конференцию. Она состоялась 27 июля 1918 года и подтвердила все решения, принятые на заседании Бакинского комитета партии.

На следующий день после заседания Бакинского комитета партии для исполнения принятых им решений состоялось чрезвычайное заседание Бакинского Совета под председательством Джапаридзе.

28 июля Бакинский Совнарком издал приказ о дополнительной мобилизации в ряды Красной Армии. В тот же день Исполком Бакинского Совета обратился с воззванием к населению, в котором сообщалось о решении Исполкома: «...довести до сведения населения гор. Баку, что Исполнительный комитет в полном своем составе по-прежнему продолжает стоять на страже рабоче-крестьянской Советской власти и всякая попытка, направленная против Совета, будет беспощадно подавлена Советом... Исполнительный Комитет обращается ко всем бойсковым частям, матросам и рабочим и ко всем, кто искренне дорожит Советской властью, быть на страже и железным кольцом сплотиться вокруг Совета, чтобы дать должный отпор осмеливающимся поднять голову в такой критический момент врагам Совета и достойно встретить надвигающегося на нас обнаглевшего врага».

Утром того же дня состоялись митинг и мощная демонстрация советских войск на площади Свободы с лозунгами: «Да здравствует новая мобилизация!», «Позор трусам, отклоняющимся от мобилизации!», «Смерть предателям и изменникам!», «Все к оружию, в ряды рабоче-крестьянской социалистической армии!», «Да здравствует РСФСР!», «Баку — только для Советской республики!», «Долой германо-турецких и английских империалистов!», «Англичане захватили всю Персию, хотят захватить Восточное Закавказье. Долой захватчиков!», «Германо-турки захватили все Закавказье, хотят захватить и Баку. Долой насильников и захватчиков!», «Долой предателей, которые хотят сдать Баку англичанам!», «Агитация за англичан вносит рознь в нашу братскую семью и ослабляет фронт. Долой эту агитацию!»

Джапаридзе приветствовал участников митинга и демонстрации от имени Бакинского Совета, заявив, что бакинский пролетариат с оружием в руках готов защищать Советскую власть в Баку. С пламенными речами выступили также Корганов, Зевин, Петров, Везиров, представители красноармейцев и моряков. Везиров говорил, в частности, что «просыпающееся от векового сна мусульманское крестьянство связывает свою судьбу с судьбами социализма в России. Записываясь в армию десятками, мусульманские крестьяне отстаивают и будут отстаивать великую Россию».

Вечером в переполненном зале оперного театра состоялось собрание бойцов и командиров Бакинского гарнизона. Выступая на этом собрании, Шаумян сказал, что «...революционный фронт стиснут с двух сторон — извне и изнутри». Отвечая на вопрос, откуда бакинцам надо ждать помощи, Шаумян сказал: «...Только из России! Только от революционных товарищей из центра мы можем получить поддержку. Пролетариат, с точки зрения революционности, не может обратиться к кому бы то ни было из угнетателей и целовать его руку за то, что рука

эта, вооруженная кнутом, будет бить менее беспощадно, чем другой угнетатель. Это — рабская логика, рабская постановка вопроса, рабская психология». Он призвал бакинский пролетариат бороться «...не только за свой город, за свой дом, но и за всю Россию. Эта историческая миссия, — заявил Шаумян, — должна наполнить гордостью бакинских товарищей-рабочих и призвать их к славной борьбе до конца — победить или умереть с честью».

Выступивший на собрании командир отряда Петров тоже призывал бойцов продолжать героическую оборону пролетарского Баку. От имени красноармейцев он выразил благодарность Шаумяну за его неустанный работу по укреплению Советской власти в Баку, отметив при этом, что и два сына Шаумяна — еще юноши — бесстрашно сражаются в рядах Красной Армии против германо-турецких интервентов.



Шаумян информировал Ленина о положении и о мерах, которые принимаются на месте, просил его оказать в кратчайший срок помощь свежими войсковыми частями.

Надо сказать, что Ленин поддерживал постоянную связь с Шаумяном или непосредственно из Москвы, или через Сталина, который находился в Царицыне. Ленин полностью доверял Шаумяну. «...Вы знаете, что я доверяю полностью Шаумяну», — писал Ленин в августе 1918 года председателю Астраханского Совдепа.

В ответ на просьбу Шаумяна о срочной присылке войск 29 июля была получена телеграмма Ленина: «Насчет посылки войск примем меры, но обещать наверное не можем».

Это можно было понять. 1918 год был крайне тяжелым для Советской России. Прибалтику, Белоруссию, Украину оккупировали немцы. С Мурманска и Архангельска в центр России двигались английские войска. Во Владивостоке высадились японские и американские войска. Началось восстание чехословацкого экспедиционного корпуса, занявшего при поддержке белогвардейцев ряд важнейших городов на Урале и Средней Волге. Подняла голову казачья контрреволюция на Северном Кавказе. Банды Краснова шли на Царицын. Оренбургское казачество рвалось к Астрахани. В центре страны — Москве, затем в Ярославле, Астрахани вспыхивали мятежи. Началось наступление англичан на Туркестан. Всюду были нужны вооруженные силы. Красная же Армия в это время только еще начинала формироваться. Трудно было переводить войска с одного фронта на другой, везде ощущалась их нехватка.

Советская власть билась в смертельной схватке с восставшей контрреволюцией и иностранной интервенцией 14 государств.

В эти дни все наши лучшие пропагандисты пошли в массы, организуя митинги рабочих и солдат в поддержку Советской власти и против предателей. Большевицкая организация «Гуммет» провела в разных частях города митинги азербайджанских трудящихся. Партийные деятели выступали с призывами защищать Советскую власть, пролетарский Баку от нашествия турецко-мусаватских полчищ.

Участники этих собраний выражали твердую решимость вместе со всем бакинским пролетариатом отстаивать дело революции.

Однако не зевали и наши противники. Проходили тайные сборища заговорщиков — лидеров партии меньшевиков, правых эсеров и дашнаков вместе с

Владимир
Федорович
Полухин
(1886—1918)



заправилами Центрокаспия (Центральный комитет Каспийской военной флотилии), с представителем Бичерахова, являвшегося проводником воли английского военного командования.

Военно-революционный комитет Красной Армии принимал все меры для укрепления фронта.

Как член Бакинского комитета партии, активно участвуя в те дни во всей партийной, политической и военной работе, я находился тогда в довольно сложном положении. Остро переживая наши общие трудности, я — чего греха таить! — никак не мог забыть чувства личной обиды, оскорбления предателем Амазаспом.

В категорической форме я потребовал от Шаумяна немедленного ареста Амазаспа и назначения вместо него одного из командиров батальонов. «При этом условии, — говорил я Шаумяну, — я немедленно возвращусь на фронт и уверен, что нам удастся привести бригаду — в военном отношении вообще опытную — в полный боевой порядок и организовать на нашем участке фронта оборону Баку».

Шаумян понимал и разделял мои настроения и в то же время с большой терпимостью убеждал не торопиться с этим делом. «Ты пойми, — говорил он, — Амазасп находится в бригаде, он знает о твоём требовании предать его суду и, наверное, уже принял меры к самозащите. За его спиной армянский национальный совет, а у нас нет такой силы, чтобы сейчас же осуществить то, чего ты требуешь. Если нам придется послать туда вооруженный отряд, то неминуемо начнется вооруженное столкновение, а это еще больше обострит положение на этом участке фронта».

При таких условиях я отказался возвратиться в свою бригаду.



Когда было принято решение не сдавать власти в Баку, оставаться и сражаться здесь до конца, мы решили эвакуировать в Астрахань членов семей партийных и советских работников. Как и до этого, я жил на квартире Шаумяна. Его жена Екатерина Сергеевна всячески тянула с отъездом, не желая оставлять Шаумяна и двух сыновей-подростков — Сурена и Леву, участвовавших в боевой



Федор
Федорович
Солнцев
(1887—1918)

дружине большевиков. Шаумян день и ночь был занят на работе, на различных заседаниях и редко заглядывал домой. Я уговаривал Екатерину Сергеевну как можно быстрее уехать, потому что ее присутствие в Баку, да еще с двумя другими малолетними детьми, волнует Степана и всех нас, а ее отъезд в этом отношении нас успокоит. Не хотела уезжать также и жена Джапаридзе — Варвара Михайловна, имевшая на руках тоже двух малолетних дочерей — Елену и Люцию. Приходилось и ее уговаривать ехать. В конце концов удалось заставить их собрать необходимые вещи.

Вечером 29 июля мне позвонил по телефону Шаумян.

«С фронта идут очень тревожные вести, — сказал он. — Турки прорвали фронт, а наши войска отступили до Баладжар — первой железнодорожной станции от Баку. Положение создалось очень запутанное. Поезжай туда сам, посмотри своими глазами, что там происходит, прими возможные меры и сообщи нам». Я позвонил на железнодорожную станцию и распорядился, чтобы мне подготовили паровоз для поездки на фронт.

Придя на вокзал, где для меня уже был готов паровоз, я вдруг вижу, что около паровоза с винтовкой в руках стоит Ольга Шатуновская. Спрашиваю ее: «Откуда ты появилась, что здесь делаешь?»

Оказалось, что Шаумян поручил ей сопровождать меня. Я решительно возражал, считая, что ей незачем ехать со мной, что она больше принесет пользы, исполняя свои обязанности секретаря Шаумяна.

Но она настаивала на своем, и я ничего не мог с ней поделать. Шатуновская поехала со мной и в дальнейшем, как вспоминает В. С. Емельянов (который также был в рабочих отрядах), она участвовала в перестрелке под Хурдаланом.

Приехав в Баладжары, я прежде всего узнал, где находится штаб фронта. Он был в служебном салон-вагоне, куда я и направился. Встретил меня начальник штаба Аветисов. Это был опытный командир, бывший офицер царской армии, полковник, много старше меня. Однако внешним своим видом он не привлекал симпатий людей, а скорее отталкивал. Вежливо с ним поздоровавшись, я спросил: «Расскажите, пожалуйста, о положении дел на фрон-

те в данный момент. Какие позиции занимают наши войска, какие — турки?» Я видел, что на столе у него лежала карта фронта, на которой были обозначены позиции. Несколько возбужденно Аветисов ответил, что положение очень плохое и по-настоящему он даже не знает, какое оно. Аветисов был явно растерян и как-то панически настроен. Тогда я сказал ему: «Ваше положение обязывает вас знать, как обстоят дела на фронте. К тому же на карте я вижу обозначение расположения наших сил и сил противника. Вероятно, это последние данные. Прошу не волноваться и спокойно доложить». В таком же возбужденном состоянии Аветисов мне ответил, что все эти обозначения на карте ровно ничего не значат, так как на фронте хаос, части отступают, не спрашивая разрешения командования. Я стал расспрашивать, какими конкретно воинскими частями он располагает на подступах к Баку. Он назвал несколько батальонов, два бронепоезда и отряд Петрова. Тогда я спросил: «А где же Бичерахов с его отрядом?» Ответил: «Сегодня Бичерахов заявил об отказе воевать в составе Красной Армии против турок и, сняв свои части, ушел в сторону Дербента, оголив тем самым правый фланг нашей обороны». Это был новый серьезный удар: сообщение о предательстве Бичерахова явилось для меня новой неожиданностью.

Однако, собравшись, я предложил Аветисову приняться за восстановление связи с частями фронта и решить вопрос о переброске некоторых из них на участок фронта, оголенный Бичераховым. Он стал что-то беспомощно лепетать о том, что «не в силах что-либо сделать». Я понял, что продолжать с ним разговор бесполезно, и отправился искать вагон, в котором находился комиссар штаба Ганин. Застал я там также и бригадного комиссара Габышева. Рассказал им о разговоре с Аветисовым и стал расспрашивать о действительном положении дел. Они подтвердили, что на фронте положение тяжелое и что особенно оно усугубилось в связи с уходом отряда Бичерахова. На мой вопрос, какие части можно двинуть на позиции, оставленные казаками Бичерахова, они сказали, что более надежным было бы направить туда части отряда Петрова, находящиеся здесь, с тем чтобы потом пополнить их подкреплением, полученным из Баку.

В Баладжарах не было воинского порядка. Как рассказывали товарищи, красноармейцы группами оставляли позиции и болтались на станции, внося тем самым еще большую дезорганизацию. Мы решили возложить на небольшую группу матросов из отряда Петрова обязанности по наведению порядка на станции, вызвали командиров подразделений отряда Петрова, находившихся в Баладжарах, и приказали занять оставленные Бичераховым позиции, что и было ими выполнено.

Потом мы связались в Баку с Шеболдаевым и просили его срочно прислать пополнение для отряда Петрова. Кроме того, просили направить две-три роты из числа вновь мобилизованных в Баку рабочих, которые проходят обучение. Шеболдаев обещал по возможности выполнить просьбу. Он сообщил нам как новость, что вместо Бичерахова командиром этого участка фронта назначен Петров, и рассказал, что Бичерахов мотивировал свой уход тем, что он не согласен с политикой, проводимой против англичан, поэтому снимает с себя обязанности командующего этим участком фронта и, выполняя желание своих казаков, направляется с ними на Северный Кавказ.

Поспав несколько часов, мы поднялись и вышли на станцию. Приятно было узнать и увидеть самим, что группе революционных моряков удалось навести

элементарный порядок на станции. Вскоре стало известно, что отряд Петрова занял указанные ему позиции.

Зайдя в штаб к Аветисову, чтобы узнать от него хоть какие-нибудь новости, я вновь застал его в паническом состоянии. Он считал, что для сопротивления у нас нет сил, что турки могут нас быстро смять, что обещанная из Баку помощь не подходит и вряд ли подойдет. Все же я узнал от него, что какие-то армянские национальные части, подготовленные к выступлению на фронт, задерживаются в Баку. Уйдя от него, пошел на вокзал, думая попытаться соединиться по телефону с Шаумяном. Однако, потратив много времени, так и не смог этого сделать. Подходившие к телефону товарищи сообщали, что Шаумян занят на заседании Совета. Я снова зашел к Ганину и Габышеву. Вместе мы стали принимать меры для укрепления фронта.

Тем временем нам сообщили, что отряд Петрова стойко встретил на своем участке атаку турок и в кровопролитной схватке удержал позиции, хотя и понес большие потери в людях. В связи с этим стало еще более необходимым немедленное пополнение наших частей. Оно ожидалось с часу на час.

Снова, в третий раз, я зашел к Аветисову — и опять застал его в панике. На него даже не произвел никакого впечатления, что отряд Петрова выдержал атаку турок. Я сказал ему, что никак не могу связаться с Шаумяном. Пока мы с ним беседовали, в штаб зашел человек с железнодорожной станции и сказал, что сейчас как раз можно соединиться по телефону с Шаумяном. Аветисов выразил желание пойти со мной. Сначала я подумал: «Зачем ему идти со мной?» Потом решил: «А вдруг его присутствие окажется полезным для получения каких-либо данных, которые могут заинтересовать Шаумяна?» И мы пошли вместе.

В комнате, где стоял телефон, кроме нас с Аветисовым, никого не было. Я сразу же спросил Шаумяна, что происходит, что нам делать. Шаумян ответил, что политическое положение оказалось сложнее военного, что идут непрерывные заседания, бесконечные совещания представителей правых партий, Центрокаспия и армянского национального совета. Меншевикам и эсерам удалось повести за собой руководителей Центрокаспия, они договорились и уже приняли меры, чтобы послать корабли за англичанами в персидский порт Энзели. Армянский национальный совет не только отказывается послать на фронт против турок несколько хорошо организованных частей, но и требует начать мирные переговоры с турками и уже связался по этому поводу со шведским консульством как с посредником. Есть подозрение, что национальный совет готовится самостоятельно направить своих представителей к туркам. Они говорят, что «все равно фронт не удержать, а мирные переговоры могут спасти армянское население от резни, которая может произойти в случае захвата турками Баку». Одновременно они тесно связались с меньшевиками из Центрокаспия и ведут двойную игру: с одной стороны, поддерживая немецко-турецкую, с другой — английскую линию. Мы, само собой разумеется, не можем согласиться ни с меньшевиками, ни с эсерами, ни с дашнаками. Они, по существу, разваливают тыл и тем самым ослабляют фронт. Мы будем продолжать борьбу. Затем Шаумян сказал то, что меня особенно поразило: оказывается, Аветисов еще вчера ночью сообщил армянскому национальному совету, что через три-четыре часа турки займут Баку и поэтому он предлагает поднять белый флаг. В связи с этим национальный совет требует от Со-

Артак
Стамболцян
(«Артак»)
(1896—1938)



вета Народных Комиссаров дать приказ фронту поднять белый флаг. Это меня так возмутило, что я по телефону крикнул: «Какой белый флаг?! Мы здесь никакого белого флага поднимать не собираемся и не поднимем!» Шаумян ответил: «Совнарком тоже против поднятия белого флага».

После окончания разговора по телефону Аветисов буквально во взбешенном состоянии заявил мне: «Нет, господин комиссар, белый флаг поднять придется. Мы заставим поднять его вас лично, как комиссара!»

Я, и без того до крайности взволнованный, побледнел и, что называется, взорвался. Стараясь все же не доводить себя до крайностей, я достал револьвер и сказал, чеканя каждое слово: «Господин полковник! Эта затея с белым флагом у вас не пройдет! Вы не должны забывать, с кем имеете дело, и знать, что в этом револьвере для вас хватит пули!» Аветисов побледнел, боясь, что я здесь же на месте застрелю его. Но я его только предупредил. Он это понял и безмолвно вышел.

Я отправился к Ганину и Габышеву, чтобы рассказать им обо всем случившемся. Мы составили телеграмму в Баку, которую тут же втроем и подписали. В ней говорилось, что Аветисов угрожает заставить нас, комиссаров, поднять белый флаг и сдать-ся туркам. Никакая угроза расстрела не заставит нас пойти на такой позорный шаг.

Затем мы стали обсуждать, чем может закончиться борьба за власть в Баку, удастся ли нашим товарищам удержаться у власти или ее захватят меньшевики, эсеры и дашнаки. Какие приказы можно ожидать из Баку? У нас все еще теплилась надежда, что в Баку удастся удержать Советскую власть.

С фронта стали поступать новые сведения о том, что турки начали продвижение и заняли небольшую высоту недалеко от Баладжар. Потом до нас дошли сведения, что на фронт прибывает Корганов, а затем Шеболдаев. Это нас несколько приободрило. Однако время шло, а они не приезжали.

Стало темнеть. Турки подняли на занятую ими высоту орудие и начали обстрел Баладжар. Стало ясно, что наш штаб оставаться в Баладжарах больше не может. Тогда мы вызвали к себе прибывшего в Баладжары начальника военных сообщений кавказской армии Арвеладзе, которого я хорошо знал по работе в Баку. Посоветовавшись с ним, мы наметили меры к недопущению паники в связи с обстрелом

станции Баладжары, где стояло несколько воинских составов, и организовали их поочередное отправлени-е в Баку.

...Было около 11 часов ночи, когда наш поезд остановился на станции Баку. Взяв с собой карабин, я вышел на перрон. На станции было спокойно, никакой суматохи, как будто все идет нормально. Встречаю на перроне комиссара бронепоезда ле-вого эсера Ашота Тер-Саакяна, бывшего москов-ского студента, которого я знал раньше как хоро-шего революционера. Он сразу мне в упор: «А знаешь, в Баку переворот!» Я растерялся. «Ка-кой переворот? Откуда ты знаешь?» — спросил я его. «Об этом все говорят». Я ответил: «Не верю, пойду в ревком». Он предупреждает: «Будь осторожен, могут арестовать!» Все же я пошел.

Ревком помещался в здании гостиницы «Астория», на площади Свободы. Иду по улице. Никаких из-менений не чувствуется. Около ревкома все по-прежнему. Те же часовые у подъезда. С нарочито уверенным видом вошел я в здание ревкома, под-нялся на второй этаж, но направился не к кабинета-там высшего начальства, а в помещение, располо-женное в конце коридора, где обычно сидели рядо-вые служащие. Открыл дверь в одну из комнат. Вижу — сидит Полухин, член коллегии военно-мор-ского флота, прибывший из центра уполномочен-ным в Баку. Это был матрос высокого роста, лет тридцати пяти, очень всеми уважаемый. С ним — начальник бакинской школы командных кадров Солнцев. Они сидели и спокойно разговаривали.

«Что вы здесь делаете?» — спрашиваю их. «А сами не знаем». «Как же так?» «Да мы тоже только что за-шли в ревком и узнали, что наши товарищи эвакуи-ровались в Астрахань». «Неужели это верно?» Отве-чают: «К сожалению, факт». «Как же так, — говорю я, возмущаясь, — приняв решение об эвакуации, даже не нашли возможности предупредить нас об этом в Баладжарах?» «Может, они и принимали меры, чтобы известить вас, но им, очевидно, не удалось с вами связаться», — возразили мне товарищи. Их тоже никто не известил — настолько все неожидан-но и экстренно произошло. Потом они рассказали мне, что власть захватили в свои руки меньшевики, эсеры и дашнаки, образовавшие 1 августа 1918 го-да от имени тогда уже фактически прекратившего свое существование Центрокаспия так называемую «Диктатуру Центрокаспия и Временного президи-ума Исполнительного комитета Совета». Каспийский флот уже направил суда за англичанами в Энзели. Словом, контрреволюция победила.

«Не знаете ли, кто глава контрреволюционного правительства?» — спросил я их. Оказывается, что, как им известно, главой правительства назначен меньшевик Садовский, а командующим войсками — Бичерахов.

«Что же вы сидите и так спокойно разговариваете? Что вы собираетесь делать?» «Нам остается одно, — отвечают они, — во что бы то ни стало добраться в Советскую Россию, где мы будем еще нужны». «А каким путем?» — спрашиваю. Отвечают: «Сами еще не решили, вот сидим и думаем. Путь на Се-верный Кавказ и в Закавказье закрыт. В Закаспии — контрреволюционное правительство, опирающееся на английские штыки. С Астраханью нет пароходного сообщения. А вот между Баку и Энзели пароходы свободно ходят. Думаем пробраться в Энзели, а от-туда через Персию и Афганистан добраться до Ташкента, где Советская власть».

«А ты, что ты будешь делать?» — спрашивают они меня, в свою очередь. «А я останусь в Баку, перей-ду на нелегальное положение и буду вести партий-ную работу, хотя и не знаю пока адресов, где бы можно было скрыться. Попытаюсь зайти в казарму партийной дружины. Может, там кто-нибудь остался, кто поможет мне скрыться у какого-нибудь рабо-чего».

Я поторопился уйти, посоветовав и им поискать для себя убежища у знакомых. К сожалению, я не мог дать им никакого адреса, так как сам еще не знал, где буду скрываться. Я сказал им, что надо сооб-щить обо всем Ганину и Габышеву, которые тоже ничего еще не знали о происшедшем, и что я по-пытаюсь это сделать, чтобы и они могли скрыться.

Я не курил вообще, но тут попросил их дать мне папиросу для того, чтобы, закулив, с «важным ви-дом» пройти мимо часовых. На прощание я сказал товарищам, что нам надо до их отъезда попытаться установить связь друг с другом через местных жи-телей.

После этого я прошел через коридор, спустился по лестнице, спокойно миновал часовых и, наконец, вышел на улицу. Я был доволен, что выбрался из этого здания на свободу. Прошел по Телефонной улице к большому многоэтажному дому, реквизи-рованному нами под казармы для партийной дру-жины. Поднялся на второй этаж. Вижу, в большом зале на паркетном полу лежат и спокойно спят лю-ди. Было около полуночи. Среди спящих я узнал своего близкого товарища еще со школьной скамьи, а теперь комиссара отряда Артака. Меня взяло зло: коммунисты, а в такой момент спокойно спят, в том числе и Артак. С досады я ударил его ногой в бок. Он вскочил и, еще не понимая, в чем дело, уставился на меня. Спрашиваю: «Где Шаумян, Джа-паридзе, Азизбеков?» Отвечает: «Не знаю». И рас-сказывает, что он с отрядом остался охранять Госу-дарственный банк, но затем, получив распоряжение, недавно оттуда вернулся. И вот теперь отдыхает со своей дружиной в ожидании указаний. Мы немедлен-но подняли дружину, приказав всем разойтись по домам, не попадаясь на глаза контрреволюционе-рам, постараться сохранить связь и ждать распоря-жений.

Я спросил Артака, нет ли у него адреса, где мне можно было бы остановиться. Где он думает устро-иться сам? Он назвал адрес кого-то из товарищей по своей дружине, сказав, что хорошо его знает и дума-ет у него устроиться. Мне он предложил остано-виться на квартире Татевоса Амирова, если, конечно, я ему доверяю. Я ответил, что хотя Амиров и не коммунист, но вполне порядочный человек, к тому же хорошо относящийся к Шаумяну: когда он был на фронте со своей конницей, мы несколько раз встречались с ним и сблизились. Не думаю, чтобы он отказал мне в приюте.

Артак дал мне его адрес.

Была полночь. Я подошел к дому, постучал в дверь. Открыл сам Татевос Амиров. Он был в ниж-нем белье, видимо, встал с постели. Я сказал, что наши уехали, я остался, не может ли он пустить меня переночевать. Татевос ответил: «Пожалуйста». Ночь я провел в его доме. Когда проснулся, Амиров был уже на ногах. Оказывается, он успел побывать в городе и принес мне новость: все пароходы, на которых пытались выехать наши товарищи и с ни-ми отряд Петрова, возвращены в Баку. Сейчас они стоят на Петровской пристани.

Я немедленно пошел туда.

(Продолжение следует)

Николай Жуков,

народный художник СССР

ИЗ ЗАПИСЕЙ РАЗНЫХ ЛЕТ



Прожил я немало. Вся моя сознательная жизнь прошла при Советской власти, а ей уже пятьдесят лет.

В разные годы я вел дневниковые записи, вел их для себя. Недавно, перечитывая старые тетрадки, я удивился тому, насколько неотделима жизнь человека от движения общества. Я записывал свое, очень личное, интимное, и оказалось, что оно, это свое, каждый раз какими-то гранями совпадает с общим, вплетается в него какими-то нитями или, по крайней мере, существует рядом.

В этих записях не надо, разумеется, искать сколько-нибудь прямых откликов на дату. Они имеют известное право быть опубликованными только в том случае, если считать, что история народа — это не только памятные всем вехи, далеко видимые современникам, но также и история человеческих чувств, слагаемая из человеческих ощущений и наблюдений, больших и малых, значительных и второстепенных. Вот с таким предисловием я и позволяю себе предложить читателю на пробу мозаику из штрихов моего пятидесятилетия.

РОДНЫЕ КРАЯ, РОДНАЯ ПРИРОДА

У Пришвина в одном из его рассказов есть описание города Ельца: «Стоят маленькие дома окнами на пыльную улицу. Дома вперед на пыль, а задом в сад. На улице, где все ходят, там пыльно, а что одному, то хорошо,

зелено. Так везде раньше строились города царской России».

Все это верно, и Елец таков, как пишет Пришвин... Но уже сыздавна повелось считать самым дорогим родное место. Ведь известно, что из сотни скамеек в парке всегда помнишь только ту, пускай даже самую кривую, с которой связаны счастливые минуты твоего первого волнения, чудесного посвящения молодости в чувство любви, и потому эта наклонившаяся набекрень, старая скамейка может быть для тебя самой лучшей, самой приметной. Вот и для меня Елец был именно таким памятным местом.

Шел 1917 год. На улицах Ельца с облаком желтой пыли, с тоской и удалью неслась солдатская песня «Соловей, соловей, пташечка...», торопливо шли шеренги солдат и, прижимаясь к ним, бежали провожающие с узелками гостинцев жены, невесты, матери, дети. Мальчишки гурьбой забегали вперед, чтобы взглянуть на лихого молодца, вставлявшего на припеве два пальца в рот и льющего звенящий свист...

Вскоре на этих же улицах появились первые рабочие демонстрации, все чаще развевался на ветру храбрый красный стяг и слышалась уже другая, мужественная песня: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе...». Рабочие отряды брали власть в свои руки — свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Жили мы в то время недалеко от «бабьего базара», жили с матерью в двух комнатах одноэтаж-

ного дома. Отец был все время в отъездах, работал в Воронеже, мать хлопотала по хозяйству, а я сменил свое увлечение «закатом солнца» на рисование игральные карт.

Нравилось мне срисовывать модцеватых вальсов, грозных королей, томных дам и разделять их красками, и что особенно было гордо для моего сознания, что мои новоиспеченные колоды в дни нашего безденежья мать с успехом меняла на базаре на молоко или крупу.

Ах, как вкусно было есть кашу, кулеш, сваренный из этой крупы, и угощать всех в доме, убеждая, что нет ничего на свете вкуснее! Однажды, когда уже началась зима, мы получили извещение о болезни отца. Он заболел оспой и находился в госпитале в тяжелом состоянии. Письма приходили редко, и мать была в сильном волнении. В это время старшая дочь хозяев выходила замуж, и в доме готовились к свадьбе.

Хозяева на время своих торжеств велели открыть двери наших двух комнат. В день свадьбы дом наполнился сказочными для того времени запахами жареных гусей, индюшек, пирогов. Весь день хрипло орал граммофон, приходили визитеры с поздравлениями, со стола не сходило вино, расфуфыренная «полукупечская» молодежь танцевала тустеп, шушукаясь, сидели по углам умиленные старушки. Когда новобрачные должны были вернуться из церкви, а в коридоре музыканты уже

В е р х у: автопортрет автора.

настраивали для встречи скрипки, я услышал, как сообщили матери о неожиданном приезде моего отца. Госпитали в то время были переполнены, и потому больных выпускали раньше срока. Так случилось и с отцом.

Еще не прошел период шелушения, когда со струпами на лице отец выписался из воронежского госпиталя. С большими трудностями добрался он до Ельца и с вокзала, закутанный в одеяло, приехал на извозчике. Хозяева дома, боясь заразы, не пустили его в квартиру. А живущий в старом подвале недалеко от нас бедняк сапожник, узнав о безвыходности положения отца, уступил ему свою постель. Хозяева под угрозой отказа в квартире запретили нам ходить к отцу, и мы вынуждены были с матерью передавать ему пищу через форточку в окне.

Никто тогда из семьи бедняка не заболел, а мы, после того как отец окончательно выздоровел, перебрались на два квартала выше.

В доме в то время было холодно, спали в шубах, печку топили лузгой и в эти часы грелись. Вечерами я сидел в комнате, накинув отцовскую меховую куртку, которую я любил потому, что ее теплый воротник можно было надвинуть на голову, дышать, грея свои руки, и при свете тоскливой коптяки читать Станюковича, Марка Твена или Жюль Верна. Утром я помогал отцу таскать лузгу и приносил матери два ведра воды, за которой тогда часто выстраивалась очередь у водокачки.

Шла гражданская война, вокруг Ельца были частые бои. Страшным временем запомнились мне дни, когда в августе 1919 года в Елец ворвались банды Мамонтова. Более недели бушевали они, устраивая погромы, грабя население.

Накануне ухода Мамонтова белые власти объявили о взрыве Елецкого чугунного моста. В объявлении было сказано, что взрыв может вызвать волну, от которой рухнут старые дома. Чтобы избежать жертв, рекомендовалось всем жителям в 9 вечера выйти на улицу, открыть двери и окна своих домов для свободного движения воздуха и с открытыми ртами ждать на улице взрыва, не приближаясь близко к своим жилищам. Незабываемая картина была в эту лунную ночь. Женщины ходили, нервно укачивая взбужда-

женных детей. Старики сидели посредине улицы среди конского навоза на табуретках с открытыми ртами, а отцы расхаживали в роли патрулей. Напоминало это какую-то странную пантомиму. Около полуночи кто-то в одежде, типичной для мастеровых тех времен, проходя по нашей улице и увидев группы бодрствующих людей, сказал:

— Ну и дурачье! Что же вы зеваете? Поддались на выдумку! Ваши квартиры грабьярмия уже очистила.

Все бросились по домам. Оказалось, действительно во множестве квартир были совершены кражи. Так мне и запомнились белые: грабьярмия.

Когда я впервые прочел «Войну и мир» Толстого, то ощутил нечто неизъяснимое. Мне почему-то казалось, что никто в городе не читал этой книги, иначе почему все ведут себя как-то буднично, обращают внимание на пустяки, говорят о другом. Книга учила думать о большом, благородном, великом.

В Ельце — городе моего детства — дома низкие, много неба, простора, вольности. Выпадает снег, и на всю зиму бело, да так бело, что глаза слепит. Тишина торжественная, вроде не только видишь, как снег идет, а слышишь, как спускаются снежинки, как поднимается сверкающий наст снега. Приятно обновить такую целину широким шагом, думая, что ты уже подрост, под стать мужику. Шагаешь и оглядываешься: какой, мол, нога твой след отпечатала, большой, удивительный!

А как радуешься первому санному пути, уходящему в неведомую даль! Смотришь кругом и познаешь русскую ширь, красоту морозного узора заиндевших садов.

А придет весна, так ее проследишь повсюду, хоть на тающих сосульках, какие можешь сбивать вдоль крыш любого сарая, едва только на цыпочки встань — отломи и посасывай, жмурясь на солнце, лучшая конфета в ребячью пору. Весной, когда солнце пригреет и начнет таять, повсюду образуется вода, а она, как известно, покоя не знает, пробивает себе дорогу сотнями ручейков, один в другой втекает, ускоряя бег. А город Елец гористый, и потому вдоль тротуаров веселые ручьи журчали, и все мы, ребята, любили в то время гонки щепок устраивать, запруды делать. Интересно наблюдать, как твоя щепка — а ты, конечно, ее «фрегатом» велича-

ешь — летит по быстрому течению, а местами пропадает под настил льда, и ты не видишь, что там происходит. А там бывали неожиданности: чье-то суденышко застряло, а чье-то, наоборот, вперед вынесло. Во все времена года у нас, у ребят, был активный союз с природой: ее познавали, в нее влюблялись, и всех она нас оптимистами делала.

Елец научил меня любить всякую погоду: и дождь, и ветер, и бурю, и грозу, и даже мокрый снег с ветром, какой облепляет лицо, — все по-своему хорошо. А солнце всегда должно быть в тебе.

Война вновь сблизила меня с природой: лесами, степью, восходами, закатами — неповторимой прелестью близких сердцу пейзажей. Я видел, чувствовал, какой болью в сердце советских солдат отзывалось поругание врагом красоты нашей земли — обугленные деревья, выжженные травы, вздыбленная земля. Любовь к родной природе — один из главных источников патриотизма.

С О Н

Только оглядываясь назад и вспоминая далекое детство, находишь обрывки счастливых снов, восторженных сказок, от которых становилось так хорошо, что не хотелось просыпаться. Это была пора нетронутого здоровья. Сейчас сны как спутанный моток ниток — ни начала, ни конца.

Последнее время я плохо себя чувствовал, уложив меня в постель. Сердце усталое, оно походит на ноющий сник в груди, превращает все ощущения в одно большое ухо, подозрительное и слышащее только дурное. Сегодня я очень обрадовался, когда проснулся от удивительно свежего сна, вернувшего мне образ молодости. В этом сновидении деликатно отсутствовала графа возраста. Так вот, снится мне, как в одном обжитом добрыми воспоминаниями доме меня познакомили с милой девушкой. Мы перекинулись несколькими фразами и мгновенно почувствовали прилив взаимного тяготения. Боясь вспугнуть это радостное чувство, мы подали друг другу руки. Сигнал восторга пролетел по телу, когда пальцы мои ощутили тепло ее руки. Мы разошлись в разные стороны, я часто оглядывался, расстояние между нами увеличивалось, но руки наши словно бы не размы-

СТАРЫЙ ЕЛЕЦ.

Из альбома
Н. Н. ЖУКОВА.



кались, как навсегда соединенные провода. Я следил за ней, пока она не превратилась в точку.

С улыбкой я проснулся и подумал, что жизнь моя, видимо, тоже ушла от молодости на большое расстояние времени, но как хорошо, что память о той счастливой поре возвращает иногда остроту ее прелестей, хотя бы в таком аллегорическом сне. И еще долго, долго, как тающий во рту леденец, оставалось во мне приятное ощущение, какое в ряду многочисленных лекарств пусть и не имело точного названия, но было самым целительным для ноющего сердца. А потом нить размышлений повела меня дальше. Молодость моя оттого и была настоящей — в работе, кипении, борьбе, что сливалась с юностью страны. Сколько их бродит по свету — отроков-стариков, живущих среди вековых мертвящих канонов, догматов церкви, быта, социального устройства... И как же я благодарен судьбе, что родился в России, храбро шагнувшей в революционные бури!

ЧУВСТВО ИСТОРИИ

В 1926 году, окончив девятилетку, приехал я в Нижний Новгород учиться в художественно-промышленном техникуме. Мы любили тогда вечерами лазить по кирпичным руинам Нижегородского Кремля, заглядывать в бойницы. Отсюда открывалась величественная панорама города, стоящего на слиянии Оки и Волги. В мальчишеском возрасте эти наши походы воспринимались внешне с каким-то приключенческим налетом. Сознание тогда не просматривало толщу лет живой истории родной земли, ее городов, ее народа. Оно было обращено в реально окружающий тебя мир, и до тебя больше доходила прелесть солнца, воды, природы, чем сырая немота замшелых кирпичей Нижегородского Кремля.

С тех пор прошло сорок лет. У каждого из моих сверстников сложилась своя биография, своя судьба. За это время были периоды жизни, общие для всех нас, кем бы мы ни были, — такие, скажем, как Великая Отечественная война. И если ты получишь сейчас письмо от фронтового друга, то память твоя немедленно перелистает страницы тех военных лет. Если прочтешь книгу о войне, то перед тобой возникнут карти-

ны, в которых что-то будет схоже с тем, что знакомо и тебе. Но вот если ты попадешь на Пискаревское кладбище в Ленинграде, где весь архитектурно-скульптурный ансамбль погрузит тебя в раздумья о военной године, обо всем том, что вынесла твоя страна, то твоя судьба в этом масштабе встанет на свое место среди миллионов судеб, и это размышление коснется всех струн твоей памяти, и оно зазвучит симфонично.

Очутившись сейчас в Горьком, я подумал обо всем этом и хочу сказать о том особенном впечатлении, которое я пережил при виде восстановленного ныне Нижегородского Кремля, Архангельской церкви, обелиска Минину и Пожарскому и поставленного рядом мемориального памятника горьковчанам, павшим в дни Великой Отечественной войны за свободу и независимость Родины.

Две большие гранитные плиты. На одной торжественная эпитафия, на другой, стоящей к ней перпендикулярно, вырублено изображение сраженного на поле боя воина, передающего знамя другому, устремленному вперед, в атаку. Между ними плита с пылающим вечным огнем, положенная на огромный ковер живых красных цветов.

И вот, когда глаз видит весь этот ансамбль, расположенный на самой высокой точке города, а внизу расстилаются необозримые русские дали, могучая Волга, то приходит к тебе удивительное чувство.

Судьба народа в дни Великой Отечественной войны и твоя доля, как ее составная часть, смотрятся на фоне вековой истории земли твоей. И сила воздействия этого чувства просто космическая, разящая, возвышающая.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Как-то приехал я в Горький на встречу со зрителями, на свою персональную выставку. Встреча была назначена на понедельник, а приехал я ранним воскресным утром. Пошел в музей, осмотрел, как и где разместили работы. Все было хорошо. Горьковский музей один из лучших в стране. Я в нем бывал не раз, еще в отрочестве. Впервые в жизни в подлиннике увидел здесь картину Репина «Мужичок из робких». Она произвела на меня ошеломляющее впечатление. По психологической глубине, по выразительности, раскрывающей внутренний мир человека, по леп-

ке лица я ставлю ее не ниже великопостовского «Иннокентия». Вот почему экспонированная в этом музее выставка моих работ вселила в меня особый трепет и волнение.

Вечером пошли мы гулять с молодым пареньком Борисом на откос — и вспомнились мне далекие дни юности.

Тридцать пять лет назад в Горьком, на откосе, познакомился я с девушкой. Звали ее Леной, и я испытал все, что испытывает каждый, встретив свою первую любовь. Сейчас все кругом напоминало о бывлом. Вот там мы с ней встретились — свидание назначили. По этой дорожке гуляли, в той беседке от дождя укрывались. На скамейке, что под дубом, я ей о любви сказал, краснел, помню, и язык от нёба оторвать не мог; а вот здесь приревновал, а после шел и на деревья натыкался. И деревья, вроде как свидетели стоят, все те же.

Так закружили во мне воспоминания юности, что я поделился ими со своим попутчиком.

— А на кого она похожа? — спросил Борис. — Хотя бы примерно покажите тип лица, фигуры?

На откосе гуляло много людей, и я стал всматриваться в лица, стараясь узнать Лену, будто я растался с ней вчера, а не столько лет назад.

Внутренний голос, как это часто бывает в минуты нервного подъема, подсказал, что я ее обязательно встречу. Мы прошли далеко по откосу, до знаменитого в Горьком трамплина, повернули обратно к памятнику Чкалову, а от него к Мининскому садику, где когда-то я гулял с Леной.

Потом мы вернулись домой, и мне пришлось словами описать Борису внешность своей первой любви.

— Ну, как тебе сказать, смотрел я и даже близко похожей ни одной не нашел. Она была маленькая, как карандашик из блокнота, а заметная: с легкой походкой, подбородочек кверху, не ходила, а порхала, гордая была. Мне тогда казалось, что она похожа на газель, которых я никогда не видел, но так казалось — газель.

Мы легли спать, и, как я помню, сон мой прошел без воспоминаний о прошлом. Наутро я забыл свое вечернее настроение и готовился к встрече с посетителями выставки. Встреча была назначена на 5 часов вечера. Я пришел за полчаса раньше, зрителей было уже много. В первом ряду сидела

моя мама. Приезд сына, выставка, естественно, взволновали ее. Сидела она довольная, и, как я заметил, загадочная улыбка скользила по ее лицу. Неожиданно встав и приподняв со стула свою соседку, которую я не узнал сразу — она выглядела примерно одних лет с матерью, — она вместе с ней подошла ко мне.

— Вот, Коленка, помнишь Лену, вот она! — сказала мать.

У меня перехватило дыхание, мозг вздрогнул, и сердце сжалось. Я всеми силами старался совладать с собой и спрятать испуг. Что-то обожгло меня, сухим огнем пронзило сознание, и, выступая перед собравшимися, я боялся взглянуть на Лену. Как я потом узнал, горе, слезы, душевная маета истерзали ее, рубцы времени и испытаний легли на лицо. Где-то за всем этим, далеко-далеко, как слабый ответ былого, мерцали знакомые мне глаза, пробиваясь сквозь пелену рано пришедшей старости.

В голове вихрем пронеслось мое вчерашнее настроение, все то, что я рассказывал Борису, и над всем этим, как злая насмешка, высочило слово «газель».

Я не помню, как прошли часы встречи со зрителями. Я что-то говорил, кому-то отвечал, но все это было машинально. Мысль моя была в плену внезапной встречи. Я понял, что, возможно, и она смотрит на меня с тем же испугом, что и я на нее.

Все мы каждый день видим себя в зеркале и не замечаем, какие коварные отметки делает время. Я понял, что все эти годы я жил, не оглядываясь, смотря только вперед. Вчера, сегодня и завтра — были одним большим днем... Я жил и думал, что молод, а время неумолимо отсчитывало минуты, часы, дни, месяцы, годы.

Когда окончилась беседа на выставке, Лена быстро встала и хотела уйти, — видно, она все поняла.

Я поспешил к ней, сказал, что рад ее приходу.

Мы вышли из музея. На откосе был теплый вечер, зажигались звезды. Мы прошли с ней по знакомым местам. Сейчас я почувствовал, что отделявшие меня от вчерашней прогулки сутки стали равны пролетевшим годам моей жизни.

Поздним вечером я уехал в Москву. В вагоне было душно, я открыл окно и долго сидел в глухом, тяжелом раздумье. В этот вечер я узнал, что молодость ушла безвозвратно, ее никакими

силами не вернуть, и как хорошо жить, не зная этого.

Назавтра это настроение прошло, исчезло. Человек не может долго грустить о прошлом: ему назначено думать о будущем, идти вперед.

МАТРАЦ

В 1933 году я начал работать над плакатом. Это была для меня новая, малознакомая область искусства. Шла вторая пятилетка, и эта работа была особенно необходима. В моей маленькой, худо обставленной комнатке на Таганке красочный плакат казался самым красивым — ему подчинялось все, ничто не могло перебить его нарядности.

С нетерпением ждал я появления своих плакатов на улице. И вот здесь произошла странная метаморфоза. Плакат, который, как мне казалось, орал своими красками в моей комнате, становился тихим в условиях улицы. Я с трудом узнавал свой плакат, ревниво высматривая его в пестрой гуще заклеенных московских заборов.

Отчего же это происходило? Я следил за действием других плакатов, расклеенных на улице, смотрел рекламноплакатную литературу, но ничто так не объяснило мне эту метаморфозу, как один случай.

В 1934 году на смену развалившейся кушетке я купил на Дмитровке матрац, который хотел поставить у себя, как тахту. Машины я не достал и договорился с рабочим магазина донести его на руках до дома.

Матрац мой плыл через Кузнецкий мост, и вот здесь я вдруг увидел, что все движение улицы, краски витрин, вывесок, блики окон были менее броски, чем он, — ничто не было сильнее моего матраца. Он легко пробивался через всю эту гущу цветовых пятен, видимо, благодаря своей неожиданности и очень простому ритму синих и белых полос, которые как бы расчищали пространство.

Я подумал, что именно с такой простотой и энергией цветовых контрастов и конкретностью форм и надо решать плакат, тогда его ударная сила будет достаточна для воздействия на людей в обстановке улицы.

Этот случай помог мне в будущем осуществить ряд плакатов, которые доказали свою жизнеспособность и были удостоены пре-

мий на московских, всесоюзных и всемирных конкурсах.

Хвала матрацу! А сколько таких находок дает искусству улица!

ВСТРЕЧА С КРЖИЖАНОВСКИМ

Утро 11 февраля 1958 года было на редкость солнечным. Легкий мороз и гористость свежих сугробов делали пейзаж Москвы нарядным, с той зимней русской веселостью, которую ощущаешь в провинции, когда небо и снег образуют один сверкающий, солнечный простор.

Чувство хорошего в этот день стало еще острее оттого, что утром было назначено свидание с Г. М. Кржижановским, который года два тому назад, увидев мои рисунки Ленина, напечатанные в журнале «Огонек», выразил лестное о них мнение, обещал встретиться, но из-за внезапной болезни слег, и предполагаемое наше свидание было, таким образом, отложено.

Я с нетерпением ждал этой встречи, так как при личном свидании мог почерпнуть много живых впечатлений для своей работы над образом В. И. Ленина от близкого и самого давнего его друга.

Дом, где жил Кржижановский, — старый, небольшой особняк в центре города, скромно ожидающий в окружении новостроек своего ремонта.

Войдя во двор, я долго искал дверь и подумал, что ошибся адресом. Два мальчика во дворе прилаживали лыжи и на мой вопрос о квартире указали вход и прибавили, что вот то широкое окно — это его. Девять каменных ступенек вели вверх. На мой звонок вышла бойкая пожилая женщина и проводила меня мимо своей кухни во вторую, темную и бесшумную половину квартиры, где повсюду стояли старые вещи, образующие запах давней обжитости дома.

Кржижановский встретил меня с ласковой любезностью. Внешность его была такова, что в продолжение двух часов моего пребывания я испытывал страстное желание рисовать хозяина квартиры. Это было то нетерпение, которое хорошо знакомо художникам, видящим наконец модель, о которой только можно мечтать. Сухощавое, очень подвижное, пергаментного цвета лицо, черная академическая шапочка, глаза, впитавшие в себя жизнь века, по-

разили меня своей строгостью. Глаза его были настолько выразительны, что поглощали все остальное в его наружности.

После я часто пытался вспомнить очертания его рта, ушей, подбородка, но так и не мог это сделать: одни глаза — когда открытые, когда перечеркнутые надрывной прядью седых бровей, с постоянно страстным до жизни взором — прочно вошли в мою память.

Кабинет, где мы сидели, был типичен для старого ученого. Большой рабочий стол с полированным верхом. На нем лежали высокие стопы книг. С левой стороны стоял старый кожаный диван, покрытый клетчатым пледом. Сбоку стояла этажерка-вертушка той же конструкции, что и в кабинете Ленина. Стены были закрыты полками книг и среди них в разных местах стояли фотографии. Всюду было много небольших вещей, которые, видимо, имели свою примечательную историю — не случайно судьба забросила их в этот дом.

— А вы еще совсем молодой человек! Можно сказать, внук мне, — проговорил Кржижановский, усаживая меня за стол, и, значительно постучав пальцем, добавил: — А знаете, здесь бывал Ленин.

При этих словах стоящая слева от меня вертушка с книгами показалась мне еще более подлинно ленинской, и все как бы сразу стало еще существенней. Я высказал Глебу Максимилиановичу цель своего прихода, после чего он взял мою папку с рисунками и медленно начал перекладывать листы, а я буквально впился в его лицо, на котором весьма для меня памятно отражались первые его впечатления. Посмотрев шесть-семь листов, Кржижановский отложил их и, взглянув на меня, сказал:

— Когда мне показывают Ленина художники или актеры вот таким — с засунутыми за жилетку пальцами, — Кржижановский изобразил этот жест, — то я не верю в успех дела. Это чтецы-декламаторы, которые запомнили один очень распространенный и часто повторяющийся прием внешней похоти и злоупотребляют им. Вот артист Плотников — слышали? — разгадал тайну. Он просто в разговоре, как бы сам не замечая, тянет палец крючком вот так — в карман жилета или пиджака, и я вижу: передо мной живой Володя.

С последним словом я вздрог-



На творческой «среде».

нул, я только сейчас понял, насколько близко знал Глеб Максимилианович Ленина: с юных лет, с Петербурга, с первых рабочих кружков. Я с удвоенной жадой слушал его.

— Из всех актеров, которых я видел,— продолжал он,— Плотников наиболее близок к истине. В пьесе «Человек с ружьем» я его без слез смотреть не мог— стоит передо мной живой Ленин, и даже страшно становится. И голос у него, знаете, очень верный... Ведь иные, узнав, что Ленин трагировал, нажимают на это и переигрывают, а Плотников— нет, у него все в меру, все верно. Вот посмотрите!— Глеб Максимилианович поднялся со стула, достал с полки фотографию Плотникова в роли Ленина. Действительно, даже по внешнему сходству это был отличный портрет.

— Сейчас здесь мы с вами вдвоем — интимно разговариваем, — переводя голос почти на шепот, сказал Глеб Максимилианович и, как бы опасаясь, что, может быть, кто-то его услышит, наклонился ко мне и продолжал: — Ведь Ленин не жалел себя, прямо сказать, сжигал себя работой, он как-то сказал мне в шутку или всерьез, не знаю, что кто очень уж долго живет, тот дурак. А я-то по его формуле уже такой,— рассмеялся Кржижановский.

Сделал паузу и, глубоко вздохнув, он добавил:

— Да, иногда тяжело бывает, ровесников уж почти не осталось. У меня в таких случаях для облегчения свое средство есть, я ведь, знаете, стихи пишу— для себя. Вам, хотите, прочту? — Глеб Максимилианович отыскал на столе тетрадку.

Читал он выразительно, искренне и трогательно. Все стихи были посвящены В. И. Ленину.

Уже в коридоре, провожая меня, Кржижановский сказал:

— Ведь, знаете, мне уже осталось немного. — Он слабо махнул рукой. — Но, — голос его окреп, и глаза метнули искры, — размышляю...

Я вышел на улицу. Солнце слепило глаза. Я вспомнил все, что знал о плане ГОЭЛРО, об огнях Игарки, о гигантских волжских гидростанциях и о первой лампочке Ильича, которая зажглась, как чудо, в деревне Кашино в 1920 году. Я живо представил себе стоящих благоговейно со снятыми шапками наших крестьян, завороченно смотрящих первый раз в жизни на электрический свет, освещающий их лица. И как бы в ответ на это глаза их излучали надежду и веру в будущее, а у электрического штепселя стоял мальчонка в отцовском пиджаке и с радостью сотворял свое чудо. В этот час я понял главное об

энергии света, который шел с поразительной силой все эти годы по нашей земле. Этим светом для всех нас был ЛЕНИН!

ДЕЛАЙ СЕЙЧАС. НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ!

В течение многих дней, проходя по дорожке парка к морю и обратно, я любовался, как на газоне расцветал куст белых роз. Когда розы вошли в пору своей полной зрелости, они стали особенно прекрасны. Три сестры белых, как снег на вершинах гор, на фоне черной земли. Зеленым кружевом вилась листва.

Розы росли на самой людной дорожке, где постоянно ходят толпы. Я решил встать в 5 часов утра, когда еще все спят, и работать. Проснувшись, почувствовал, как все в теле протестовало исполнению такого решения, но, когда в памяти ожило ощущение прекрасного, прибавились силы, я переборол себя и пошел работать. Акварель удалась.

Вечером, проходя мимо куста, я не увидел роз. Сегодня воскресенье, розы срезали на продажу. Теперь они цветут только у меня.

ШТРИХИ

Еще в период войны я ощутил острую необходимость иметь всегда при себе блокнот и карандаши.

С той поры я стал значительно активнее наблюдать, видеть и больше рисовать. Рисовал на улице, в метро, в парках, в театре, на собраниях, вечерах, в поезде, в путешествиях. Со временем это стало уже моей потребностью. Появились зарисовки знакомых и незнакомых моих современников, с которыми я встречался в самых разных обстоятельствах жизни. Таких зарисовок у меня собралось сейчас около двух тысяч. Я очень доволен, что так незаметно из секунд и минут моих двух десятилетий накопился, как я теперь вижу, бесполезный багаж. Рисунки эти объединяет одна общая черта. Все, кого я рисую таким образом, не знают, что они у меня есть, и выражают себя очень активно, непосредственно. Я как художник не отражаю в их сознании, не влияю на состояние, и это очень выгодно отражается на остроте характеристик.

Предлагаю читателям «Юности» несколько зарисовок хорошо знакомых всем деятелей литературы и искусства.

Из альбома
Н. Н. ЖУКОВА.



Н. Андроников.



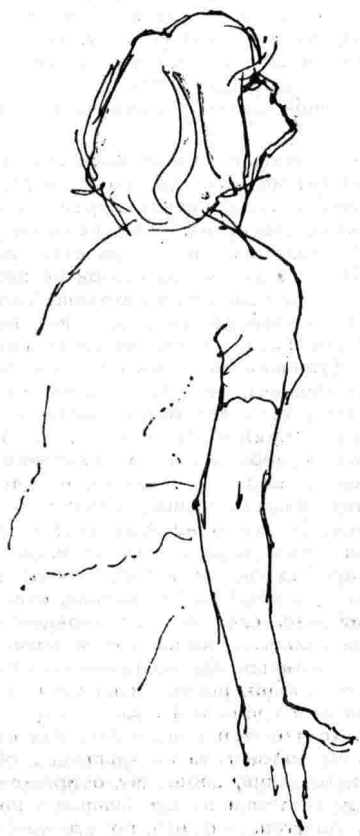
Дм. Шостакович.



М. Сарьян.



М. Рыльский.



Белла Ахмадулина.



Р. Зеленая.

ПОЛОЖЕНИЕ ГУЛЛИВЕРА

К 300-летию
со дня рождения
Джонатана Свифта

I

Когда читать я еще не умел, а только рассматривал картинки, в «Путешествиях Гулливера» мне особенно нравилось, как он тянет за собой на веревочках целый флот кораблей. Широким шагом подымается Человек-Гора из воды на берег, левую свободную руку он торжествующе поднял, и кажется, будто Гулливер поет.

Потом на самом-то деле оказалось, что Гулливер, взмахнув рукой, кричит: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Многое еще переменилось в книжке, когда я прочел ее. И на картинки пришлось смотреть иначе. Однако чувство простоты, ненатужности, с какой Гулливер делает все — берет ли в плен вражеский флот, тушит ли пожар, рассказывает лилипутам, или великанам, или лошадям о своей родине, — подтвердилось. И также стало особенно заметно, что не случайны веревочки, всякие цепи, нити, которые то опутывают Гулливера, то оказываются у него в руках.

Психологи, точнее, психоаналитики, для которых Свифт — благодатный материал, разобрали до невозможных подробностей его натуру, но почему-то не обратили внимания на постоянство этого мотива в книге: Гулливер все время привязан или по крайней мере соединен множеством связей с окружающим. В комментариях отмечается лишь на левой ноге у Гулливера, когда ее приковали к стене, «тридцать шесть висячих замков»: по числу политических группировок, в пользу которых Свифту пришлось писать свои памфлеты. Но ведь прикованным, привязанным, связанным на разные лады Гулливер оказывается во множестве случаев. «Я хотел встать, но не мог пошевелиться», — рассказывает он о своем

пробуждении у лилипутов, — я лежал на спине и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле, и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы; а все мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевек». Дважды Гулливер оказывается в руках у морских разбойников, и они скручивают его по рукам и ногам. Великанам незачем связывать ничтожное существо, однако у них, в Бробдингеге, Гулливер ежеминутно подвергается опасности быть стиснутым, прибитым, раздавленным; он тонет в молоке, вязнет в коровьем помете, великанский карлик запикивает его в обглоданную кость; с самого начала сажают его в ящик, а в итоге Гулливера страшит перспектива, что ему подыщут супругу, женят и детей их, словно диких зверушек, будут показывать в клетках. У великанов, в огромном мире, Гулливеру, в сущности, так же тесно, как и на улочке лилипутской столицы.

Все это пути, тиски буквальные, видимые, а сколькими обстоятельствами, обязательствами Гулливер связан символически, формально, какое давление, пусть нематериальное, но могучее и всестороннее, он испытывает! Постоянный надзор, толпы любопытных, угрозы нападения, интриги; его могут или отравить, или ослепить, или съесть. У лилипутов Гулливер «получает свободу» на основе договора из девяти пунктов, где с той же определенностью, что и длина цепи, ознано: «Человек-Гора не имеет права... должен... обязуется...» Опасности, да и небывалые звуки, запахи, новизна впечатлений, которые накапливаются у Гулливера во время удивительных странствий, держат его зрение, обоняние, слух, нервы в постоянном и до крайности повышенном напряжении. Наконец, Гулливеру суждено испытать неудобство и стыд еще от одной связи — его уличают в очевидном родстве с ужасными йеху. И это сходство тяготит его настолько, что он, вроде мюнхаузеновой лисицы, только добровольно, готов выскочить из собственной кожи и отречься от своего естества.

Однако если оставить пока в стороне этот последний, особенный случай, то надо сразу же признать, насколько просто и мужественно переносит Гулливер всевозможные стеснения. Свою историю Гулливер излагает обстоятельно и методически: мы тем более верим всему в его устах, что он не забывает ни событий, ни мелочей. Как проходило плавание, как очутился он в неведомой земле, как мог спастись, объясниться с туземцами, как он ел, пил и пр. В то же время Гулливер ни о чем особенно, прежде всего о своих лишениях, не распространяется и всякий раз с тактом опускает подробности, которые могут причинить читателю хотя бы подобие им самим испытанных неудобств, так же как великодушно освобождает он от веревки отданных ему на расправу лилипутов. Выразительный, однако немногословный в речах, Гулливер не указывает прямо на источник такой нравственной выдержки. Но, кажется, можно догадаться, где он: в глубоком осознании своего положения — «судьбы Гулливера», если взять это имя в значении, сделавшемся нарицательным. И вот Лемюэль Гулливер, корабельный врач, а потом капитан, подымается как настоящий «Гулливер», как гигант, во весь рост, несмотря на то, что таким образом и становится удобной мишенью для стрел, для насмешек, хотя ему и приходится, раз он Гулливер, влачить за собой груз бесчисленных обязанностей, долженствований, забот. Ни о прощении, ни о сочувствии, даже терпя позор, Гулливер не просит читателей, полагая, что его по крайней мере



Джонатан Свифт.

поймут, как вполне понимает совершающееся с ним он сам, Гулливер.

Человек-Гора должен тянуть разом все, отзываясь каждым нервом, каждым мускулом на новые и новые контакты с окружающим. Нужда, обстоятельства, наконец, страсть к путешествиям гонят Гулливера в очередное плавание, тоска по родине и семье зовет его обратно — домой, а между этими полюсами, там, в неведомых странах, он под натиском новизны едва успевает поворачиваться, чтобы, во всяком случае, встретить неожиданность, злую или добрую, лицом к лицу. Мысль его пульсирует четко и без усталости. Гулливер должен успеть обо всем подумать и вывод сделать, что называется, «по зрелом размышлении». Непрерывная сознательность — еще одно бремя Гулливера. На протяжении книги Гулливер не однажды поддается несколько неопределенному колебанию чувств, однако он вскоре овладевает собой и обдумывает происходящее.

Упрекнуть в рационализме и сухости его нельзя. Это он-то сухой рассудок, через два с половиной месяца после великанов отправившийся на поиски новых приключений! И, заметим, в каждой чудесной стране Гулливер обращает внимание на все стороны жизни: он наблюдает за всем, ему все любопытно, все находит у него отклик и суждение. Другой вопрос, что в меру странной судьбы изящная, лирическая часть чувств оказывается для Гулливера практически недоступна. Ему остаются страх, отчаяние, робость и т. д. — чувства-слабости, а он, как Гулливер, не может позволить себе ослабеть ни на минуту. И все усилия, умственные, нервные и физические, он переносит как само собой разумеющееся.

«Нормальный человек, брошенный в мир безумия и нелепости, единственно реальный мир, — такова философско-психологическая концепция «Гулливера», — написал некогда Мих. Левидов, блестя-

щий знаток Свифта. Для Свифта, брошенного в единственно реальный мир, дело так и обстояло. Но Гулливер эту концепцию нарушает. Прежде всего он дает себе труд соразмерить свои усилия со всяким новым для него окружением. Вернувшись из Бробдингнега, страны великанов, и проезжая по дорогам Англии, Гулливер заботливо кричит соотечественникам, чтобы они посторонились: привыкший к другим масштабам, Гулливер боится их раздвить. Свифт действовал иначе.

2

«Это было очень трудно», — говорит в домашней беседе со Свифтом скромный его современник, миссис Пилкингтон, жена священника в дублинском соборе св. Патрика, где Свифт был деканом. «Правда, — продолжает миссис Пилкингтон, — старик был в хорошем настроении, но приходилось все время думать, как бы не попасть впросак». Известно, «никто не герой в глазах своего лакея»: обывательский взгляд и великана способен представить ничтожеством, измельчив его фигуру в естественных и бесчисленных человеческих слабостях. Однако подобная точка зрения, безусловно, содержит и свою достоверность; соотнеся должным образом показания «лакея» с тем, что во всем объеме о великане известно, можно получить существенный результат для суждений о нем. То, что простая память Никифора Федорова сохранила о Пушкине, то, что Сергей Арбузов сумел записать о Толстом, стоит в ряду лучших мемуарных портретов, сделанных с наших величайших писателей. Как, например, раскрывается Толстой, когда, подделавшись под мужика и остановившись на ночлег в третьеразрядной монастырской гостинице, он велит Арбузову, чтобы сосед по номеру не храпел, не беспокоил его, — это мог видеть только слуга. И он смотрит на это без дальних мыслей, как на должное для графа и своего господина, давая возможность людям понимающим поставить непредвзятое свидетельство в систему общих представлений о Толстом, писателе-гиганте.

«Да, с ним очень трудно!» — вздыхает миссис Пилкингтон, и ей нельзя не сочувствовать. Странные, просто дикие вопросы, странные приемы обхождения, то грубость в лицо, то чересчур замысловатый комплимент — «ужасный старик, доктор Свифт!»! Зачем же он мучает этих людей, зачем он их-то держит в напряжении? Разве так поступал Гулливер?

Что миссис Пилкингтон и ее супруг! Вот свидетельство более авторитетное — сам Дефо, создатель «Робинзона Крузо», писал о Свифте: «Мне известно, что этот человек свободно говорит по-латыни, что он — ходячий свод книг, что все библиотеки Европы содержатся у него в голове, но... в то же самое время по образу своего поведения он циник, по нраву ненавистник, невежлив в разговоре, оскорбителен и груб в выражениях, безудержен в страстях...» Таково было мнение Дефо. На это могут заметить, что, во-первых, Дефо судил о Свифте скорее всего понаслышке, во-вторых, Свифт в ту пору не был еще создателем «Гулливера», и вообще неприязнь между Дефо и Свифтом развилась на подкладке политических, религиозных распри и не касалась их великих книг. На закате своих дней Дефо еще раз набросал портрет «ученого доктора С.» (то есть Свифта): «Он способен читать проповеди и молитвы поутру, писать всякие пакости пополудни, поносить небо и веру, и сочинять глупости по ночам, а утром вновь проповедовать и т. д. в соответ-

ственном коловращении крайностей». Что ж, хотя это и написано уже после того, как «Путешествия Гулливера» не только были изданы, но успели прославиться, все-таки надо признать, «Гулливер» и Свифт «Гулливера» здесь ни при чем. Тем лучше, тем яснее видно очерченное безошибочным пером все то, что Свифт сумел перебороть, переработать в себе, чтобы создать «Гулливера».

«Истинный гений приходит в мир, и его явление сразу становится заметным по тому, как все дураки ополчаются против него», — так сказал Свифт, отбросив бичом своего слога толпы педантов и насмешников. На кого он тратил силы? Он, кто видел к себе добро и участие, жертвенную верность в любви, перед кем заискивали вельможи и даже короли, он, кого так чтили друзья, невзирая на тяжелый его характер, кого поддерживали дядя Стерна и дед Шеридана (в ту пору, когда будущие знаменитые писатели еще не явились на свет), он, кого все, с чьим мнением следовало считаться, без оговорок еще в молодости признали гениальным. На кого же он копил злобу? Дефо из достойных его современников был, как видно, скверного мнения о Свифте. Но повод к оскорблениям подал Свифт. Формально Дефо начал первым, вступив в полемику с ранними трактатами Свифта. А тот в ответ сразу обозвал Дефо «безграмотным идиотом».

«Вы глупы, Пилкингтон!» — сказал Свифт рядовому коллеге: «безграмотный идиот», — определил он идейного противника, который оказался Даниелем Дефо, — вот последовательность натуры. И это натура Свифта, написавшего «Гулливера».

Рукопись «Путешествий» утеряна. Известно только, что Свифт вынашивал свой шедевр долго, трудился над ним тщательно и что главный период работы над книгой пришелся на крайне тягостную пору в личной жизни Свифта. Последнее обстоятельство опять-таки очень показательное.

В другую эпоху, почти через полтора десятилетия после Свифта, его соотечественник, хорошо нам известный Р. Л. Стивенсон, написал небольшую, но глубокую повесть о природе человеческой. Он искусно разобрал некий «странный случай» с доктором Джекилом, который задался дерзкой целью определить, сколько же в нем, благородном и гуманном человеке, содержится зла. Опыт удался, и Джекил воплотил свою подлость в маленьком, отвратительном существе — мистере Хайде. Свифт, можно сказать, проделал над собой иную операцию: созданием замечательной фигуры Гулливера он из себя изгнал добро, все лучшее. И Гулливер, хотя, строго говоря, он человек нормальных размеров, в читательском мнении по справедливости стал гигантом.

Разве, однако, «Путешествия» не злая книга? Злю-

щая. Дураки, подлецы, вообще вся нечисть, бо́льшая и малая, на которую равно тратил свою ненависть Свифт, беспощадно здесь выставлены. Но на тех же страницах, на глазах у читателей злоба как начало преодолевается. Она преодолевается прежде всего простым и добротным складом натуры Гулливера. Его мнение, мысли, чувства — все его состояние целиком подчинено внутреннему рисунку, ясно выступающему вначале. Много часов Гулливер пролежал, по рукам и ногам связанный, и вот, наконец, его доставили в лилипутскую столицу, привалили к стене, обрезали веревки... Гулливер поднялся. На душе у него донельзя мрачно. И понятно: ноют затекающие члены. И взгляд его мрачен. Крики толпящегося где-то внизу и потрясенного народа еще больше усугубляют мрак. Гулливер прошелся, размялся, посмотрел вокруг — и «должен признаться», — говорит он уже совсем иным тоном, — мне никогда не приходилось видеть более привлекательного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом...». И Гулливер стал совсем другим, он забыл недавние тяготы своего положения, он всматривается в новый для него вид, который правильным чередованием садов, полей и перелесков, наверное, напоминает ему в миниатюре родную Англию. Мрак рассеялся — открылась живая перспектива.

Лишь однажды кажется, будто Гулливер коснеет во злобе на человечество. Это когда он попадает к йеху. От двуногих тварей исходит сплошной смрад. Недаром, однако, есть сведения, что эту часть «Путешествий» Свифт написал во время длительной поездки верхом. Заядлый лошадаик, великоколенный ездок, которому в молодые годы предлагали с успехом служить в кавалерии, Свифт не бросился от мизантропического отчаяния в образцово устроенную страну, какую-нибудь механическую республику (над этим он успел посмеяться, он также в это не верит). Нет, Свифт сделал противоположное йеху — гуинггимоу, лошадей: то, что было близко ему самому, что составляет у англичан национальную страсть. Не где-то, в абстрактных построениях и принципах, ищет он жизненной опоры, но все там же, в родной почве. Ведь каждый раз Гулливер все-таки возвращается домой, хотя его создатель, «ученый доктор С.», имел как-то непростительность воскликнуть:

Бежать бы из страны глупцов,
Страны рабов и подлецов!

Именно особам, объятых такой гордыней, Гулливер, завершая свои «Путешествия», не советовал попадаться ему на глаза. Да, позиция Гулливера столь великодушна и величественна, что и сам Свифт не всегда оказывается способен дотянуть до нее.

—

Владилен Травинский

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

«Пусть мое письмо не покажется вам кляузой ученика, обиженного на учителя, поставившего ему двойку. У меня нет таких обид, потому что нет и двоек».

Ну и что же? Сейчас нет, а два месяца назад была «несправедливая двойка», «ни за что двойка»... Два месяца назад учительница поставила вам, Галя, двойку, а вы, скажем, девочка мстительная, вот и дождался момента: старая женщина устала к шестому уроку, забылась, вырвалось у нее злое слово, и вы, Галя, воспользовались случаем. Вечерком с помощью кого-нибудь постарше и поопытней написали это письмо. Может быть, так оно и есть?

Вполне может быть. Кляузы пишут не только в пятьдесят, но и в десять. Кляузы — дело безопасное, за них с работы не выгоняют и из школы не исключают. А побаваться кляузника, даже малолетнего, будут: ну его к черту, напишет куда-то, комиссии понаедут, пока разберутся — изву желудка получишь! Есть такие... любители: чтобы их боялись хоть за что-нибудь!

«Первый раз в жизни мне захотелось надерзить учителю. Но я сдержалась, помня, что, унижая других, мы унижаем и себя».

Первый раз, Галя? Возможно, возможно... Вы хотели унижить учительницу, но решили, что это унизило бы и вас? Гм... Вы были способны обидеть учительницу? Как? Каким образом? Это не так уж легко — унижить старую, почитаемую учительницу, она сумеет за себя постоять...

Вы пишете далее, Галя: «Олимпиада Григорьевна Сазонова, по всей вероятности, изобрела свой способ обучения — ругань. Признаюсь, такой ругани я еще никогда не слышала... ее новый метод обучения, право же, не дает хороших плодов».

Вот как? А за что же учительница Сазонова заслужила общее признание? За ругань? Ругается — и плохо обучает? Грубая учительница Сазонова, плохая учительница Сазонова — она же пользуется, как вы утверждаете, общим признанием? Трудно верить, Галя, трудно верится...

Мне многое не нравится в вашем письме, Галя. У вас разозленное письмо со сплошными обвинениями и с полным отсутствием самокритики. Ужасная Олимпиада Григорьевна прямо-таки затиранила несчастную Гаю Санину. Но, судя по письму, вы тоже можете постоять за себя, вы не глупы, вы достаточно самолюбивы и самоуверенны.

И тем не менее... Даже если вы целиком ошибаетесь в оценке вашей учительницы физики, даже если вы вдвое преувеличили остроту конфликта, если даже в раздражении додумали за Олимпиаду Григорьевну половину тех слов, которые она вам «сказала», даже тогда вы правы. Никто, даже самый заслуженный гражданин страны, не смеет бросать грубые оскорбления в лицо семнадцатилетней девушке, сидящей к тому же за школьной партой. Прямо на уроке, в присутствии всего класса?..

Нет, надо поехать!

Я стою в пустом 10 «Г» классе и стараюсь навести порядок в том, что извлек из бесед с педагогами и учениками. Сазонова — прекрасная учительница, об этом мне говорят со всех сторон. Правда, без подробностей: прекрасная — и все. Ее знают чуть ли не все. Она обучает третье поколение горожан — внучат первых ее учеников. Значит, у нее училась и мать Гали Саниной.

Человек, восемь лет наблюдавший за Галей, ее бывший директор по восьмилетке, назвал ее образцовой ученицей. Умна — такую характеристику девочки в устах педагога услышишь не часто. Хорошо рисует. Начитанна. Я вспоминаю письмо Саниной — без единой ошибки, написанное четкими литературными оборотами. Почему это я решил, что писала она не одна?..

Я ловлю себя на том, что меня мучает какая-то неформившаяся мысль. Ах да, разговор в самолете! Этот полный, с благожелательным лицом попутчик. Мы разговорились; он выслушал историю Гали и поднял на меня глаза с искренним удивлением:

— И из-за этого вы летите за тысячу верст? Из-за такого пустяка? Даже если все было так, как пишет девочка, — какие мелочи! Это же несерьезно!

Любопытно, что бы сказал директор школы? Тоже «несерьезно»?

Я последний раз оглядываю пустой класс. Итак, Галя сидела вот здесь, перед самой учительской кафедрой. Олимпиада Григорьевна объясняла урок. Перед Галей лежала тетрадка, обернутая в обложку «Крокодила». На обложке Галя прочла смешное объявление («Нарочно не придумаешь»), улыбнулась и подвинула тетрадку к соседу по столу. Юноша тоже прочел объявление. Тоже улыбнулся. И тогда Олимпиада Григорьевна прервала объяснения.

«И вдруг на весь класс загремела речь Олимпиады Григорьевны о том, что я мешаю классу заниматься, что я пришла в школу флиртовать, что весь урок строю мальчишкам глазки и улыбаюсь, что сосед мой мне, наверное, очень нравится и я хочу своим поведением понравиться ему, что в глазах ребят я выгляжу ригатушкой и душой, что подобное поведение ведет к дурным последствиям.. Она не назвала меня только куртизанкой».

Так пишет Галя.

...Петр Петрович Глебов, директор 1-й средней школы, выглядящий спортивным тренером, лишь вчера ушедшим со стадиона на пенсию. Санина? Очень хорошая ученица! Рисует, пишет, умна, активна. Сазонова? Очень хорошая учительница! Знает предмет, деловита, оперативна, строга.

— Строга? — переспрашиваю я. — Очень?

Директор смотрит на завуча. Потом оба внимательно смотрят на меня.

— А в чем, собственно, дело? — медленно спрашивает Глебов.

И я рассказываю. Я говорю намеренно сухо, протокольно. «Есть сигнал... Есть факт... Есть мнение...» Я стараюсь быть объективным. Я понимаю: у них почти тысяча учеников, полсотни учителей, бездна дел, обязанностей, нагрузок и конфликтов. Директор школы и завуч не менее занятые люди, чем директор большого завода и главный инженер. И, злясь на самого себя, я уже почти готов услышать опять: «Это же мелочи! Стоило ли из-за такого пустяка ехать из Москвы?»

Петр Петрович поднимает голову. Взгляд у него тяжеловатый и жесткий.

— Неприятно, — говорит он. — Плохо!

— Я Галя помню вот почему, — говорит завуч. — У нас работала много лет Ирина Федоровна, учительница немецкого языка. Ушла на пенсию. Заболела. Рак. Три месяца очень мучилась. И Галя от нее не отходила. Как дочь. Кормила, поила, стирала. Придешь навестить Ирину Федоровну — Галя обязательно в комнате, шьет что-нибудь, готовит. У нее на руках старушка и померла. — Завуч помолчал. — А Олимпиада Григорьевна — прекрасный преподаватель. Жалоб на нее ни от учащихся, ни от родителей ни разу не поступало. Много лет была секретарем парторганизации в школе. Чуть ли не на всех городских собраниях ее выбирают в президиум. Вот так-то, — заканчивает он.

— Как? — спрашиваю я.

Завуч разводит руками.

— Вы думаете, что Сазонова не могла так поступить? — напрямую спрашиваю я.

— Олимпиада Григорьевна строга, — осторожно говорит Глебов. — Высказывает всегда то, что думает. Пряма иногда до резкости. Но чтобы оскорбить... Не верится!

— Может быть, Санина солгала в письме? — предлагаю я.

— Санина? Вряд ли. — Глебов пожимает плечами. — Непонятно. Неприятно.

— А если все-таки подобный случай имел место?

— Очень плохо! — отрубает директор.

— Плохо! — медленно подтверждает завуч.

День идет к концу. Зимние белесые сумерки затопляют город. Уличных фонарей здесь нет: улочкам достаточно света из окон. Заиндевшая лошаденка шагом тянет по улице старенькие сани; отчаянно сигнала, ее огибают грохочущий самосвал, и шофер с высоты своего сиденья кричит что-то вниз, вознице в санях. Тот лениво машет рукой — обогнал, мол, и поезжай с богом, нечего орать.

...Отец Гали спился и бросил семью несколько лет назад. Года два тянулись грязные ночные скандалы; ревели, забившись в угол, Галя и меньший ее братишка; в голос плакала мать. А потом, наверное, «участливые» бормотания соседок: «Ах ты, сиротинушка, безотцовщина...» И намеки-полунамеки: «Не зря, видно, ушел-то...» И необходимость усиленно оберегать честь семьи, каждого из трех ее членов. Наверное, отсюда обостренное и разросшееся

самолюбие? Мнительность? Болезненная чувствительность?

Стоп! Куда это меня заносит? Почему мнительность? Почему болезненная чувствительность? Галя ничего не додумала: она слово в слово повторила то, что сказала ей Сазонова. Одноклассники Гали подтверждают: да, Олимпиада Григорьевна высказалась именно так. В этот раз — Гале. А раньше говорила другим, то же самое, с незначительными вариациями.

У Гали — обыкновенная, естественная реакция на оскорбление. Это у Олимпиады Григорьевны противоестественная манера браниться на уроках. Откуда она? Плохой характер? Сдали нервы? Ведь раньше этого не было. Ведь мамы и бабушки нынешних школьников в один голос утверждают, что в их времена они оскорблений от Сазоновой не слышали, что любили они Олимпиаду Григорьевну и благодарны ей за науку.

Я уже смутно предугадываю отгадку. Но для полного понимания мне нужно лично поговорить с Олимпиадой Григорьевной Сазоновой. Поговорить неофициально, не в школе. Поговорить дома, с глазу на глаз.

И дом — вот он.

Мне открывает невысокий узколицый юноша.

— Мама, — кричит юноша, — к тебе!

Я захожу в большую, светлую комнату, меня сажают на высокий стул, и начинается наш разговор. У нее художавое интеллигентное лицо с небольшими ясными глазами, легкая седина в волосах. Четкая, размеренная дикция.

И с первой же минуты разговора она коротко отвечает на главный для меня вопрос. Отвечает, сама не зная того. Отвечает, потому что она, оказывается, не помнит!

Да, да, она на самом деле не помнит, я не ошибаюсь! Она с искренним старанием морщит лоб:

— Когда? Кому? Саниной? Не помню, убей бог, не помню!

Она не помнит. Галя Санина пережила душевное потрясение, а Олимпиада Григорьевна не помнит. Не отложились в памяти мимоходом сказанные слова. Сказанные между прочим. Для Олимпиады Григорьевны выговор, сделанный отвлекающейся ученице в 10 «Г» классе, — обычный выговор. Обычный по существу и по форме. Поэтому она не помнит.

— Галя пишет, что вы оскорбили ее, — говорю я. — Пишет, что вы называли ее душой, намекнули на развратность ее поведения. И что вы сделали это перед всем классом. Галя даже хочет уходить из школы со стыда.

Медленная краска заливает лицо Олимпиады Григорьевны.

— Вы знаете, — говорит она, — до меня только сейчас доходит. Я ведь им столько помогала, Саниным! Когда муж ушел, мать Галину я на работу устраивала, своим авторитетом всюду поддерживала. А у матери, знаете, тяжелый характер... И сколько раз я за нее заступалась... И вот благодарность!

Олимпиада Григорьевна теребит край шали на плечах: в новом доме еще холодно.

— Это мать! — говорит она убежденно. — Галя — ребенок, ее, конечно, направили. Между прочим, Галя — умная девочка, хорошая.

— Она пишет, что вы не называли ее только куртизанкой, — напоминаю я.

— Что вы! — удивлена Олимпиада Григорьевна. — Я не могла так говорить! Ну, конечно, сделала замечание — Галя часто отвлекается. И в самом деле: один раз поговорила с мальчиком, второй раз, — надо

же одернуть! Что уж, мы, учителя, и замечание не имеем права сделать?

Она волнуется, она очень волнуется. И потому выходит нескладница: то вспоминает обстоятельства злополучной сцены, то быстро рассказывает о каких-то людских неблагодарностях, то вдруг занимает примитивно-оборонительную позицию: «и замечания уж нельзя сделать»...

Я встаю. Что мне ей сказать? Что нельзя оскорблять учениц? Она знает об этом и без меня.

Не надо очных ставок. Никакого преступления не совершилось. И я не следователь. Не надо лишних слов, слез и нервного трепка. Не в этом суть, не в этом дело, Олимпиада Григорьевна!

И вот последняя встреча дня — с Галиной мамой. Она сидит на кровати, шьет, говорит, не поднимая головы. В общем, она недовольна.

— Зря Галка письмо послала. Хоть бы посоветовалась. Ну, прикрикнули на нее, так ведь с ними строгость нужна! Подумаешь — обидели! В наше время на такую ерунду и внимания не обращали. А Сазонова — стоящая учительница, я у нее училась и, кроме добра, ничего от нее не видела.

Галка упрямо молчит: спор, видно, давний.

Она тоже теперь считает, что зря послала письмо. Надо было сначала поговорить с Олимпиадой Григорьевной. Или сходить в райком комсомола. «А то получилась какая-то паника». Больно уж она тогда расстроилась. За что так ее? А в общем-то и не жалеет. Тут дело принципа. Какого? Это она точно не знает. Но принципа.

Я не ошибся — она немножко самоуверенна. Много знает. И еще не понимает, что знанием, полученным из книг и от учителей, нельзя еще гордиться, как качеством характера, выработанным силой воли — целеустремленностью, скажем, или выносливостью.

— А теперь я журналистом быть раздумала, — говорит Галка. — Когда умирала Ирина Федоровна, я так настрадалась! Так было страшно, и злость брала: неужели ничего с этим раком нельзя сделать? И я решила: пойду в медицинский. Надо бороться с опухолями. Как вы считаете?

Как я считаю? Я считаю, что и с опухолями надо бороться и еще со многим другим... Очень много затеи на свете, очень много надо бороться.

Вот выросла ты, Галка, хотя и бросил вас отец и мать тянула одна. Да и не одна мать — учителя кто сколько мог помогали тебе подняться: покойная Ирина Федоровна, Глебов, та же Олимпиада Григорьевна не раз приходила на помощь в трудный момент. Они вытянули тебя — и стала ты розовощекая, рослая, знающая, видящая и понимающая большущий наш мир и спокойно сейчас выбирающая, идти ли тебе в журналисты или бороться с опухолями.

И тебя нельзя обижать, ты требуешь, чтобы тебя не обижали! Самое интересное именно в этом: ты требуешь, чтобы соблюдали нормы морали как раз те, кто тебя этим нормам и обучил. Олимпиада Григорьевна — она и ее коллеги научили Галку чувству собственного достоинства. Они преподали Гале нормы поведения в нашем мире, и Галка поверила в них, уверовала в свои человеческие права и теперь с полным основанием требует их соблюдения.

Школа не только питомник общей культуры, она также рассадник культуры управления и подчинения. Первый начальник наш — учитель; первый урок общественной дисциплины — школьный урок. Нравственные основы отношений между выше- и нижестоящими закладываются именно в классе — изначальной ячейке общества, в которую приходит человек семи-восемью лет от роду и где он пребывает потом минимум восемь лет. Здесь мы впервые учимся подчиняться представителю общества. Здесь мы, сами того не осознавая, учимся и управлять.

А вдруг Галка поверит, что стиль управления Олимпиады Григорьевны правильный? Тогда, заняв со временем какое-то место в обществе, сколько неприятного принесет она своим подчиненным!

Из школ выходят не только плохие или хорошие люди, но еще и плохие или хорошие граждане. Достаточно вспомнить, как заботила Макаренко проблема управления и подчинения в педагогике! И если семена неуважения к людям, семена бездушия и жестокости посеять в детских и юношеских душах, то очень дорого может обойтись такая педагогика.

Сегодня мало быть знающим. Мало быть умелым. Сегодня надо быть добрым и мудрым.

Где-то учительница оскорбила ученицу. Где-то мастер цеха унижал молодого рабочего, где-то зарвавшийся администратор наорал на колхозника... Каждый отдельный факт — частность местного, так сказать, значения. А если их собрать вместе? Собрать вместе все эти «местные частности» в масштабе целой страны хотя бы за один день?

Ира, Галка или Катя разбирают на уроке нравственный кодекс строителей коммунизма. Они читают романы и повести, где проповедуется гуманизм, вера в творчество, уважение к человеку. Смотрят советские фильмы, слушают советское радио. Верят кодексу, романам, кинофильмам и радиопередачам. Страстно желают следовать излагаемым заповедям. И вдруг на уроке учительница не просто делает замечание семнадцатилетней девушке, а... Впрочем, вы помните же письмо Саниной.

Нет, Ира, Галка или Катя не перестанут верить всему, чему их учили. Но набегит легкая тень, возникнет — пусть ненадолго — раздвоенность: в книгах так, а в жизни иначе?

«В наше время мы на такие ерундовые оскорбления и внимания не обращали», — сказала мне Галина мама. Я верю: не обращали. Иные времена — иные нравы. Тогда некогда было обращать внимания на слова. Я даже вполне допускаю, что с девушками и юношами несколько десятилетий назад Олимпиаде Григорьевне было просто-напросто легче управлять. Мы жили трудно, мы работали жадно, как одержимые, в меру и сверх меры сил! И отвлекающих, уклоняющихся хоть на минуту — в бою или на уроке — мы одергивали резко не потому, что не уважали, а потому, что торопились.

Прошло полвека. Знания, с лихорадочной быстротой распространяемые нами в массах, распространились. Нормы морали, когда-то только декларируемые в отсталой и невежественной стране, превращаются в нормы быта. И вот — конфликт между хорошей учительницей Сазоновой и хорошей ученицей Саниной! Тон жизни огромной страны изменился, и Олимпиаде Григорьевне неизбежно приходится менять тон отношений с учениками.



Тамара Комарова

Улыбнитесь, шагните еще...



Заметки, которые мы здесь публикуем, не принадлежат перу профессионального литератора. Их автор — Тамара Комарова, педагог-воспитатель санатория, где лечатся дети с последствиями полиомиелита.

Это заметки о мужестве и душевной чуткости, вернее, о единстве этих понятий.

Если хочешь помочь человеку, надо подойти к нему так близко, чтобы ощутить его боль, как боль свою собственную, надо верить в него, в его волю и талант, верить наперекор тому, что «чудес на свете не бывает».

И тогда оказывается, что подлинная душевная чуткость оборачивается высоким мужеством. Проходят годы, и свершается чудо — чудо преодоления, казалось бы, непреодолимого.

«Я не знаю упругость дороги
И шершавых тропинок уют,
Как шагают счастливые ноги,
Как в дороге они устают».

(Из стихотворения нашей
воспитанницы Гали ГАМПЕР).

Первое, что сделали мои воспитанники, — это закидали меня вопросами:

— У нас во дворе мальчишки когда посмотрили «Шайку бритоголовых», то обрились и сделали налет на грузовик с мороженым. Почему они подражают бандитам?

— Есть ли такое лекарство — антилюблин?

— Как мы это до сих пор не добрались до Сатурна?

Пришлось рассуждать вслух. Ну, а почему Сатурн недосыгаем? Видимо, нет еще ракет, которые бы... «Нет, дело не в этом», — перебил меня хлопец, которого я в мыслях окрестила было «холериком». И тут полилась такая пространная и глубокая лекция о покорении галактики землянами, что я просто диву далась.

«Да, с такими не заскучаешь», — подумала я.

И вот вечером состоялся наш первый сбор. Было решено: пусть каждый представит себя коллективу, кто он и откуда и какие у него способности. Стали выбирать ведущего. Девочки сразу же, не задумываясь, предложили:

— Аллу Титову.

Алла аж покраснела от такой чести, стрельнула глазом в сторону мальчишек и сказала решительно:

— Итак, начинаем. Предлагаю название сбора — «Талант, проклонься!». Кто против?

Общим смехом проголосовали «за». Стало оживленно и весело. Знакомство началось.

— Оля Волик. Люблю математику.

— Люба Яковлева. К вашим услугам. Петя — пожалуйста. Писать стихи — пожалуйста. Вести концерты — тоже пожалуйста.

А на мальчиков Алле пришлось вести наступление.

— Мы в скорлупках, — сопротивлялись они. — Талантов никаких.

— А если подумать? — настаивала Алла. — А если серьезно?

Постепенно все повылезали из своих скорлупок.

Таланты проклеивались даже быстрее, чем предполагалось. Вначале я боялась, что моих воспитанников, которые, как правило, среди здоровых сверстников держатся в тени, трудно будет раскатать. Ничего подобного.

Случалось, даешь какой-нибудь девочке роль для выступления на сцене. Она не соглашается ни в какую, а сама ждет: «Попросите меня об этом, очень попросите, я так хочу слышать, что я что-то могу, что во мне нуждаются». Если поймешь ее состоя-

ние, она готова исполнить что угодно, даже танцевать.

И так словно распрямляются их скованные способности и возможности. Они становятся смелее, увереннее в своих силах.

Тихий, застенчивый Юра Левадный, к собственному изумлению, надел мундир с эполетами гвардейского поручика и сыграл роль Лермонтова в драматическом этюде «Кавказский пленник». И дикция у Юры не блестящая и голос не громкий, даже раза два споткнулся. Но как его слушали!

На мой взгляд, сотворение Юры — Лермонтова (его так потом и звали до конца заезда) — настоящий педагогический подвиг воспитательницы Валентины Ивановны Ширевой.

Видимо, как художнику надо родиться художником, так и педагогу — педагогом. Ни один вуз не научит, как подойти к человеку и как вернуть ему душевное равновесие в минуту растерянности. Каких-то определенных рецептов в этой ортопедии психики нет. В каждом случае — свой...

Подхожу — плачет.

— Что с тобой, Алла?

Плачет. И так горько-горько, что сердце сжалось. Наконец спрашивает:

— Вы видели Миладу из 5-го ревматического? Правда, красивая?

— Да, — недоумевающе согласилась я. — А зачем плакать?

— Какие у нее платья пышные, с оборочками! А ходит как! Все мальчишки на нее смотрят, будто она небесное создание. А тут ковыляешь, как гадкий утенок. Полиомелитик... Какое обидное слово. Меня никто не полюбит никогда! — выкрикнула она в отчаянии и опять уткнулась в подушку.

И жалко девочку, а попробуй пожалей, — рыдать будет еще несколько дней, а потом опомнится, возьмет себя в руки и возненавидит меня за эту жалость. Или еще хуже — замкнется в своем горе.

И я сказала:

— Ни к чему это самобичевание. Я понимаю, это очень горько и обидно все время ощущать свой недостаток. Но надо уметь и забывать о нем.

— Главное, на умственные способности эта болезнь не влияет, — услышали мы голос невесты откуда взявшегося «холерика» Сережи. — Знаете, сколько я медицинских книг прочитал, даже исторические примеры могу привести. Вот Вальтер Скотт тоже болел полиомелитом, а какие книги писал! Читала «Айвенго»? Нет? Обязательно прочитай! А Рузвельт, президент Америки, въезжал в Белый дом на коляске.

Это вмешательство было очень кстати.

— Он правильно говорит, — подтвердила я. — Человек — это же не только руки и ноги, хуже, когда он на голову хромает. А ты девочка одаренная.

— Точно, точно! — завопил Сережка. — Сколько девочек вполне могут обойтись спинным мозгом, головной им ни к чему! А ты вон как здорово вела КВН, лучше, чем по телевизору. Я тоже верю, что через какое-нибудь столетие наши сверстники после завтрака будут совершать прогулки на созвездие Большого Пса или в ковш Малой Медведицы. На санаторном космодроме выстроятся светолеты, а на «ТУ» будут перевозить — что бы ты думала? — морковку!

— Кстати о походке, — снова заговорила я. — У нас была одна девочка, которая сама ее вырабатывала. По врачебной шестибалльной системе неко-

торые мышцы ее больной ноги имели двигательную активность на троечку, не больше. Она же, рассуждая логически, стала ступать, равняя здоровую ножку по больной, а не наоборот. Следила за каждым своим шагом.

— Как бы поставила в мозжечок дополнительный контрольный центр, — вставил словечко Сережа.

— На это ушли месяцы. Но сейчас она не раскачивается при ходьбе. Правда, ходит медленно. Такое впечатление, что походка со странностями, но мало ли странных походов!

Алла слушала и постепенно успокаивалась. Наконец всхлинула последний раз, вздохнула глубоко и... улыбнулась. Гроза миновала.

А через некоторое время мне в руки случайно попала потерянная таинственным С. записка к некоей Алле. Там было написано: «Алла, прими этот букет. Я очень люблю цветы и готов их дарить тебе всю жизнь». По почерку я узнала Сережку. И сразу стала понятной одна история.

Сережа — командир штаба зеленых патрулей. Посмей только веточку сломать, сразу же будешь пойман Сережинскими «детektивами» и приговорен «молнией» к дереву. Поэтому, когда весь овраг за корпусом стал бело-розовым (это зацвели абрикосы), никто даже не подумал рвать цветы.

И вдруг в палате старших девочек на тумбочке той самой Аллы, которой мы с Сережей давали «бодрин» в минуту слабости, появилась не одна какая-то веточка, а целый букет нежных абрикосовых цветов. Сколько было толков, что это — дело рук сельских парнишек. А вот кто, оказывается, «автор» букета: сам командир зеленых патрулей!

Я решила поговорить с этим рыцарем тет-а-тет, конечно, без ссылки на записку. Просто взяла его «на пушку». Виножник не стал отнекиваться или оправдываться. Наоборот, он захватил инициативу и первым пошел в наступление.

— Уста мужчины открываются для того, чтобы солгать. Так сказал великий Талейран, — начал Сережа с галантностью. — Но я буду говорить правду и только правду. Вспомните, Тамара Степановна, вы тоже были когда-то молодой... простите, шестнадцатилетней. И вам тоже первый раз в жизни дали цветы.

Вот хитрец, начинает бить на эмоции! А первый букет действительно остается в памяти. Правда, в моем были не цветы, а камыши, целая охапка. С каким изумлением я смотрела тогда на это коричневое, с бархатистой кожицей чудо!..

А Сережа продолжал философствовать о косности взрослых, у которых якобы с годами уходит свежесть восприятия жизни, и о том, что оставаться чуть-чуть ребенком, как сказал поэт, «есть высшая на свете зрелость».

Все Сережинские дипломатические ходы удались. И когда воздух стал настоящим на аромате цветущей сирени, то она как бы переселилась с санаторских аллей в девчоночьи палаты. С Сережей я договорилась только, чтобы он несколько «регулировал» рожденный мальчишечьим рвением цветочный поток.

Сережа заметно изменился, перестал говорить девочкам «Оглохни, старуха!» и играть на нервах у воспитателей. Ребята, которые обычно подсмеивались над парочками, уважали чистую дружбу и влюбленность Сережи и Аллы. Сережа даже признался, когда уезжал, что это у него «насовсем». И еще он со значительным видом читал Евтушенко: «Лучшие мужчины — это женщины» и

«Когда по трусости мы станем ежиться, напомним женщины, что мы мужчины».

Ключ к этой туманной декламации открыла сама Алла, рассказав, как однажды Сережа разоткровенничался, что его не любят в семье и потому он чувствует себя никому не нужным, как он выразился, «задоенным» судьбой. Отсюда скепсис, желание судить обо всем с позиции своего щенячьего хвоста. Алла же сказала ему:

— Все это ты на себя напускаешь. Ты хороший. И потом, ты же мальчишка. А мне что остается делать?

Потом Алла воевала с девочками, уговаривала их не отталкивать Сережу насмешками. Сережа словно оттаял душой. Нежданно пришло и первое чувство.

Как-то мальчишки заспорили:

— Ненавижу свои ноги: как ватные. Потерянная моя жизнь! Да и какую она может быть у человека, если ему все время ходить на костылях?

— Ну вот, разнылся! — подал голос другой. — Ты бы больше спал. Тебе сделают массаж, говорят: «Иди на веранду, подвигайся». А ты: «Посплю пять минуток», — потом еще пять, и так весь день. Только хвастаешь, будто в оркестре на трубе играешь и задачки на электросхемы решаешь, как семечки щелкаешь. Надо бороться, а ты чухаешься. Предлагают тебе операцию — ты трусишь. А по мне так: пусть она хоть до ночи длится, лишь бы сделали.

У многих сбываются их мечты. Несколько лет назад на одной из палат появилась табличка с предупреждающей надписью: «Тише. Идет операция!» Скольким пациентам наши врачи возвращают счастье шагать по земле! Недаром «дорогими волшебниками из Холодной балки» назвала их в одном письме мать, восхищенная результатами трехмесячного лечения своей дочери.

А эффект бывает поразительный: привозят ребенка недвижимого, его вносят в корпус на руках, а уезжает он, ступая своими ногами, без посторонней помощи.

Арсенал «волшебных» средств немаленький: это и рапные ванны Хаджибейского лимана, его лечебная грязь, массаж, лечебная физкультура, — но самый большой эффект, особенно при старых формах полиомиелита, дает, конечно, хирургическое вмешательство.

Меня особенно поразило мужество одного мальчика — Валерия Павлюка. Это нужно представить себе — 13 лет борьбы с последствиями полиомиелита. Валерик перенес сложнейшую операцию. Этот слабенький, словно просвечивающий в своей худобе мальчик держался так стойко, что врачи дивились: откуда у него силы берутся?

Когда я пришла в послеоперационную, Валерик лежал очень бледный, но внешне спокойный. А рядом плакал розовощекий (даже операция не смогла согнать с него румянец) Вася. Плакал крупными, как горошины, слезами. Они скатывались по щекам, но он даже не замечал этого, весь погруженный в свои болезненные ощущения. И Валерик еще уговаривал соседа: «Перестань, Василек. Не так уж и больно». А у самого, наверное, ой, как болела в гипсе нога, тем более что у него не только мышцы пересаживали, но и дробили кость. Эти два-три послеоперационных дня хуже самой опера-

ции. Но у Валеры хватило силы воли забыть о боли. Он даже о соседе подумал и сыграл с ним партию в шахматы.

Еще раньше Павлюку оперировали позвоночник. Валера по три часа лежал абсолютно неподвижно на спине. А когда через несколько месяцев приехал в санаторий снова, то с гордостью говорил:

— Смотрите, какой позвоночный столб у меня крепкий!

И приседал, вынося одну ногу вперед, под прямым углом к корпусу. Попробуйте-ка, здоровые люди, так присесть, и то не получится без тренировки! А чего это стоило Валерию!

Однажды Валерий попросил у нас фотоматериалы и увеличитель, и вскоре 12-я палата превратилась в настоящую лабораторию: здесь проявляли пленку и консультировались ребята со всего санатория. Отправляясь у воспитателей, мальчики обычно говорили:

— Мы в фотоклуб, к Валерику.

Позднее именно здесь стихийно родился ансамбль «Веселые ребята». Именовали они себя так из солидарности с неунывающими музыкантами, выходящими победителями из всех жизненных переделок. Неповторимое своеобразие звучанию ансамбля придавали старый пионерский барабан, костяшки домино, мыльницы с песком. Единственным музыкальным инструментом, оправдывающим свое название, было корпусное пианино, расстроенное тысячами «собачьих вальсов».

Валерий был одним из ударников. До сих пор для меня загадка, как ему удалось сколотить эту «капеллу инструменталистов» и вдохновить на руководство ею сына одного из наших врачей — Мишу, студента музучилища.

Все ребята делали сами. Мы, чувствуя их жажду самостоятельности, дали им полную свободу. Интересно, что получится? Трудно сказать, кто с большим нетерпением ждал выступления ансамбля — дети или мы.

И вот этот день наступил. Из-за занавеса возникла мелодия песни. Грянули аплодисменты. У юных музыкантов, не поддававшихся искушению улыбнуться, были сосредоточеннейшие лица, на которых заглавными буквами было написано: «Думать о ритме! Не сбиться!» Они смотрели на невозмутимого Мишу, который, полуобернувшись, командовал: «Три-четыре».

Они были молодцами, мальчики и девочки, сочинившие текст эстрадного обозрения «Вокруг света» и исполнявшие самые современные песни.

Какой свежестью дохнул этот лирический вечер! Трудно передать его атмосферу. Летняя площадка. Звездное небо, такое низкое, что кажется, туда уходят и тонут звуки. Через забор заглядывают деревья, шепчутся между собой. Квартеты и дуэты — все шло на «бис». Но гвоздем вечера было соло Валерия Павлюка. Он был очень обаятелен, этот худенький мальчик, с косой челкой на лбу. Она лезла ему в глаза, он откидывал ее и вдохновенно, с подкупающей серьезностью пел «Песню о друге».

Он стоял за авансценой, опираясь на спинку стула, — ведь после операции прошло немного времени. Мы все вызывали Валеру: «Бис, бис!»

Глядя на него, я вспомнила автобиографическую повесть австралийского писателя Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи», где сын объездчика лошадей, мальчик с парализованными ногами, воспитал в себе такую волю, что научился даже скакать на коне. Жить так — своего рода подвиг.

Не помню, кто из врачей на летучке рассказал такое:

— Иду вперед, слышу: «Гуси! Гуси!» — говорит воспитательница. «Га! Га! Га!» — отвечают дети. «Есть хотите?» «Да! Да! Да!» Возвращаюсь назад через час. Та же картина. «Гуси! Гуси!» «Га, га, га». «Есть хотите?» «Да, да, да», — вяло отвечает хор.

Хотя упрек относился к воспитателям младших групп, но он справедлив для всех. У каждого из нас есть свои «гуси-гуси». Чем это объяснить? В какой-то мере недостаточно высоким уровнем нашей педагогической науки. На мой взгляд, самая большая беда в ней — то, что очень мало «педагогических поэм» и очень много педагогических догм.

Но было бы неверным объяснять неудачи только недостаточным уровнем развития современной педагогики. Многое зависит от личных качеств самого педагога. По-моему, самое большое зло в воспитании детей — а в особенности наших, с их впечатлительностью, обнаженными нервами, критическим мышлением, — это жалость и эгоизм.

Для эгоистичного человека работа с детьми будет каторгой. Ему нечего ждать, кроме трепки нервов и раннего склероза. Но бывает, что люди делают зло из добрых побуждений.

Разговор, который я хочу передать, возник в одиннадцатой палате старших девочек. В тот день здесь произошло событие — Галя Конарева сделала первые шаги. Первые! В девятнадцать лет, после полугодового заточения в гипсе. Сколько заездов сменилось в санатории, а Галя все еще ловила карманным зеркальцем солнечные зайчики.

Иная на ее месте превратилась бы в доморощенного философа-пессимиста, а она только подтрунивает над собой: «Чем мой синтетический корсет хуже металлического? Помните, как в «Гамлете» Офелия эту сбрую добровольно на себя надевала?».

И вот эта Галя мерит комнату робкими шажками. Держится за спинки кроватей, за подоконник. Девочки образовали кольцо помощи, волнуется. А она:

— Такое ощущение, что вот-вот упаду. Как на катке. Познакомьте меня с Протопоповым. Еще минута — и вы увидите вершину фигурного катания — тодес.

Раздался смех, как разрядка психологического напряжения. Радостный. Если не бояться громких слов, — ликующий. И в этот момент в палату вошла нянечка. Лицо ее исказила гримаса жалости.

— Ой, девонька, как это у тебя ноженьки не подкашиваются?

Все повернули к ней головы, посмотрели с недоумением. А потом и с возмущением. Ну и чуть не произошло ЧП, оценка которому дается очень легко: «Ох, и дети грубые пошли».

На протяжении всей сцены Галя не сказала ни слова.

— Ну и выдержка у тебя! — изумилась Анечка Трубнякова. — Как ты можешь молчать?

— А у меня хорошая вентиляция между левым и правым ухом, — ответила Галя. Она уже лежала на кровати непривычно грустная. — Выработалась привычка — не отвечать таким людям.

— А у нас в школе, — вступила в разговор еще одна девочка, — математичка вызовет меня к доске и посмотрит с этаким состраданием и виновато так говорит: «Я тебе троечку поставлю. Ты не будешь обижаться? Вот умничка». Троечку! Да я на двойку ответила. Зачем мне тогда в школу ходить? Ненавижу нашу математичку...

Задумывалась ли эта сердобольная учительница, с которой вступила в конфликт ученица, нянечка, омрачившая общую радость за подругу, что такая жалость отравляет жизнь этим девочкам?

От доброго ли сердца лезут в душу сапогом? Что может быть дальше от доброты, чем жалость? Наверное, только равнодушие.

Полиомиелит исчезает в нашей стране. Советские ученые, разработав чудесную вакцину, совершили подвиг. К тому же они испытали вакцину в первый раз на своих детях.

Наш санаторий меняет профиль — все меньше и меньше поступает детей, пораженных этим страшным недугом. Но от этого не легче тем, кто болен. И если малыши не понимают всей трагедии своего положения, то старшие очень страдают. И мы, понимая их переживания, стараемся поменьше оставлять их наедине со своими страданиями, чтобы они росли не обиженными на жизнь, а жизнелюбами.

Однажды перед своим отъездом группа ребят показала мне место, где хранятся их тайны. Там были и признания в «роковой» любви и шуточные походные призывы: «С нами бог и воспитатель». И мне они доверили сделать там свою запись. Я написала: «Дорогие мальчишки и девчонки! У каждого из вас будет свой ломоть жизни. Лишь бы аппетит был здоровый».

И, судя по тому, что рассказывают письма и судьбы наших бывших воспитанников, «аппетит» к жизни у них превосходный. Конечно, есть и такие, которые ленятся учиться и работать: мол, государство нас поит, кормит, пенсию даст. Но большинство занимает в обществе достойное место.

У них вырабатывается ценное качество характера — упорство.

Для Жени Кожуховской, например, математика была как горькое лекарство, давалась нелегко. Женья поступила учиться именно на физмат. Какой же радостью для нас всех было ее письмо:

«Можете меня поздравить. Я математик-вычислитель. Кстати, это — привилегированное положение, даже стипендия выше. Но придется работать больше, так как на нашей кафедре собрался весь «цвет» третьего курса. Все старательные, насколько может быть старательным студент».

Киевлянка Инна Муллер еще девочка, а ее стихи, рисунки, лепку знают многие киевляне. Об этой одаренной девочке снимается фильм.

А у ленинградки Гали Гампер вышел в свет первый сборник стихов «Крыши». Приехав в Ленинград, я с волнением увидела на одной из афиш, извещающих о вечере поэзии, среди таких поэтов, как Дудин, Вознесенский, имя Гали Гампер, много лет лечившейся в нашем санатории.

Михаил Дудин тепло написал в предисловии к «Крышам», как к девочке, которая видит мир только через колючий кактус своей судьбы, старик Андерсен прислал добрую фею поэзии и та научила девочку умению делиться с людьми певучим словом души.

Теперь эту песню слышали многие. Сколько доброты в этой девушке! Многим из нас она могла бы преподавать уроки мужества. Она, которая не знает, «как упруга походка людская», — говорит людям всем своим существом:

— Даже если мозоли и беды,
И от тяжести ломит плечо,
Вы счастливы!
Вы знаете это!
Улыбнитесь! Шагните еще...

—



Владимир Соколов



★
Что сердце! Оно по мне
Не этот комок в обрубках —
А бабушкин дом в весне,
Где притола в зарубках.
И девушка, как ничья,
Стоящая в отдаленье.
И снег и его ручья
Мерцательное биенье...

★
Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной... Должен быть сад,
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.
Должны быть большие сирени —
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.
И чья-то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.

★
Я не хочу объяснять
То, что и мне непонятно.
Можно ли так притеснять
Эти небесные пятна!..
Чистые, по куполам
Съехали, пали на землю.
Небо с землей пополам,
Я вас люблю и приемлю.
Как он бушует и спорит,
Как он беззвучно поет —
Солнцем пронизанный дворик
В каменной раме ворот!

★
Не смейтесь под окном, когда так грустно
в доме.
А впрочем, как вам знать, вы молоды
совсем.

Рассвет или закат на вашем окошке,
Вы знаете одно: так, значит, завтра, в семь!
Что может завтра в семь смертельного
случиться!

Разлука навсегда! Но это как восторг.
Как встреча с морем, зыбь, где может
приключиться
Лишь лучшее, чем то, что бог навек

отторг.
А впрочем, как вам знать, что я ломаю
льдины
Всех четырех сторон среди четырех углов.
А впрочем, у меня под окнами рябины,
Глубокие кусты с султанами цветов...

Поэты

Слегка отрешенного вида
Давно предрешенный герой,
Которого страсть, и обида,
И слава касались порой,

Прошел под ярмом светотени
По свету и скрылся в тени
Домов и огромных растений,
Один, как и в прошлые дни.

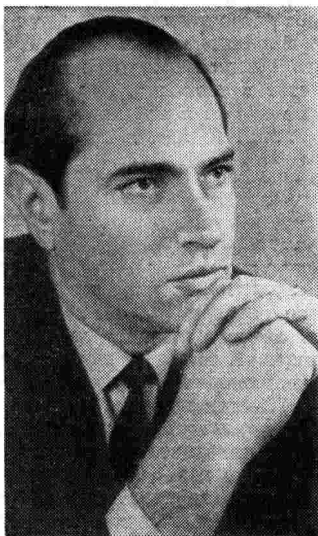
Я крикнуть хотел ему: здравствуй!
Но выяснил, глядя вослед:
Он сам понимает, что часто
У времени времени нет,

Что невероятная встреча
Обязана произойти.
Всем опытам мягко переча
И необорима почти.

★
Я рассказать хотел о нем,
Честнейшем среди всех храбрейших,
Храбрейшем среди всех честнейших,
Я рассказать хотел о нем.
Я рассказать хотел о том,
Как он вставал, как он ложился,
Как свет в глазах его двоился
И как раздвигался в нем.
Как грозно бедствовал поэт
И как Грушницкий и Печорин,
Тот робок, этот непокорен,
Явились в лад на белый свет.

★
Прошу тебя, если не можешь забыть
И если увидеться хочешь,
Придумай, о чем нам с тобой говорить
(Ты женщина — ты и хлопчешь).
О прежнем не скажешь моим языком,
Как дождик, оно перестало.
Увяло под беглым твоим каблуком.
Крапивою позарастало.

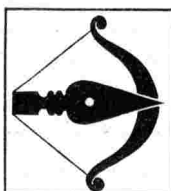
★
Прошу тебя, если надежд не унять
И тянет, убив, повидаться,
Придумай, как лучше тебя мне узнать,
Во множестве не обознаться.
Скажи: мой единственный, под фонарем
В толпе, задохнувшись от бега,
Стоять буду в шляпке — с вуалью, с пером,
В слезах прошлогоднего снега.



**Валерий
Аграновский**

СТУДЕНТ

(Заметки
о современном
студенчестве)



**ПУБЛИ-
ЦИСТИКА**

Печатается
в порядке обсуждения.

Студент — состояние временное.

Я тоже был студентом. Однако, ринувшись в вузовскую тематику, вдруг почувствовал смущение. Оказывается, современные студенты совсем «не те», с которыми я учился каких-нибудь пятнадцать лет назад. Стало быть, опираться на собственный опыт нельзя. Это с одной стороны. С другой — я неожиданно убедился, что многие нынешние вузовские проблемы как две капли воды похожи на «наши». Более того, они были и сорок и даже сто лет назад! «Вечность» проблем объясняется скорее всего временностью нашего пребывания в студенческом качестве. Мы приходим, потом уходим, легко растворяемся в новых делах и заботах, и нам уже не до вуза с его проблемами, хотя именно от нас, от «взрослых», чаще всего зависит их решение.

Впрочем, будем надеяться, что общество все же найдет в себе силы когда-нибудь кардинально заняться студенчеством.

После такого оптимистического предисловия я готов представить читателю главного героя моего очерка.

В ПОИСКАХ ЛЕБЕДЕВА

Сначала Лебедев был для меня одним из 4 миллионов 123 тысяч нынешних студентов. У него еще не было ни внешности, ни возраста, ни биографии, ни даже вуза, в котором он учился.

Затем, с каждым моим приближением, Лебедев обогащался конкретностью, но неизбежно терял в типичном. Мое прибытие в город Горький, например (одиннадцать вузов и 22 154 учащихся), сделало Лебедева уравниловкой горьковчанином, но зато лишило его одесской веселости, томской основательности и того налета столичности, который присущ московским студентам. Он учился в Горьковском университете имени Лобачевского (5 030 студентов) на радиофизфаке (1 215 человек), стало быть, получил право именоваться естественником и тут же расстался со многими качествами, характерными для гуманитариев и «технарей». Его четвертый курс (231 студент) отличался определенной маститостью: он уже преодолел малоопытность первокурсников, но еще не добрался до многоопытности выпускников, успевших утратить два главных студенческих достоинства: способность к развитию и полную неразвитость. Наконец, семьдесят семь человек с лебедевского курса были варягами, живущими в общежитии; Лебедев же оказался в числе большинства, имеющего родителей под боком. Таким образом, он «обеднел» на целый пласт густого студенческого быта...

Однажды он впервые предстал передо мной. Теперь у Лебедева было все. Но в его индивидуальности я должен был находить черты, присущие всем студентам, всем четырем миллионам человек.

ТРИ ЧАСА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Без пяти минут семь звенит будильник. Лебедев его игнорирует. Отца с матерью уже нет, за ними хлопнула дверь. Но тут поднимается двенадцатилетняя «Елена Павловна», сестра Лебедева, и спать уже невозможно. В ближайшие десять минут Лебедев проглатывает «фирменную яичницу», затем рассовывает по карманам пиджака общую тетрадь, разрезанную для удобства на три равные доли, и, крикнув:

«Елена Павловна, пишите письма!» — высказывает на улилу. Чтобы попасть в узкую дверь переполненного автобуса, Лебедев занимает в толпе место с таким расчетом, чтобы не тратить лишних сил. Его вносят. Как Цезаря вносили в Колизей. Через сорок минут ему предстоит выйти у решетчатой ограды университета, где мы его временно покинем, чтобы заняться некоторыми подсчетами.

В неделю у Лебедева сорок три часа официальных занятий. Сюда входят семинары, лаборатории и лекции — по две «пары» в день, по три, а то и по четыре, — это значит от восьми часов сидения в аудитории. Учитывая отличное состояние здоровья Лебедева и его молодость, не обремененную бессонницей, мы вынуждены отдать ему не менее сорока восьми часов на сон — по восемь в сутки. Дорога в университет и обратно занимает в общей сложности двенадцать часов в неделю. Даже при условии, что Лебедев не гурман и ест по принципу «шлеп-шлеп», еда отнимает тоже двенадцать часов: по два часа в день. Теперь за основу берем то обстоятельство, что из двадцати семи возможных оценок он набрал на экзаменах четыренадцать троек и лишь четыре пятёрки, на которые искренне не рассчитывал. Это значит: в течение семестра Лебедев «ничего не делал», как он сам говорит. Но четыре часа в неделю на лабораторную подготовку «вынь и положь» — без этого не может обойтись даже заядлый троечник. И еще шесть часов необходимо «мертво» тратить на курсовую работу.

Вот и считайте: у Лебедева остается в сутки (он говорит: «выпадает в осадок») три часа десять минут свободного времени. Не грех напомнить, что Лебедеву не восемьдесят, а двадцать один год. Попытайтесь втиснуть их в эти три часа, и вы поймете, почему Лебедев утверждает, что у него совершенно нет времени «на думать», а есть только время «на соображать».

Труд студента очень тяжел, хотя никто не пытался его взвешивать. Сколько мы говорим о разгрузке учебной программы, сколько мусолим этот вопрос, а где результат? Между тем каждый год с радиофизфака уходят, не выдержав перегрузок, не менее девяноста человек, среди которых, безусловно, есть способные, но еще не окрепшие ребята. И дело не столько в потоке научной информации, в котором можно захлебнуться и утонуть, сколько в нормальной организации студенческого труда. Как правило, Лебедеву приходится трижды «переплывать» одну и ту же научную тему: на лекциях, на семинарах, а потом еще дома по учебнику. Говорят, в Астрахани сделали безуспешную попытку упростить эту громоздкую систему, четко определив, какие научные темы следует изучать только на семинарах, какие на лекциях, а какие и вовсе исключить из курса. Но пока в Министерстве высшего образования ломают головы над составлением единой научно обоснованной учебной программы, студенты сами «принимают меры»: пачками удирают с занятий! Студент, не прогуливающий лекций, — это восьмое чудо света. Полагаю, сам министр высшего образования не бросит в меня камень за это утверждение, если был студентом.

...Вы помните, читатель, мы расстались с Лебедевым, когда он вошел в решетчатые ворота университета. Он выйдет оттуда много раньше официального конца занятий. Выйдет не один: или в компании товарища, или в сопровождении некоей студентки третьего курса, дальнейшие расспросы по поводу которой я счел бы неактуальными. Они пешком дойдут до площади Минина, это пятнадцать минут хода, и по дороге у них будет одно кафе и три кинотеатра: «Рекорд», «Октябрь» и «Палас». А если они сядут в

троллейбус, то через две остановки — Волга, на которую открывается невероятной красоты вид с высокого и крутого берега. Потом Лебедев вернется домой, на цыпочках пролезет в свою комнату, почтает на сон грядущий Лема и где-то в районе двенадцати часов ночи уснет крепким и здоровым сном праведника.

ИНТЕРЕСЫ

Что делали бы студенты, если бы у них появилось дополнительное свободное время? На этот вопрос отвечает анкета, распространенная среди ста радиофизфаковцев. Шесть человек сказали, что ничего бы не делали, валялись бы на кроватях, думали, набирались сил. Шестнадцать человек толпой повалили бы в кино, театры, музеи, — и действительно, на каждого студента университета падает двухразовое посещение кинотеатра в неделю. Семнадцать человек занялись бы более глубоким изучением любимых наук. Ни один студент, как ни странно, не пожелал использовать дополнительное досуг на общественную работу. Двадцать студентов сказали, что занялись бы спортом или туризмом. Двое отправились бы на подработку: туго с деньгами (хотя я знаю, что туго не только двоим). Десять человек занялись бы конструированием. Два студента выразили желание пойти на танцы, а остальные заявили, что стали бы читать художественную литературу, но, откровенно говоря, мне очень хотелось бы знать, что они под этим подразумевают.

К данным анкеты остается добавить, что мечты студентов о дополнительном досуге, выражаясь осторожно, находятся на грани с реальностью.

Но вернемся к Лебедеву. На пятый день нашего знакомства я случайно узнал, что он играет на фортепиано, — не бог весть какое открытие.

Затем я выяснил, что на курсе никто понятия не имеет о том, что Лебедев хорошо играет на пианино. Четыре года его знали как безотказного художника, которого можно запрячь в любую редколлегия, и он действительно рисовал отменно. Портрет, который вы видите на следующей странице, является его автопортретом. Правда, Лебедев себя немного «перезнал» и «пересерьезнил», на самом деле у него более мягкие глаза, в уголках губ спрятана ироничка, и вообще во всем его облике нет такой монументальности, он живее и проще. Что же касается «музничества», то Лебедев считает его стыдным своим увлечением.

Он не умеет быть центром компании и будоражить людей, он садится обычно в угол и оттуда «кусается», как говорят ребята, — вставляет в разговор точные и едкие замечания и ко всему присматривается. Он любит покопаться в чем-либо, вникнуть в суть — не очень глубоко, а ровно настолько, чтобы удовлетворить свое любопытство. Однажды он купил губную гармошку, она до сих пор валяется дома, и долго изучал, как рождается в ней звук. Играть не научился, но «звук нашел».

К конструированию у него определенная тяга, и он убил много вечеров на то, чтобы собрать собственный магнитофон, как говорится, «из ничего». Зато к туризму относится прохладно. У него нет ни собственного штурмостюма, ни палатки, ни даже традиционной тетради с переписанными студенческими и туристскими песнями.

И все же, подводя итог, я могу сказать, что широка его интересов палица. И непременно кино, и театр, и музыка («Из классической я люблю ту, ко-

торая во мне остается, вот, например, «Лунную» Бетховена, а опера в меня не лезет...»), и рисование («Не понимал Гойю, а потом прочел его биографию — совсем другой художник!»), и спорт (он даже изредка ходит в секцию слаломистов), и политика, в которой каждый студент чувствует себя «чемберленом», и довольно серьезное конструирование, и экономическая реформа, о которой он может до хрипоты спорить с отцом («Мне — практику — видней, чем тебе!» — говорит отец), и художественная литература, правда, которая «покороче», и, конечно же, наука, предмет особой Лебедевской любви...

УРОВЕНЬ

Но уровень! Я много раз обращал и свое и его внимание на это обстоятельство. Меня никак не покидало ощущение какой-то незавершенности лебедевских устремлений: вроде и идет к чему-то человек, но всегда оказывается на полпути к цели.

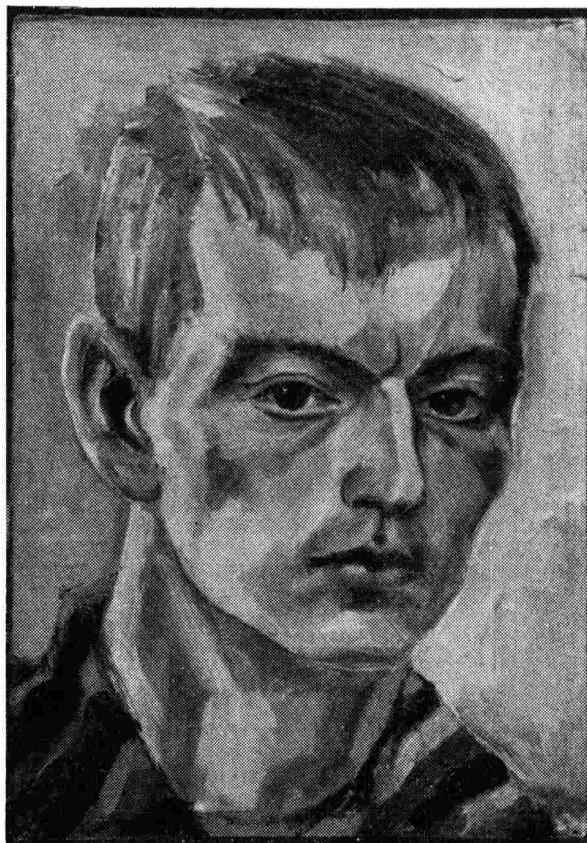
Причина, я думаю, кроется не столько в характере самого Лебедева, сколько в невысоких требованиях окружающей его среды. Студенты, к сожалению, охотней удовлетворяются остроумием, оригинальностью и так называемой «современностью» выводов, нежели их глубиной.

Возьмите художественную литературу. Лебедев, как и многие его товарищи, пользуется университетской библиотекой: дома у него двести пятьдесят томов специальной литературы по радио, физике и математике, и почти никакой художественной. Я не поленился и проверил библиотечные формуляры студентов, живущих в общежитии. И был смущен прежде всего узостью литературных вкусов. Если не Кафка, не Ремарк, и не Сэлинджер, то научная фантастика и приключения. И все. Толстой, Бальзак, Чехов, Шекспир, Пушкин — я мог бы перечислять так очень долго — Лебедевым до сих пор не прочитаны.

Помню, при мне однажды возник спор между специалистом-литературоведом и студентом, которого считали в университете знатоком поэзии. Это был красивый и здоровый парень в роговых очках, и хотя мы столкнулись с ним случайно, в его папке с бездействующей молнией, как по заказу, лежали томик Ландау и томик Корнилова. Я не хочу вдаваться в существо возникшего спора, скажу лишь, что студент был горяч, остроумен и, безусловно, оригинален, в связи с чем «срывал» симпатии присутствующих тут же сокурсников. Но когда литературовед выяснил, что его оппонент никогда в жизни не читал Фета, он сказал: «Что мы с вами спорим, если вы невежда?» «Мое невежество, — мгновенно парировал студент, — рождает непредубежденность, которой начисто лишены вы!» (Аплодисменты.)

Потом мы с ним разговаривали. «Как вы увлеклись поэзией?» — спросил я. «Прямая и обратная связь, — ответил он. — Сначала купил томики стихов наиболее модных поэтов, чтобы не отстать от жизни, а потом действительно ими увлекся».

К несчастью, мы не всегда понимаем, что даже самая современная мода есть готовый суррогат, не требующий от нас ни личного творчества, ни глубоких раздумий. Мода определенно стандартизирует общество: три танца на всех — пусть даже отличных, — два фасона одежды — пусть даже красивых, — пяток поэтов — пусть даже прекрасных, — а в конечном итоге один вкус, один образ мышления, одна позиция. И поспорить-то вроде не с кем и не о чем! Как сказал однажды Лебедев: «Просидели весь вечер, наелись друг друга, а говорили-то, в общем, одно и то же».



ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

Когда-то русские студенты носили куртки с синими воротничками, шпаги и двуглавых орлов на пуговицах. То были, по выражению Писарева, «вещественные знаки невежественных отношений».

Нынче отношения изменились. Студенчество давно перестало быть кастой, оно выходит из народа и возвращается в народ, да и вообще края у него размытые, поскольку заочники и вечерники тоже считаются студентами. Иными словами, я не взялся бы сегодня отличить студента — и не только по внешнему виду! — в толпе молодых людей.

И все же есть специфические качества, присущие именно студенчеству. К их числу я не могу отнести традиционную веселость и беспечность нрава, так как эти качества — чисто возрастные, одинаково характерные для всей молодежи. Можно сказать лишь о том, что они естественно сопутствуют ряду замечательных качеств, тоже присущих молодости. Студентам, к примеру, на роду написано нести в общество чистоту своих помыслов, честность стремлений, свежесть взглядов, бескорыстие и непримиримую ненависть к рутине. И озорство, и бескорыстие, и веселость, и честность стремлений — все это дети одного и того же родителя — молодости. И не нужно наивно полагать, будто образ мыслей молодого человека может быть юношеским, а поведение должно быть взрослым.

Вопрос этот, конечно, диалектический, у него есть «с одной стороны» и «с другой». Но если мы часто и вполне справедливо ругаем студентов за беспечность

и озорство, то не грех единожды робко напомнить о том, что нужна и наша удвоенная терпимость.

Какие же качества студентов можно считать специфическими? Говоря о них, я рассуждал бы так. Прежде всего наш Лебедев вращается в чисто духовной среде. Бесконечные споры, разговоры, поток мыслей, идей и фантазий — порою смелых и даже рискованных, часто оригинальных, основанных, как мы уже знаем, на вершковом изучении предмета, но зато обильно одобренных повышенной чувствительностью к социальным проблемам и ко всему, что происходит в стране и в мире. Но тем-то сильна и одновременно слаба духовная среда, что позволяет рождать и высказывать подобные мысли без необходимости подтверждать их поступками. Заявил, положим, с апломбом, что искусству пришел конец и что оно становится лишним, и после этого можешь спокойно брать билет в консерваторию. «Шумите вы, и только», — как сказал Грибоедов.

Учтите и то обстоятельство, что Лебедев самым характером своей деятельности как бы временно освобождается от обязанностей перед обществом, кроме обязанности учиться. Он не производит никаких материальных ценностей, и в его сегодняшней продукции общество не так заинтересовано, как в продукции молодого литейщика. Кормить Лебедеву тоже некого, у него нет ни жены, ни малых ребятшек. Стало быть, кроме моральной ответственности вообще, кроме сознательности высшего порядка, Лебедев в своей повседневности вроде бы ни от кого не зависит, как никто не зависит от него.

К сожалению, студенты довольно слабо используют свою свободу от тысяч житейских забот. К сожалению, мысли их часто бывают скорее мелкими, чем высокими, — пусть они на этот счет не очень-то обольщаются. И лишь в качестве страстного пожелания можно говорить о том повышенном чувстве гражданской ответственности за всех и за все, которое должны испытывать студенты.

Впрочем, некоторую поправку в это положение вносит целина. В прошлом году, летом, Лебедев побывал на целине, и, когда я спросил его, что она ему дала, он ответил: «Три здоровых коровника». «Да нет, — сказал я, — что дала целина вам лично?» «Я и говорю, — повторил Лебедев, — три здоровых коровника: посмотришь — видно».

Целая эпоха в жизни современного студенчества. Там, на целине, они попадают в положение реальной социальной ответственности, которую не ощущают в вузе. Им доверяют: дают несравненно большую самостоятельность, иногда даже полное самоуправление, по которому они давно изголодались. И вот тут-то все лучшие грани сегодняшних студентов начинают сверкать. Оказывается, они чертовски самолюбивы. И бескорыстны. И по самому высокому счету честны. И не терпят никакой косности, бюрократизма, демагогии. Когда однажды лебедевскому отряду в течение месяца не подвезли лука и чеснока, «извините, — сказал Лебедев, — такую трудность мы терпеть не намерены». Он пошел к директору совхоза и треснул кулаком по столу. А когда директор сказал, что был на свете некто Павка Корчагин, который «приказал ему кланяться», Лебедев ответил: «После обеда, в жару, когда нам приходится вновь подниматься и делать замесы, тогда в каждом из нас действительно сидит Павка Корчагин. Но когда по вашей вине у меня шатаются зубы, вы демагогию бросьте, сейчас не двадцатые годы, витаминов в стране хоть завались!»

Студентов не зря называют «социальным динамитом». Они подвижны и легковоспламенимы, потому что они молоды, энергичны, чувствительны. Между

тем учебный процесс, как таковой, еще мало способствует воспитанию гражданственности. Физическая или математическая формула, которую усваивает на лекции Лебедев, в своем «чистом» виде безразлична к людям, не несет в себе никакого морального содержания. Задача «очеловечить» естественные науки возлагается у нас на философию, но, как известно, прежде она преподавалась так, что ей еще нужно время, чтобы занять достойное место в учебном процессе. А пока сама жизнь воздействует на студентов с несравненно большим эффектом, пробуждая высокое чувство гражданственности. Помню, Зоя Владимировна Лебедева, мать нашего героя, однажды призналась мне, что ей пришлось изрядно поволноваться, когда сын убежал куда-то подавать заявление об отprawке добровольцем во Вьетнам.

Итак, заносчивость, апломб, стремление к оригинальности — и параллельно этому увлечение модой; озорство, беспечность — и свойственные юношеству оптимизм, бескорыстие, честность; добавьте к этому повышенную чувствительность при слабо развитом чувстве ответственности, и задачу стать хорошим специалистом, и небольшую глубину знаний при категоричности суждений, и стремление превратиться в настоящего гражданина — и вы получите букет, именуемый студенчеством.

ОТНОШЕНИЕ К НАУКЕ

Много лет назад — Лебедев учился тогда в пятом классе школы — отец подарил ему старый приемник «Рига-6» и паяльную лампу. Это было случайное, но счастливое сочетание: с помощью лампы мальчишка разворотил приемник, и вот так родился интерес, который со временем привел его на радиофизфак университета. Последние годы перед поступлением Лебедев уже не просто думал об этом факультете, а мечтал о нем. Цель Лебедева, хоть и не очень скромная, была достойной: создать в науке что-то свое, и, разумеется, значительное. Он сам сказал мне об этом, и я видел, что ему не просто было это сказать, во всяком случае, сегодня. Так или иначе, но на вопрос «Жалеете ли вы об избранной специальности?» я получил убежденное: «Нет, не жалею».

Через месяц после начала занятий Лебедеву попало на глаза объявление о заседании научного кружка. Он тут же пошел и был не единственным — их оказалось с курса человек сорок. Потом им предложили темы для докладов. Лебедев готовился тщательно, вникая в суть, потом сделал доклад и... потерял интерес к кружку. Ему хотелось «копать» свою тему глубже, а кружок уже занялся чем-то новым, он не мог учитывать каждую индивидуальность.

В этот период дома у Лебедева появилась крохотная комнатка — «мыслилка». Они с отцом передвинули стенку, и бывший чулан превратился в отличное убежище: думай сколько хочешь. Тогда-то Лебедев и сделал первую ошибку: бросил кружок и решил самостоятельно постигать науку. Судя по всему, он был неодинок, поскольку кружка не стало ровно через месяц: распался.

Лебедев купил девять томов знаменитых Фейнмановских лекций по физике и стал тонуть в научной трясине. Не имея никакого представления о порядке чтения и не умея систематизировать вычитанное, он выуживал лишь отдельные симпатии к отдельным темам. Так возникали новые увлечения, которые неизменно приводили к новым тупикам. Требова-лась систематическая консультация с преподава-

телями. Но Лебедев делает вторую ошибку: боясь, что профессора примут его за выскочку-школяра, он остается в гордом одиночестве.

Что было дальше? Дальше Лебедев «утоп», как он сам выражается. В один прекрасный день он впервые подумал о том, что, может, нет в нем ничего исключительного. Это было первое зерно сомнения, которое через три года, к моменту нашего знакомства, дало обильные всходы. Нет, пусть читатель не думает, что Лебедев окончательно утратил веру в свои способности, — не таков Лебедев. Но, говоря с ним, я понял: наука стала для Лебедева почти недосягаемой мечтой. Его научные увлечения оказались просто бессмысленными, потому что были «тупиковыми» и, кроме того, никак не связанными ни с учебной программой, ни с официальной курсовой работой, которую он делал на кафедре, ни, вероятно, с будущим дипломом, ни даже с будущей профессией. «Вот кончу университет, — решил как-то Лебедев, делая третью ошибку, — и тогда по-настоящему возьмусь за науки!» Таким образом, сегодня Лебедев оказывается ближе к тем студентам, которые думают о дипломе, нежели к тому Лебедеву, который когда-то мечтал об открытиях.

Если бы мы, читатель, имели дело с юношей, чьи способности и возможности вдруг банально оказались «не те», это был бы печальный случай для юноши, но более или менее терпимый для нас.

Но в случае с безусловно способным Лебедевым (а в том, что он способный студент, преподаватели не сомневаются) мы столкнулись с серьезными недостатками в самой системе организации студенческого творчества, которая сумела искусственно приземлить высокие стремления юноши и обесмыслить его живой интерес к науке.

Одно из двух: или Лебедеву не повезло с университетом, или университету не повезло с Лебедевым. Научное студенческое общество и прочие творческие организации практически отсутствуют. К этому печальному факту с одинаковым равнодушием относятся и преподаватели и студенты. Первые, очевидно, полагают, что творческий эффект может быть достигнут только по формуле «мастер и подмастерье», то есть когда студент работает непосредственно в контакте с профессором, своей головой и талантом пробив к нему дорогу. А студенты, очевидно, думают, что, если их массовое творчество не связывается с учебной программой и не нужно преподавателям, оно не нужно вообще.

Я спросил Лебедева: слышал ли он что-либо о «Прометее»? Нет, не слышал. А «Прометеем» называлось конструкторское бюро в Московском авиационном институте. Знает что-нибудь Лебедев о конструкторском бюро Ленинградского политехнического института, которое уже дает чуть ли не миллионы прибыли? Нет, не знает. Знакомо ему такое странное слово — «УИРС»? Нет, незнакомо. А его придумали студенты Томского политехнического института, оно означает: «учебно-исследовательская работа студента». Смысл в том, чтобы ввести научное творчество студентов в учебную программу вуза; и это удалось, это привело к тому, что даже самая обыкновенная «лабораторка» первокурсника стала частицей общей темы, разрабатываемой студенческим научно-исследовательским институтом, созданным при ТПИ.

Все, о чем я рассказываю, возникло по инициативе общественных студенческих организаций, и прежде всего комсомола. Но инициатива сама по себе не рождается, ее приносят живые люди: какой-нибудь Лебедев приходит однажды в комитет комсомола, и начинается крутиться машина, потому что не крутиться ей уже нельзя.

Как-то я провел анкету среди студентов, желая получить представление о студенческих проблемах с их точки зрения. У меня получилось, что на первое место они ставят вопрос, связанный с увеличением стипендий, на второе — ликвидацию очередей в столовой и в буфете, а на третье — сокращение части лекционного курса. О положении дел с научным творчеством ни один не сказал ни слова. Это значит, что «провокация на творчество» должна сегодня исходить не от студентов, а от преподавателей, которым следует быть лидерами в этом деле. На Лебедева, к сожалению, надежд мало; он откровенно сказал мне, что не верит в свою способность «закрутить машину». «Что вы! — сказал он. — Это же не чеснок с луком, тут кулаком по столу не ударишь!»

ОКРУЖЕНИЕ

Теперь я познакомлю вас с ближайшим окружением Лебедева, с его сокурсниками, не называя их фамилий — так просили они.

Начну с бывшего солдата. С точки зрения студента-юнца, пришедшего прямо из школы, он, конечно же, «типичный старик, ведь ему уже двадцать шесть лет!» — и поэтому я буду звать его Стариком.

СТАРИК высок, худ, тщательно выбрит, всегда с чистым, хоть и рваненьким носовым платком. Первые два года, когда ему особенно тяжело давалась наука, он ходил в полувойенной форме. Зато к четвертому курсу, на котором возможности всех студентов в принципе уравниваются, он стал обладателем стандартного костюма, белой рубашки и острых туфель. Но свою индивидуальность Старик сохранил. Его отличают сдержанность, неторопливость движений, малоразговорчивость и какая-то прущая наружу положительность. Он умеет не терять достоинства, даже получив «неуд», а на школяров смотрит по-отечески свысока.

Старик практичен. Он любит тщательно взвесить — «обмирковать», — а уж потом принять решение. Обычно на втором или третьем курсе «старики» подумывают о женитьбе, а иногда и женятся, уходят из общежития, приобретают весьма благополучный вид. Но наш Старик все еще жил в комнате на четверых. Из всех общественных организаций он предпочитал профсоюзные, которые, по его мнению, экономически сильнее прочих и подкрепляют слова финансами. Но в лидеры Старик сам не лез.

В университет он пришел с ясной целью: получить специальность, затем работу и по возможности приличный оклад. Высокая наука, по словам Старика, — дело молодых.

ШКОЛЯР. Взбалмошен, легок, порывист, каждую перемену гоняет в университетском дворе футбольный мяч. Его родители живут в другом городе, а он снимает здесь угол у «хозяйки, она на пенсии, с медалями». «А что же в общежитие не пошли?» «А мать ня вялит! — Он произносит слова с типичным волжским выговором. — Бойтся, что там с выпивкой ненадежно. А я пока мать слушаюсь».

В первом семестре ему было довольно легко учиться, он даже вызывал зависть Старика, который готов был считать его Резерфордом. Но после первой же сессии Школяр, основательно потрепанный трудностями, резко потерял в ученической прилежности. «Науку просто так не возьмешь, — сказал он мне. — Но это мое субъективное мнение». Начались беспорядочные пропуски лекций (в отличие от Старика, который пропускал только те, что «не пригодятся»). Зато на семинарах Школяр по старой привычке тянул вверх руку, задавал лектору глупые вопросы, «лез преподавателям в глаза» — иными словами, ис-

пользовал все для того, чтобы продемонстрировать себя с лучшей стороны и заработать «автомат», то есть автоматический допуск к экзаменам без зачета. При этом Школяр совершенно не замечал, что в глазах Старика падает на самое дно.

ЗУБЕЦ — от слова «зуб», которым он грызет науку. По мнению Школяра, Зубец учится только для того, чтобы получить знания, «то есть неизвестно для чего». Действительно, преданность науке и увлеченность ею доходит у Зубца до такой степени, что его не волнуют даже оценки, и он может позволить себе на экзамене крупно поспорить с профессором, на что Школяр решился бы только в невменяемом состоянии.

Зубец предельно целенаправлен и излишне самоуверен. За это и еще за то, что он «дает прорваться уму», его на курсе не любят. Нередко он расплывается презрением. Опаздывая на лекцию, он входит в притихшую аудиторию, громко топая подкованными каблукми.

Кроме науки, у Зубца мало радостей в жизни. Он ограничивает себя в развлечениях, лишние деньги тратит на книги, плохо ест, мало спит и, по мнению девушек, «никогда» не бредет.

САЧОК. Блондин с распадающимися волосами. Король троек. Обожают афоризмы типа: «Наука не роскошь, а предмет суровой необходимости». Талантливый изобретатель наикратчайшей дороги к диплому: как можно меньше усилий при наиболее эффективном результате. Главное для Сачка — не доводить дело до кризиса. Как вылезать из него, он думает в последний момент, когда уже пора спасаться, проявляя чудеса изобретательности. Он может на экзамене решить сложнейшую математическую задачу «собственным методом», который даже не снился профессору, поскольку обычных методов Сачок просто не знает. На семинарах он первый отказчик. Но, чтобы Сачок встал и честно признался, что не готов к ответу, не дождетесь. Печально глядя на преподавателя, он траурным голосом сообщает, что вчера коронил бабушку жены своего друга и потому сегодня все еще не мог собраться с мыслями. Однажды я спросил Сачка, какими судьбами он попал в университет. Он тут же свалил вину на родителей, сказав, что это их идея. «С самого детства, — добавил он, — я терпеть не мог абстракции, символы и переливание из пустого в порожнее. Как вы понимаете, из меня выйдет отличный теоретик!»

Веселый человек. Неиссякаемый оптимист. Всегда и во всем первый. Кроме учебы. Разумеется, он участвует в самодеятельности: актер, режиссер, автор шуток и интермедий и еще бурный организатор, способный даже декана уговорить на крохотную роль. Наконец, он играет на гитаре и является неизменным участником всех именин. А на его свадьбе, устроенной не где-нибудь, а в лесу, у речки Линда, гулял, считайте, весь курс.

Школяр называет Сачка истинным студентом. Старик отмечает его удивительную способность к самопожертвованию во имя чего угодно. И даже Зубец готов его понять во всем, кроме единственного: зачем он пришел в университет?

ДЕЯТЕЛЬ. Все бежали — Деятель шел размеренным шагом. Все смеялись — он позволял себе сдержанную и многозначительную улыбку, говорящую о том, что от масс он все же не оторвался. Когда он входил в кабинет, вы тут же соображали, что вошел Деятель: на нем лежала тень значительности.

Он был неплохим парнем. Его путь вверх начался с первого курса, когда однажды он выступил на собрании и сказал, что Волга впадает в Каспийское море. Присутствующие были потрясены такой трезвостью. Его немедленно «кооптировали» в какое-то

бюро, хотя он особенно и не рвался, и целый год наш Деятель работал как проклятый. Тут бы и сказать ему: ладно, отдыхай, мол, теперь другие попробуют. Так нет, его избрали на второй срок, потом на третий, и он стал Деятелем.

К моменту нашего знакомства он уже в совершенстве владел тактикой и стратегией общественной работы и даже знал, когда, с кем и в чем присутствию можно быть на «ты» или на «вы». Он помнил всех без исключения студентов курса. По фамилиям. Назовешь фамилию, и у него мгновенно срабатывает ассоциация: вызывали — не вызывали, поехал — не поехал, уплатил — не уплатил. «Иванов Д. или Иванов М.?» — спрашивал он «для уточнения».

На занятия у него совсем не хватало ни времени, ни сил. Он тосковал по науке, но понимал, что ему уготована иная судьба, а потому стоически мирился с фактом. Если бы когда-нибудь его забыли переизбрать, он оказался бы в сложнейшем положении, как тот пехотный офицер, который, не дослужив до пенсии, вынужден демобилизоваться.

Таково ближайшее лебедевское окружение, но сказать, что все они были между собой дружны, я не могу. «Мы только знакомы, — как поется в известном романсе, — как странно!» Четыре года проучившись на одном курсе с Зубцом, Школяр мог сказать о нем лишь то, что «у Зубца розовые щеки», хотя это тоже было его «субъективным мнением».

До третьего курса им вообще не читали общих лекций. Они сидели в пронумерованных группах, как в кельях, изредка встречаясь на комсомольских собраниях, воскресниках или вечерах. Когда ликвидировали номерные группы и взамен их создали кафедральные, вновь получилась перетасовка и вновь образовались нити, которые сплетали какой-никакой, а коллектив. Но даже в тех случаях, когда в их среде возникала настоящая дружба, говоря о ней, мы вынуждены добавлять: «вроде бы настоящая», — потому что достойной проверки на прочность она, как правило, не имела. Для своего друга Лебедев, увидев однажды книгу «Электромеханика» Джексона, купил второй экземпляр, а друг, который имел доступ к токарному станку, выточил для него некоторые детали магнитофона, — собственно, вот и все «вещественные» признаки дружбы, которые, конечно, ее не опровергают, но, к сожалению, ничего и не доказывают.

Духовная среда маловато способствует раскрытию людей. Живем рядом, учимся, а кто мы такие — и за пять лет толком не выясним. И какие-то два месяца на целине вдруг могут начисто перевернуть представления студентов друг о друге.

В Горьковском политехническом институте как раз в то время, когда я там был, сотрудники кафедры философии проводили любопытную анкету, названную ими «Лидер». Всем без исключения студентам одного курса предлагалась сумма вопросов такого свойства: с кем из своих сокурсников вы советуетесь по личным делам? С кем поехали бы на пикник? С кем встали бы против вооруженных хулиганов? Кого предпочли бы в качестве собеседника по литературным вопросам? С кем занимались бы науками, готовясь к экзаменам? И т. д. Ответить надо было, называя пять фамилий студентов своей группы, как сказано в анкете, «в порядке предпочтения».

Результат? Во многих группах лидерами оказались неприметные с виду студенты, никогда не числящиеся в списках официального актива. Меж тем общепризнанные «вожаки» иногда проигрывали им по многим статьям. Картина обнажилась, и по ней,

как по рентгеновскому снимку, можно было установить истинное отношение студентов друг к другу и соответствие их занимаемым должностям.

К слову сказать, анкета подоспела в тот момент, когда курс вернулся с первой своей целины.

ЛЕКЦИИ

Лебедев посещал с удовольствием лекции тех преподавателей, которые умели не просто излагать мысли, а делать выводы на глазах у студентов.

Прочие лекции он либо прогуливал, либо декан приводил его в аудиторию за ручку. Если бы читатель имел возможность присутствовать на таких лекциях, он увидел бы переполненный зал и решил бы, что налицо стопроцентная явка. На самом деле, как говорится в подобных случаях, «мы имеем стопроцентное отсутствие».

О бедный лектор, поглощенный собственным красноречием, если бы он знал и ведал, чем занимаются студенты, имея на лицах такое сосредоточенное выражение! Одни самозабвенно играют в «крестики и нолики» повышенного типа, с применением высшей математики. Другие сочиняют записки идиотского содержания, касающиеся предмета лекции, которые потом отправят преподавателю, подписав их странной фамилией «Орда-Жигулин». К этой фамилии лектор за два года уже привык, считая Орда-Жигулина реальной личностью и на редкость тупым студентом. Наконец, третьи, у которых самые внимательные и умные лица, стоят в тетрадах палочки, отмечая все «э-э-э», произнесенные лектором.

Такова судьба довольно большого ряда лекций, на которые деканат «обеспечивает явку». Как быть, что делать в таких обстоятельствах?

У многих на языке вертится одно: свободное посещение. Если его разрешить, мгновенно улучшится качество преподавания: студенты «ногами проголосуют «за» или «против» лектора! Довод, ничего не скажешь, актуальный. И если бы окончание вуза не влекло за собой обязательную выдачу дипломов, которые, в свою очередь, дают студентам ПРАВА на работу, читатель тоже сказал бы: валяйте, посещайте лекции, когда хотите, и занимайтесь науками, какими вам вздумается. Но подумайте: можно так сказать? Когда нас дома навещает врач, мы хотим иметь хотя бы формальную гарантию того, что он будет нас лечить, а не гробить, и такую гарантию дает диплом. Иной пока никто придумать не может.

Разумеется, индивидуальные разрешения вовсе не исключены: заслужил доверие — получай свободу!

СЕССИЯ

Концу семестра к Лебедеву приходила тоска. Он все чаще думал об экзаменах, и тогда начинало ныть под ложечкой.

В день экзамена он с самого утра испытывал какую-то странную приподнятость, от которой сводило нижнюю челюсть. Приехав в университет, держался спокойно, не в пример Сачку; в кабинет экзаменатора входил первым, не дожидаясь очереди, и любой рукой брал любой билет. Не думайте, что Лебедев в отличие от прочих студентов не верил в приметы. «Если начнешь гадать о том, какой билет брать», — говорил он, — обязательно попадает дрянь». Отвечал Лебедев спокойно, но так витиевато, что даже сам удивлялся, откуда берется у него «высокий стиль». Как правило, он испытывал огорчение от реплики экзаменатора: «Переходите к другому вопросу», — когда оставался еще запас невысказанного.

А вот Сачок внимательно следил за рукой профессора и, как только рука брала зачетку и только-только начинала выводить отметку, мгновенно умолкал, прервав фразу или даже слово на середине, будто ему в рот вставляли кляп. «Дело сделано, — объяснял он мне свой «метод», — и его не исправишь, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следовало. Диккенс. Аминь».

Особой радости от сданного экзамена Лебедев не испытывал, потому что чуть раньше приходило ощущение голода, сонливость и какая-то апатия. Очень хотелось домой, но он не уходил, пока все товарищи не проберутся сквозь ад. А через полгода, случайно наткнувшись на некогда «сваленную» науку, он обнаруживал, что в голове от нее почти ничего не осталось, кроме основного смысла величин и законов и еще нескольких очень сложных, чаще всего второстепенных и никому не нужных формул. Они «втыкались» в память и сидели там, занимая чужие места, — так он о них говорил.

Подводя итог, можно задать вопрос, который уже давно не выглядит крамольным: а есть ли смысл в таких экзаменах? Уж не лучше ли пойти по пути, предложенному астраханскими вузами и уже протонному Московским станкоинструментальным и Ленинградским политехническим? Они придумали так называемые «малые экзамены» — в конце каждой темы. А уж потом, по сумме оценок, преподавателем выводится общая, с которой студент может согласиться, а может и нет, и в таком случае ему предоставляется возможность «рисковать на прежних основаниях».

Путь? Разумеется. Хоть и не единственный. Но думать надо, надо искать выход из положения.

МЕРКАНТИЛЬНЫЙ ВОПРОС

В двадцать пять конвертов я мысленно вложил по десять тысяч рублей новенькими купюрами, раздал конверты двадцати пяти студентам, словно я Крез, и сказал: «Тратьте!» Игра игрой, но лишь двоим удалось раздеться со всей суммой целиком, и то потому, что они догадались купить «Волги», хотя, мне кажется, студенту больше подошел бы мотоцикл. Остальные моты и транжиры, не использовав и половины денег, подняли руки вверх.

Вот как распорядилась десятью тысячами рублей одна девушка, заядлая туристка. Прежде всего она накупила туристского снаряжения, начиная с палаток и кончая штормкостюмами, и с двумя подружками уехала бродить по Камчатке. Подруги, разумеется, были полностью на ее обеспечении. Затем, вернувшись, она немедленно отправилась в Испанию, повидавать которую мечтала с детства, начитавшись Кольцова. Потом напрягла свою бурную фантазию, купила велосипед и... поставила точку. Мы скрупулезно подсчитали, и у нас получилось, что истрачено четыре тысячи сто рублей. Между тем мне было известно, что у этой девушки есть одно выходное и три будничных платья, четыре шерстяных кофточки («Вместе с сестрой», — сказала она) и три пары туфель, в том числе одна из них зимняя. «Стипендии вам хватает?» «Что вы!» — вот такие круглые глаза. Но как бы глаза ни округлялись, я уже понимал, что с такими потребностями «выкрутиться» можно.

Когда я спросил Лебедева, с чего он начнет тратить десять тысяч, он, ни секунды не медля, ответил: «Во-первых, я всем объявлю, что у меня есть шальные деньги!» Это значит, весь курс получит приглашение на банкет в ресторан. Затем Лебедев купил бы матери стиральную машину с центрифугой, отцу —

«что он пожелает», сделал бы подарки родственникам, а себе — книги. Потом поехал бы в какую-нибудь страну, например, во Францию, взяв с собой некую студентку третьего курса. «Это обошлось бы в два раза дороже», — заметил я. «В три», — спокойно поправил Лебедев, не дрогнув ни единым мускулом. Сосчитать его траты мы не смогли: попробуй угадать аппетит сокурсников, желание отца и парижские капризы лебедевской спутницы. Презренный металл не дался в руки для точных расчетов.

Около месяца я прожил в Горьком и все это время видел Лебедева в одном и том же зеленом костюме. Он ходил в нем на занятия, валялся на кровати, если не замечала мать, и пошел бы в ресторан на банкет. У него было еще одно зимнее пальто, по поводу которого все та же студентка сказала, что оно «ужасное», одно демисезонное цвета маренго, пара свитеров, кое-что по мелочи — рубашки, носки, один галстук и, наконец, ботинки сорок пятого размера, про которые, очевидно, и поется в студенческой песне: «Мне до самой смерти хватит пары башмаков». Так выглядел гардероб нашего бесребреника.

Разумеется, Лебедев несколько старомоден: культ головы имеет для него явный приоритет перед культом одежды. Однако общее повышение благосостояния народа не могло не отразиться на студенческой массе, которая стала одеваться сегодня вполне прилично и современно. При этом студенты могут слегка поккетничать, сказав, что, мол, если мы студенты, то нам вещей не надо. Надо! Не гневите бога. Другое дело, не всегда есть, на что их купить. Меня познакомили как-то с одной первокурсницей, которая купила со стипендии модные туфли за 27 рублей, а потом четыре дня, пока родители срочно не выслали подкрепление, жила на тридцать копеек в сутки: винегрет, чай и непременно пироженое.

Из чего складывается доход студента? Прежде всего он зависит от заработка родителей. Отец Лебедева, бывший кадровый военный, получает вместе с пенсией 230 рублей в месяц. Мать — 90. Семья состоит из четырех человек, — следовательно, как говорит Лебедев, «на нос» приходится по 80 рублей. По университетским нормам студент с такой обеспеченностью может получать стипендию лишь при условии, если не имеет ни одной тройки. Обеспеченность свыше 80 «на нос» — будь отличником, до 60 — хоть троечником. Все эти градации устанавливаются ежегодно самим университетом, его специальной комиссией (в которую почему-то не входят представители студентов, как это принято в некоторых вузах страны) в зависимости от стипендиального фонда, отпущенного министерством, и собственных прогнозов на успеваемость. Точно угадать, как будут учиться студенты, очень трудно, и потому сердце главного бухгалтера обливается кровью, когда он вынужден возвращать в Министерство финансов неизрасходованные суммы.

Сказать, что стипендия является рычагом успеваемости, нельзя, поскольку вся стипендиальная политика направлена острием назад (карает за прошлые грехи), а не вперед (не стимулирует будущие успехи). Студент может заниматься, как проклятый, целый семестр, но именно этот трудный семестр он не получает денег за двойку, заработанную в предыдущем году. Сказать, что стипендия — это прожиточный минимум, тоже нельзя, поскольку ее выдают не всем. Кроме того, я ощущаю какую-то уравниловку, вывернутую наизнанку, если возможна ситуация, когда два студента с одинаковыми способностями и равной успеваемостью неодинаково обеспечиваются стипендией, которая, как мы знаем, зависит от заработка родителей. Хотя еще далеко не изве-

стно, делятся ли родители деньгами со своими отпрысками и в каких размерах.

На мой взгляд, стипендию все же следовало бы считать прожиточным минимумом прежде всего и стимулом — во вторую очередь. Это было бы по крайней мере гуманно. Если рабочий не выполняет план, какие-то деньги ему, все же платят. Если студента оставляют в вузе и не исключают за неуспеваемость, лишать его стипендии нельзя. Не сделщик же он в конце концов, который получает столько, на сколько наработает! Так, может, есть смысл платить минимум всем нуждающимся студентам, а максимум — тем из них, кто заслуживает? А для того, чтобы не было ошибок в определении нужды, надо к распределению стипендий обязательно привлекать общественные организации, то есть самих студентов.

Два семестра из шести наш Лебедев ходил к окошечку кассира, а в остальное время кассиром была его мать. Баловать его дома не баловали, ему давали ровно столько денег, сколько уходило на дорогу и на обед, и перед каждым походом в кино Лебедев говорил матери: «Ма, снабди чеком на один миллион!» Курил он «Север», водку не пил, жил скромно и в сберкассе не хаживал. Из денег, которые он заработал на целине, он сделал самостоятельно только одну покупку, и то не для себя, а для отца: купил доху с мехом внутрь, хотя никто так и не понял, зачем она может понадобиться родителю, если он не работает сторожем.

Студенты, приехавшие в Горький из других городов, ведут хозяйство самостоятельно. Часть их (наиболее значительная) получает ежемесячную дотацию от родителей, рублей 15—20 к стипендии, а если ее нет, то и все 60. А часть студентов живет только на стипендию — на 45 рублей в месяц. (На других факультетах она еще меньше, но мы почему-то привыкли к тому, что студенты должны быть бедными.) Деньги, как правило, целиком уходят на еду, из расчета рубль двадцать — рубль сорок в сутки. Остаток — на курево, книги и развлечения.

Многие студенты подрабатывают. Было время, когда стеснялись об этом говорить, хотя что тут зазорного! Даже грех не использовать армию молодых людей, представляющую собой большую интеллектуальную силу. К сожалению, найти этой силе точное применение никто пока не может. Студенты устраиваются ночными сторожами, пожарными, грузчиками, и, странная вещь, почти никто не пользуется специальными знаниями, чтобы заработать лишний рубль и принести квалифицированную пользу обществу. И уж совсем никто не занимается репетиторством, столь распространенным в прежние времена. Вероятно, это объясняется тем, что общий уровень грамотности населения вырос, и в условиях обязательного среднего образования студенты уже не могут устроить клиентуру. А работа по специальности усложнена тем, что еще нет порядка, при котором можно работать по два или по три часа в день и получать «за часы». Такой порядок, если подумать, вскрыл бы много неиспользованных резервов, и не только в студенческой среде, но и в среде тех специалистов, как правило, женщин, которые почему-либо не могут работать полный рабочий день.

БУДУЩЕЕ

Когда пришло время специализироваться — это случилось на четвертом курсе, — право выбора профессии было предоставлено студентам. Точнее говоря, не право выбора, а право удивления. Именно так сформулировал Лебедев известную процеду-

ру, во время которой ему пришлось назвать одну из десятка существующих кафедр.

Ночь перед этим он спал спокойно, решив не мучить себя напрасными раздумьями, а утром, едва приехав в университет, сразу окунулся в водоворот событий. Был неимоверный ажиотаж. Сачок метался как угорелый, выясняя характеры руководителей кафедр. Школяр отнесся к специализации, как к созданию футбольной команды, а потому сговаривался с кем-то, учитывая взаимные симпатии и антипатии. Но поскольку футбольные встречи между кафедрами действительно не исключались, и в самом деле было желательно, чтобы на каждой кафедре имелся хотя бы один вратарь, один приличный стоппер и парочка забивал. И только Зубец ходил, поглощенный сам собой и чрезвычайно целенаправленный.

До того момента, как Лебедев открыл рот и произнес: «Кафедра статической радиофизики», — он твердо знал только то, что открыть рот ему придется. Несколькими позже он придумал логический ход, вроде бы оправдывающий этот выбор: если его распределит в НИИ, а не на завод, и если в НИИ будет тема, связанная с изучением закона всемирного тяготения, которым он как раз интересовался, и если его подклучат к этой теме, — то он, возможно, займется своей желанной массой, неясности с которой можно выяснить по аналогии с некоторыми методами, применяемыми в спектроскопии, которую, в свою очередь, будут изучать именно на этой кафедре, и, быть может, Лебедеву удастся получить для курсовой работы такую тему. Чрезвычайная ясность и простота доводов облегчили ему душу.

Читателю, который полагает, что я утрирую, могу сказать, что за три года, предшествующих специализации, Лебедев не выслушал ни одной мало-мальски серьезной лекции о возможных профессиях радиофизиков. Ни одна из кафедр себя не раскрыла. Лебедев не побывал ни в одном из современных научно-исследовательских институтов и ни на одном из заводов, где мог бы работать после окончания вуза. Наконец, известно, что углубление в профессию должно проходить в вузе такие этапы: научное творчество студента — курсовая работа — диплом — распределение. Между тем, как мы уже говорили, собственные научные увлечения Лебедева не нашли своего выражения в курсовой работе. Тема же курсовой, возможно, не будет соответствовать теме диплома. Что же касается распределения, то в этом году — и Лебедев об этом отлично знает — тридцать физиологов, генетиков и зоологов, окончивших биофак университета, были направлены на работу в землеустроительные экспедиции в качестве ботаников. Спрашивается, какие они ботаники, если в первый год обучения прослушали всего лишь общий курс по этому предмету? И какой был смысл в их узкой специализации, если так просто их переквалифицировать?

Таким образом, откуда взяться у Лебедева точным и конкретным представлениям о профессии, да и зачем они ему нужны?

И тем не менее будущего своего Лебедев не боится. Он строит далеко идущие планы. «Наукой заниматься все равно буду, куда бы на работу ни попал, — говорил он мне. — Защищать кандидатскую диссертацию? Да, попробую. Если попаду на завод? Сейчас, говорят, есть такие заводы, которые двигают науку дальше, чем институты. Не хватит способностей? Ну что ж, буду делать материальные ценности.

Зарплата? Не знаю. Не думал. У нас никто не думает о матблагах. Наверное, нам предстоит удар, потому что вместе с дипломом ключи от квартир не дают. Ничего, переживем...»

Оптимист.

То, о чем мы сейчас говорим, является частью более важного вопроса: кого в принципе следует выпускать из университетов — узких специалистов или разносторонне образованных людей с правом специализации после получения диплома? До сих пор никто не решается твердо ответить на этот вопрос, и такая нерешительность приводит к тому, что из двух зайцев трудно поймать даже одного. Если выпускать узких специалистов, то разве так надо готовить студентов к профессии, как это делается сегодня в Горьковском и большинстве прочих университетов? А если научных работников широкого профиля, то следует отчетливо понимать, что любая специализация, особенно ранняя, вредит разностороннему образованию, в какой-то степени сужает его горизонты.

Где же выход из положения? Может, отменить в университетах специализацию вообще? Но попробуйте это сделать! Сто лет назад при том уровне наук это была бы радикальная мера, и о ней думали — и то на нее не решились. Кем будет сегодня Лебедев, если получит звание «всего лишь» образованного человека? Какую пользу он сможет принести физике, тем более радиофизике и, более того, ее узкой и глубокой области, которой занимаются, положим, радиофизики-квантовики или спектрографы? Стало быть, отменять специализацию нельзя. Но нельзя и отменять широкое научное образование, ведь никто не снимал с университетов обязанности готовить именно научные кадры...

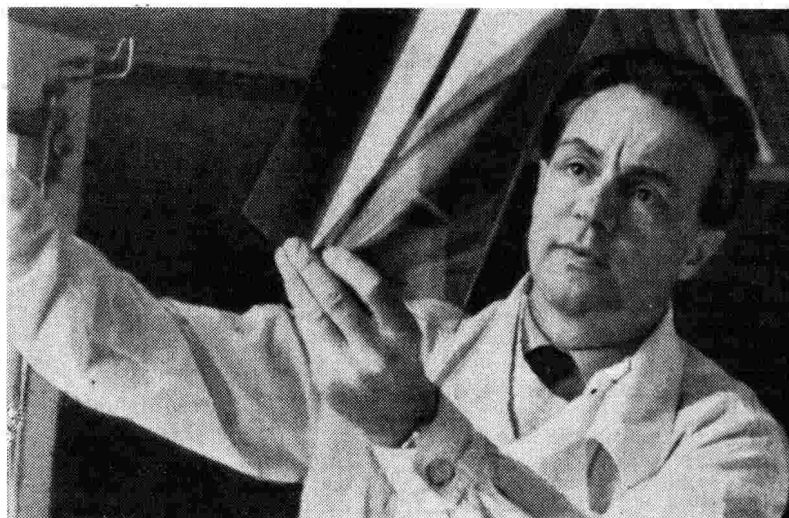
Я нарочно рисую картину во всей ее сложности, чтобы показать читателю: проблема не так уж проста, ее «вечность» не так уж необъяснима. И все же надо ее решать! Как? Я не знаю, и, вероятно, в мою задачу не входит конкретная рекомендация. Могу лишь сослаться на интересную попытку, предпринятую в Ленинградском политехническом институте, где с помощью «укрупнения» профессий ищется «средний путь». Так уж коли попытку сделали политики, университетчикам сам бог велел подумать! Право же, давно пора научно подойти к проблеме подготовки научных кадров.

Я вовсе не уверен, что наш герой — единственная подходящая кандидатура для такого очерка. В другом городе и в другом институте я мог бы найти другого Лебедева, и кое-что в моем рассказе пришлось бы изменить, а может быть, и не «кое-что». Уж очень разнообразно наше студенчество. Но аспекты разговора остались бы, вероятно, прежними.

Через год Лебедев уйдет из университета. Студент — состояние временное... Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Лебедев стал не просто копиистом, а творцом. Но я понимаю: наивно думать, будто с самого начала, с прихода юноши на первый курс вуза, судьба-злодейка тут же отмечает его своей печатью: быть, мол, тебе таким, сяким или эдаким. О нет, студент только ищет свою звезду на небе, а достанет ли ее, покажут жизнь и работа.

За Лебедевым закроется дверь вуза, но перед ним откроются ворота в мир.





БЕЛЫЙ ХАЛАТ СОЛДАТА

Школа. Кабинет биологии. Скелет человека — огромный скелет взрослого человека — учебное пособие, по которому изучают анатомию. «Значит, так: это череп, это грудная клетка, таз, бедро, голень... Правая нога короче левой. Кто объяснит, почему?.. Правильно, Боря, человек хромал. А почему нет фаланги на большом пальце правой руки?.. Смирнов, никакие мышцы не отгрызли — острить будешь дома. Понятно?.. Правильно, Наташа: палец могли ампутировать...»

Воспоминания юности...

Но вот в служебном кабинете председателя секции детской хирургии Всесоюзного общества хирургов профессора Станислава Яковлевича Долецкого я вижу на шкафу скелет новорожденного. Это потрясает.

...Он мог стать человеком.

Он не стал им.

Увы, медицина оказалась бессильной. В этом случае. Как, к сожалению, и во многих других...

Современная медицина — это новые методы лечения, новые лекарственные препараты, новый инструментарий... Но сейчас, как и во времена Гиппократы, медицина — это прежде всего врачи...

Хирурги всегда ходят рядом со смертью. Вот и в тот день, когда я приехал, в клинике умирал мальчик.

— Станислав Яковлевич, — сказал я, — может, отложим разговор?

— Больного готовят к операции, — быстро ответил Долецкий, — у нас еще есть время. Задавайте ваши вопросы.

— Уже несколько лет ученые Академгородка в Сибири отбирают будущих студентов — математиков, физиков, химиков — на олимпиадах, в кружках, а то и прямо в школах. Не считаете ли вы, что и будущих студентов медицинских институтов надо пытаться отбирать уже среди школьников?

— Такого рода попытку мы сделали четыре года назад. Тогда по инициативе молодого врача Павла Николаевича Шастина в одной из средних школ Бауманского района Москвы был создан кружок по детской хирургии. Школу выбрали с медицинским уклоном. И восемь ребят, которые приходили к нам в клинику дежурить, сделали небольшую, но хорошую научную работу. Они даже доложили о ней на московском научном обществе детских хирургов.

— Эти ребята попали в медицинский институт?

— Большая часть — да, а девочки, которые не попали (тогда был жесточайший конкурс), пошли работать медицинскими сестрами. Занятия в школьном кружке помогли им выбрать дорогу в жизни.

— А как вы предложили бы определять пригодность школьников к занятиям именно в медицинском институте?

— Точных критериев здесь быть не может. Я только считаю, что в медицинский институт надо принимать людей на 20 процентов больше того, что требуется выпустить. На протяжении первого и второго года учебы эти 20 процентов отсеются. Уйдут наименее талантливые и наименее работоспособные. Сейчас же мы принимаем 100 процентов и стремимся всех дотащить до последнего курса. Мне кажется, это серьезная ошибка.

— В институте предметы стали более сложными, а психология учащихся осталась прежней, во многом — школьной. Что можно сделать уже в школе, чтобы в этом плане подготовить ребят к вузу?

— Думаю, что надо переместить ряд предметов из вузовской программы в школьную. Созревание

детей — физическое и психическое — в нашем веке происходит намного раньше, чем в прошлом. Дети способны воспринимать большой объем сложной и точной информации еще на школьной скамье. Это уже показали опыты математиков. А по детям (большим — в клинике и собственным — дома) я вижу, что в сфере жизненной, в области литературы, искусства, этики они понимают гораздо больше, чем мы в их время. Вот и надо использовать этот резерв — сместить преподавание специальных вопросов на более ранний возраст. Для многих предметов надо снижать возрастной ценз.

— Кстати, выражение «возрастной ценз» применяется ныне не только в педагогике?

— За последние годы произошла любопытная вещь: терминология одной области стала, я бы сказал, энергично привноситься в другую. Так, технические понятия — шунт, сброс и другие — властно вошли в медицину, в терминологию кардиохирургов, детских хирургов. То же произошло и с выражением «возрастной ценз», — оно широко применяется теперь в детской хирургии.

— Что же означает возрастной ценз в хирургии?

— Конкретный пример — операция на легких. Лет пятнадцать — двадцать назад делали эту операцию детям в возрасте 15 лет, более смелые хирурги — в 10 лет. Затем выяснилось, что и маленьких можно и нужно оперировать, ибо прогресс науки дает такую возможность. Операцию стали делать у детей все более младшего возраста. А сейчас, когда у новорожденного ребенка мы находим так называемый синдром напряжения и обнаруживаем кисту легкого, то смело оперируем, потому что знаем: опасность операции в данном случае меньше опасности самого заболевания. Так, возрастной ценз при кисте легких у новорожденного ребенка сведен почти до нуля. Это общая тенденция: в детской хирургии возрастной ценз стремительно снижается.

...Три года назад мальчик полутора лет выпил соляную кислоту. В почти безнадежном состоянии его оперировали в родном городе, в Калининграде. И случилось чудо: мальчик стал есть.

— Прогресс науки заставляет систематически пересматривать вузовские программы. Считаете ли вы, что периодически должна пересматриваться и методика преподавания?

— Конечно, ибо в науке и технике создаются дополнительные, я бы сказал, мощнейшие возможности для того, чтобы вложить информацию в будущего специалиста новыми путями и средствами. Напомню об обучении английскому языку во сне, напомню о телевидении как о средстве повышения квалификации врачей, напомню о магнитофонных записях, полиэкране, кино и так далее. Но нынешняя методика преподавания стоит на рубеже прошлого столетия, она отстает от имеющихся возможностей. Отсюда — ножицы, разрыв. Важно этот разрыв сделать минимальным.

— С чего же надо начать?

— Думаю, тут необходимо, с одной стороны, большое желание преподавателей. Нужно, кроме того, чтобы были сделаны соответствующие методические разработки — разумные, новые, современные — и дано то оснащение, та техника, которые позволят преподавать современными методами.

— Как вы считаете, что должен дать студенту институт вообще, а в частности медицинский?

— По-видимому, тут большой разницы нет. И медицинский и немедицинский институты должны сделать студента подготовленным к реализации своей специальности в условиях практики. Но это формулировка. А какие-то критические замечания или пожелания можно высказать следующим образом.

У нас много места занимает школярство. Обязательные лекции, не всегда хорошо читаемые. Бесчисленное количество практических занятий, где властвует мелочная опека. И многое-многое другое. Правда, сейчас делаются попытки пробудить самостоятельность у студентов, но пока что очень робкие.

Первый вывод, который напрашивается: надо изменить систему преподавания. Должно быть больше требовательности на экзаменах. Потом — объем знаний.

Наши вузовские учебники, представляется мне, конспективны, скучны, кратеньки, безлики. А, скажем, для врачей издаются большие руководства. За рубежом ведь как раз наоборот, и к их опыту надо присмотреться.

— А там как?

— А там для врачей издаются краткие выпуски руководств, где очень точно и углубленно описывается какой-то отдельный вопрос, а учебники для студентов — колоссального объема. И если студент сдает экзамен, то он уже знает предмет как полагаются. А у нас, очевидно, думают, что человек окончит вуз и тогда начнет читать книги для врачей. Это традиция, которую пора ломать.

— Вы считаете, что мал объем учебников?

— Бесспорно! Учебники очень тонки. Запас информации в них мал. Студенты часто выходят не осведомленными в теории, не подготовленными к практической деятельности. И экзамены у нас очень «тонкие», характер их иногда довольно формален. За несколько минут студент, зная удовлетворительно учебник, может получить четверку или пятерку. А в Италии мне пришлось видеть: студент экзаменуется у профессора час, полтора. Он теряет семь потов и получает двойку, если не знает предмет как полагается. Понимаете? Жесткость экзамена влечет за собой высокое качество врачей... Более того, врачи, которые получают из студентов, знают, что им надо читать научную литературу и что никто за них этого не сделает. Там рассуждают здраво: сегодня я его выпущу, а завтра он меня будет «лечить». Так уж лучше сделать его хорошим специалистом. Думаю, в этом есть смысл.

— Какую роль в подготовке будущего специалиста играют научные студенческие общества?

— Я считаю, что значение научных студенческих обществ невозможно переоценить — так оно велико. Потому что тяга ко всему хорошему возникает у человека довольно рано. И именно в научном студенческом обществе студент получает первую прививку, впервые «заражается», впервые знакомится с научной работой. И хотя большая часть выпускников становится практиками, но многие из них потом возвращаются в науку, многие ведут научную работу там, где работают врачами. Думаю, что долю «вины» за это несут научные студенческие общества.

Вот сейчас наш министр настойчиво вводит седьмой год обучения, когда молодые люди наряду с

теоретическими знаниями будут получать и серьезные практические навыки, не выходя из стен института, еще оставаясь студентами. То есть мы получим врачей уже не общего профиля, а специалистов. Это должно принести хорошие результаты, особенно если параллельно будет вестись научная работа. Параллельно. Тогда можно будет сразу сказать: человек практически себя хорошо показал, в науке себя хорошо показал. Это человек, которому надо дать зеленую улицу.

Более того, надо создавать не видимость научной работы, что иногда практикуется, а включать студентов в настоящую, тяжелую научную работу. Без всяких скидок. Приведу такой пример. Когда я работал над докторской диссертацией, мне в выполнении самых трудных экспериментальных и анатомических исследований помогали наши студенты — Таня Журавлева помогала препарировать диафрагму, Леня Рошаль с женой Нелли — оперировать щенков. Это не секрет — я поблагодарил их в диссертации. Считаю, что таким путем они были вовлечены в настоящую научную работу. Они полюбили науку, и теперь все трое — кандидаты наук.

— Каким же требованиям — в идеале — должен отвечать молодой ученый?

— Мне кажется, что таких требований три.

Он должен быть талантлив. И отбор талантливых людей можно и должно производить.

В нем должен быть энтузиазм, потому что талант без энтузиазма — дело малое.

И третье: этот человек должен обладать, как принято говорить, высокими политическими и моральными качествами. Потому что можно быть талантливым и обладать энтузиазмом, но если эти качества направлены для своекорыстного служения своему личному «я», через которое уже человек будет служить обществу, то немного же останется для общества.

— Объем информации сейчас сказочно возрос. Чтобы быть в курсе даже узкоспециальной литературы, надо отказываться от многого. Быть может, во имя экономии времени специалисту следует отказаться и от литературы и искусства?

— Вы задали «провокационный» вопрос, но я отвечаю. Когда я был школьником и студентом, то общался с литературой и искусством гораздо больше, нежели теперь. Но и сегодня я не отстаю от крупных событий в этих областях.

— Как вам это удается?

— Я стал гораздо экономнее, научился отделять главное от второстепенного. К слову, почти перестал ходить на премьеры, потому что болезненная, снобистская любовь к премьерам вредна: видишь много ненужного сора. Ведь удачные работы — это, по-видимому, процентов десять от числа выходящих, а экстра-класс — не больше пяти процентов. За неимением времени надо смотреть только хорошее.

Я пошел по такому пути: спрашиваю у друзей, у писателей и художников, вкусу которых верю, надо идти или нет. Если советуют, иду.

— Вы доверяете профессионалам?

— Верю, что стоит идти, но это не значит, что верю их оценкам. Они у нас иногда не совпадают,

но чаще я даже склонен говорить о своем плохом вкусе...

Зимой почти ничего крупного не читаю. Но зато каждое лето, каждый отпуск у меня составляется список произведений, которые я должен прочитать обязательно. Вот так я компенсирую вынужденный пропуск.

— Что вам лично дают литература и искусство?

— Я считаю, что литература и искусство — тот катализатор творчества, который необходим всякому мыслящему человеку, хотя было бы очень примитивно говорить, что вот человек посмотрел картины Пикассо и потом сделал открытие в области грижи.

...Чудо длилось тринадцать дней, потому что на четырнадцатый пицца перестала проходить в желудок. И мальчик мучился еще три долгих года, а мать и отец эти страшные годы ждали, что опять наступит чудо. И ждали они, пока с ними была надежда. И даже когда отступились врачи, с ними осталась их надежда. И тогда мать взяла сына и приехала в Москву.

— Молодой врач начал работать. Как ему проверить, на что он способен?

— Прежде всего знать, какие задатки следует испытывать в себе. Вот и еще один ответ на ваш вопрос: что мы должны преподавать? Кроме специальных знаний, надо преподавать самовоспитание.

Далее, человек должен избрать себе определенный план — как будет проверять свои способности, ибо то хорошо, что само совершенствуется, без подталкиваний со стороны. Вообще, когда слишком много нянек, мы рискуем получить безынициативного человека. Значит, второй этап — постоянная работа над собой.

— Я попрошу вас, Станислав Яковлевич, перечислить главные, на ваш взгляд, качества врача вообще, а хирурга — в частности.

— Прежде всего он должен любить людей. Что это значит? Вот мы иногда сталкиваемся с продавцом, шофером, служащим и видим, что ему можно работать со станком, с бумагами, но нельзя — с человеком, потому что он груб, не любит людей. Для врача же не любить людей вообще невозможно.

Второе — профессиональное мастерство. Наша профессия не терпит дилетантизма, у врача должен быть глубочайший профессионализм. Что это такое? Мастер своего дела. А кроме того, это знания. Добросовестность. Чувство долга. Самокритичность необыкновенная. Упорство. Инициатива. Готовность в любой момент прийти на помощь, не считаясь со своим настроением, состоянием. Жертвенность, самоотреченность. То есть качества, которые всегда были присущи русским врачам. Затем, врач должен культивировать в себе склонность к исследовательскому поиску.

— Даже если он в данный момент и не занимается научно-исследовательской работой?

— Даже если он никогда и не занимался. Ведь что такое научность? Я сейчас не вижу ни одной сферы деятельности (будь то организация, управление, даже политика, — понимаете?), где бы все не начиналось с науки. Потому что время демагогии, болтовни ушло, и сейчас человек должен понимать, к чему он призывает и зачем призывает, должен аргументировать фактами. И если он умеет оперировать

конкретными знаниями, четкими данными и фактами, — в этом залог его научного мышления. Значит, культивировать научное мышление — три.

Быть организатором работы. Есть люди, безнадёжно распускающиеся и делающие работу не в то время, когда нужно, не так, как нужно. У них чрезвычайно низок коэффициент полезного действия.

Далее, человек должен уметь формулировать свои мысли устно и на бумаге. Вы посмотрите, как дурно врачи пишут и как нечетко иногда говорят. Порой непонятно, что хочет сказать коллега. Безумно обидно. Он говорит долго, из него вытягиваешь, что он намеревался сообщить. Выясняется: человек хотел сказать совсем не то, что сказал.

Когда я упоминаю о профессионализме, то всегда из него за скобку выношу один пункт — технику. Почему? Потому что техника требует постоянной тренировки. Вот пианисты тренируются много часов подряд... Я видел недавно очередной «вестерн» с Генри Фондой, где он играет очередного шерифа. Там Фонда уходит куда-то в горы и тренируется — быстро выхватывает из кобуры кольт и стреляет по цели. Потом он убивает несколько человек «навскидку». Разумеется, это не медицина — скорее наоборот. Но необходимость тренировки профессиональной техники, то, что понимают представители многих других специальностей, врачи часто недооценивают.

Я хочу сказать, что врачу необходимо свои диагностические знания совершенно определенно тренировать. Он должен, скажем, вспоминать, с чем проводить дифференциальную диагностику.

— Что это значит?

— Ну, допустим так. Поступает в больницу больной с неясным диагнозом. Подозрение — аппендицит. Допустим. У вас в голове должна быть жесткая схема: первые 12 заболеланий, с какими врач может спутать аппендицит. А ведь что иногда получается с врачами — и молодыми и старыми? «Да, вроде на аппендицит не похоже...» Пойдите, о чем надо думать? «А почему это не брюшной тиф?..» И начинается — он еще не помнит, что такое брюшной тиф. То есть у него просто не отработана техника логического установления диагноза. То же самое и с техникой хирургической.

Молодежь подчас считает себя вправе оперировать больных, не тренируясь на трупах, на животных, и учится завязывать узлы и рассекать ткани на больном человеке. Может быть, нет условий? Неверно! Всегда можно пойти в морг и поработать. Как можно позволить себе тренироваться на человеке?..

Ну, и, наконец, последний пункт: умение вести себя в коллективе и в обществе. Я имею в виду беду не только «медицинскую» — отнюдь. Я считаю, что она имеет массовый характер во всех отраслях. Мы часто оказываемся плохо воспитанными, мы вносим зачастую в дискуссии чрезмерно много страсти. Мы легко переходим на личности. Иногда страсти разгораются, как в худшем итальянском кинофильме.

— Станислав Яковлевич, допустим, у вас одна вакансия и два кандидата на нее. У них примерно одинаковый стаж, квалификация, знания, но один обычно приветлив, другой угрюм. Какого предпочтете вы взять в клинику?

— Думаю, что это качество не является все-таки тем, которое может решающим образом повлиять на выбор. Всегда хочется покопаться в человеке и посмотреть, что он собой представляет.

— А с точки зрения общения с больными?

— Здесь даже не может быть двух мнений. Угрюмый человек пускай лучше пойдет в другую область, потому что с таким человеком и взрослым тяжело бывает, а уж детям — и говорить нечего.

— Не значит ли это, что лечение начинается с момента, когда больной видит врача?

— Вы знаете, многолетний опыт показывает, что у взрослых людей и особенно у детей есть, я бы сказал, стандартная гамма переживаний.

Представьте себе: вы сидите в комнате, входит человек. И сразу же у вас рождается какое-то чувство по отношению к нему, чувство, которое колоссально важно для дальнейшего общения. У больного человека — в еще большей степени. Что он чувствует?

Здесь прежде всего страх: пациент боится своего будущего врача, настороженно к нему относится; ему бросаются в глаза прежде всего недостатки врача, он порой не замечает достоинств. Он боится, что врач может сказать неправду. Он думает: за углом, так сказать, могут вскрыться злость, или безразличие, или равнодушие... Ведь начинается с чего? С доверия.

Значит, надо сразу открыть «двери» больному, завоевать доверие с первых секунд. Через пять минут будет уже поздно, будет трудно. Либо контакт, либо начинается сопротивление. А уж маленькие дети почти всегда начинают с сопротивления. И тут бывают катастрофы: нет контакта — нет доверия, нет доверия — не поставлен диагноз, диагноз опоздал — больной умер. Такие примеры есть.

Вот позавчера к нам в клинику доставили девочку. Попытка наладить с ней контакт не удалась — она никак не давала осмотреть себе живот, ничего не рассказывала. Мы довольно долго не могли поставить точного диагноза.

Наступило утро. Теперь боль в животе исчезла, и тогда стало ясно, что здесь — грань катастрофы: когда при аппендиците происходит гангрена отторстка, он теряет чувствительность, и боль как будто исчезает. Мы немедленно сделали операцию — как раз на той стадии, когда гангрена уже была, но еще не развился разлитой перитонит. Ребенка спасли.

Вот довольно яркий пример того, как отсутствие контакта может повлиять на своевременный диагноз и даже на судьбу больного.

— Но если такое большое значение имеет и внешний вид и манера поведения врача, если с них, по существу, начинается лечение, то все это не должно ли воспитываться еще на студенческом скамье?

— Понимаете ли, у меня вообще впечатление, что наше профессиональное образование строится не совсем целесообразно... Учебные программы составляются из обязательных дисциплин — терапия, хирургия, новые специальности, которые вытесняют воздух врачевания. Знаете, при постройке дома кирпичи должны скрепляться раствором. В медицине специальные знания должны цементироваться мощным слоем этики, деонтологии — науки о том, как должен вести себя врач с пациентом, с родственниками больного в период подготовки к оперативному вмешательству, после выписки и так далее. А у нас кирпичи вытесняют цемент; они ложатся один к одному. Врачебное здание иногда разваливается. Понимаете, что получается? Хирург должен уметь врачевать, а не только владеть ножом. Важнейшие для

воспитания врача вещи почему-то не читаются. По-видимому, вы правы: надо говорить об этом еще в институте.

— Как тебя зовут? — спросил Долецкий.
Глаза мальчика были полузакрыты. Он молчал.

— Вова, — ответила за сына мать, как отвечала все три года. — Только скажите правду: он будет жить?..

— Как, на ваш взгляд, можно развивать и тренировать организационные способности у студентов?

— Думаю, что здесь большое значение имеет участие во всевозможных органах самоуправления, обсуждение внутриполитических и внешнеполитических проблем, организация на демократических началах дискуссионных и других клубов, которые должны возглавлять люди, избираемые на короткие отрезки времени. И очень важно, чтобы как достоинства, так и недостатки избранных своевременно оценивались.

Без критики невозможно воспитать у человека организационные способности. Но, к сожалению, чаще бывает иначе. Если человек не справился, ему не дают понять, что он должен работать над собой в этой области.

— Могут ли воспитывать организаторские способности научные студенческие общества?

— Бесспорно. Они даже имеют, быть может, большее значение, чем что-либо другое.

— Вы уже говорили, что врач должен уметь владеть пером. Не следует ли и эту способность развивать еще в институте?

— И в школе... Я убежден: чем раньше это воспитывается, тем лучше. Но речь идет, повторяю, о двух фактах: люди должны знать, что им нужно, и должны воспитывать в себе то, что им нужно. Тогда, воспитав в себе определенные задатки, они смогут в дальнейшем широко использовать их. Скажем, практик сможет стать исследователем, ученым.

— Можно ли сказать, что вести исследовательскую работу могут не только аспиранты?

— Научной работой может заниматься любой врач — вспомните Дымова у Чехова...

— Насколько важно студентам читать книги ученых — я не имею в виду специальные труды — и книги о них?

— Я сам с удовольствием читаю. Меня часто поражают жизненные подвиги, энергия, сила, это хорошо в плане обучения примером. Показом. Но искать в поступках исторических личностей точных путей для себя, в общем, довольно трудно. Ассоциации не всегда срабатывают. Такие книги хороши тем, что дают принципиальный пример. Я с интересом читаю книги коллег. Но у меня всегда такое внутреннее ощущение, что в одном случае сказано слишком мало, а в другом — слишком много.

— Каково ваше мнение о книге Николая Амосова «Мысли и сердце»?

— А мы не очень далеко уйдем от основной темы разговора?

— Мы немного отвлечемся, но, поймите, интересно, что думает хирург о книге хирурга.

— Пусть так... Иногда люди за кастовой замкнутостью ничего не говорят, ничего не показывают. Это дурно, это неправильно. Мы живем в такой век, когда надо приоткрыть завесу. Вересаев в свое время сделал это — правда, получилась скандальная история.

— Вы имеете в виду его «Записки врача»?

— Совершенно верно. Что же касается «Мыслей и сердца», то я считаю, что книга высокоталантлива, как и сам ее автор. Но я не убежден, что следует перед непрофессионалами, немедиками с такой полнотой «обнажаться». Не могу упрекнуть автора — он абсолютно честен, абсолютно порядочен, но благодаря ему в нас иногда теперь видят Амосовых. Расскажу вам такой случай.

Сегодня ночью я был у друга в больнице. Когда он проснулся после операции, то задал мне только один вопрос: «Операция нужна была? Может быть, не надо было ее делать?..» Он тоже читал Амосова, читал с интересом. Он помнит рассказы о врачебных ошибках, и вот это ему больше всего не давало покоя. Хотя у него самого речь шла о таком заболевании, что он умер бы, если бы его не оперировали.

Я не судья Амосову. Повторяю; он замечательный человек и блестящий хирург, оказавший к тому же и талантливым литератором. Но его книга, как и всякое произведение искусства, вызывает разные мнения...

Тут вошла сестра и сказала:

— Станислав Яковлевич, через час операция.

Долецкий извинился и встал.

— Надо готовиться, — сказал он.

— А можно мне присутствовать на операции?

— Можете присутствовать, — сказал Долецкий и быстро вышел...

В операционной над мальчиком склонились оперирующий профессор С. Я. Долецкий и ассистенты — профессор Ю. Ф. Исаков и хирург И. И. Клейменова. Три пары рук в перчатках: тонкие, ищущие, в морщинах резины пальцы Долецкого, уверенные, в туго натянутых перчатках, пальцы Исакова, гибкие, тонкие руки Клейменовой. Наркоз дает врач-анестезиолог М. В. Петров. Мальчик заснул.

И тогда скальпель Долецкого медленно, словно примеряясь, проводит по животу ровную поперечную линию... И пока идет операция и хирург медленно и спокойно оперирует, хочется крикнуть:

— Быстрее!

А когда она кончается за час пятьдесят минут вместо положенных по канонам 4—5 часов, начинаешь понимать то, что говорят присутствовавшие на операции хирурги:

— Блестящая техника... Блестяще разобранная патология анатомии... Блестяще данный наркоз...

Живи, Вовка!..

Долецкий в кабинете пьет кофе и смотрит на скелет новорожденного, будто молча отчитывается перед ним.

Мы все перед ним в ответе. Мы все делаем, что можем — каждый свое. Только врачи ближе — они на передовой. И белые халаты — это их солдатская форма в атаке на смерть.

Интервью вел Г. ЦИТРИНЯК.



В начале осени, когда ни одна графа в таблице хоккейного чемпионата страны еще не была заполнена, мы отдыхали от своих репортерских дел, но... уже тяготились этим отдыхом. Мы не признавались в этом друг другу, и даже наоборот: ах, как хорошо, говорили мы, что нет хоккея и не нужно писать отчеты! Но однажды сошлись и решили: хватит, пора разобраться, чего ради мы отдали свои сердца и свои перья хоккею.

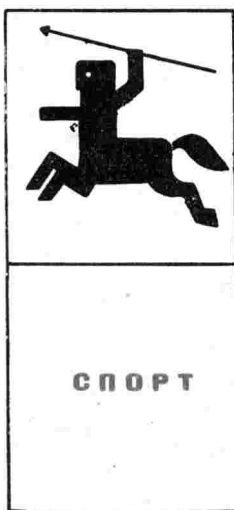
Однако не прошло и одного хоккейного периода — двадцати минут чистого времени, как стало ясно: диалог не клеится. Нет разногласий. Нет спора. А что за диалог без спора?.. И тут пришла спасительная мысль: найдем-ка себе оппонента. Но кого? Болельщик пристрастен, его интересует частная жизнь хоккеистов, кто куда собрался переходить, будет ли еженедельник «Хоккей»...

И тогда мы придумали «оппонента» — этакую бес-

шник с утра уже подгоняет время — смотрит на часы. И ты тоже смотришь на часы.

Макеты и гранки, планерки и летучки — все это требует времени. А ведь надо выкроить минуту и перелистать старые газеты: как играли эти команды прежде, как располагались тройки, какую избрали тактику? Может, ничего и не пригодится для отчета, а может, какая-то деталь понадобится. Надо хоть полчаса отдохнуть: впереди вечер тяжелой работы. Надо приехать на стадион пораньше: проверить составы команд, узнать, кто судит, перекинуться парой слов с какой-нибудь хоккейной знаменитостью, — тоже может оказаться нелишним. Надо, надо...

Для любителей хоккея хороший матч — словно хорошая книга. Он читает ее залпом, и ему в конце концов наплевать, как она написана — простыми или сложноподчиненными предложениями. За два часа он



ИСПОВЕДЬ ХОККЕЙНОГО РЕПОРТЕРА

Евгений Рубин, Дмитрий Рыжков

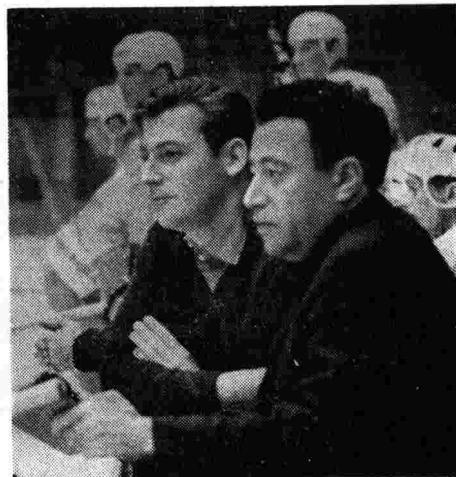


Фото Д. Донского (АПН) и Ю. Моргулиса.

страстную и беспристрастную кибернетическую машину (благо, один из нас по образованию физик).

Итак, вечер, редакция газеты «Советский спорт», где мы и состоим репортерами.

Некто по имени К И Б Е Р:

— Прошу не волноваться. Я не буду спрашивать, женат ли Зимин и правда ли, что Альметов собирает еще десять лет играть в ЦСКА. В моей памяти заложены все статьи, отчеты, таблицы, напечатанные за последние пятьдесят лет во всех газетах и журналах мира. Но я хочу знать, как вы пишете и о чем вы не пишете. А прежде всего — что такое хоккей, по вашему мнению?

Ну и вопрос! Пожалуй, мы над этим и не задумывались. Некогда было.

Вот, скажем, играют «Спартак» — ЦСКА. Болель-

оторвется разве лишь дважды — чтобы за сигаретой или бутылкой пива перевести дух и поделиться впечатлениями с приятелем. А тебе и дух перевести некогда.

Ждешь перерыва, чтобы как-то сгруппировать свои мысли, ответить на тобою же поставленные вопросы, набросать конспект рассказа о периоде. Потом, возможно, придется все это выкинуть — дальнейшие события могут перечеркнуть все наброски. Ну, а вдруг не перечеркнут?

Матч закончен. Болельщику некуда спешить. Он неторопливо идет в метро, смакуя пережитое и грустя, что время пролетело так быстро, а ЦСКА и «Спартак» встретятся вновь не скоро. Ты же вскакиваешь со своего места одновременно с финальной сиреной и, расталкивая зрителей локтями, наперегонки со своими коллегами мчишься к телефону. Газета ждать не может: у нее свой план, свой график,



свои авралы и простои. И, перебивая гомон расходящейся толпы, орешь — да, именно орешь — в телефон:

—...Но Толмачев начеку. Да, Толмачев. Передаю по буквам: Толя, Оля, Ляля, Миша, Аня, чашка, елка, Виктор. Да, начеку. Понятно? Чашка, ель, Костя, уши. Начеку, вместе...

Ты уходишь со стадиона черным ходом, потому что остальные двери закрыты. Уходишь, прощаясь с единственным оставшимся здесь человеком — вахтером. Уходишь, храня в памяти не великолепные броски и красивые комбинации, а все эти потерявшие всякий

На снимках: сверху — Вена, чемпионат мира, у хоккейного обозревателя должен быть хоккейный характер; слева: «Когда Старшинов идет на добивание, на дороге лучше не попадаться».

смысл «чашки, елки и Кости». И по дороге от стадиона до дому не даешь покоя и себе и дежурному редакции: не перепутали ли там минуты, не выбросили ли в спешке фамилию, не «потеряли» ли какую-нибудь шайбу.

А утром... утром, не дойдя каких-нибудь десяти метров до своей редакции, где на столе уже ждет тебя свежий номер газеты, ты стоишь на улице у стенда «Советского спорта»: «Как там это все выглядит? Не сократили ли там что-нибудь важное?.. Ну, конечно, сократили». И виноват в этом ты сам, потому что вместо отведенных твердой редакторской рукой ста двадцати строк передал сто двадцать три, а то и сто сорок три с половиной.

Опечаленный, преодолеваешь ты последние десять метров и снизу угадываешь, что именно в твоей комнате уже звонит телефон. «А почему вы не отметили?..» — рабочий день начался. Снова макет и гранки. Снова правка. Снова вечером матч.

Где уж тут заниматься философствованием! Кибера наше молчание не смутило.

— Ваши затруднения мне понятны. Но, прошу вас, не стесняйтесь, выкладывайте все. Ведь для нас, самообучающихся киберов, важен не столько вывод, сколько сам процесс мышления.

Д. РЫЖКОВ. У Лема есть рассказ, в котором описывается, как мелькание светового пятнышка на экране осциллографа вызывает у астронавта эпилептический припадок. Частота появления пятнышка совпадает с тете-ритмом — есть ли такой, не знаю — мозговых процессов. Возникает резонанс, и... Так вот, ритм хорошего хоккея тоже совпадает с каким-нибудь, ну, назовем его сигма-ритмом, что ли. И тоже вызывает в некотором роде помешательство. У журналистов — тихое: ведь в ложе прессы на внешние проявления восторга наложено табу...

Е. РУБИН. ...которое далеко не всегда соблюдается, особенно в красные хоккейные дни, когда в ложе полным-полно посторонних.

Д. РЫЖКОВ. Короче, азартному человеку сохранить ясность ума на хоккее довольно трудно. И я

знаю только одно антихоккейное средство — отчет в газету.

Е. РУБИН. Впечатления должны отстояться, должны пройти проверку временем — эти рецепты не для спортивных журналистов. И если вы, уважаемый Кибер, хотите познать эмоциональную сторону хоккея, не занимайтесь отчетами. Ведь мы, по существу, себя обкрадываем. И здорово обкрадываем.

Знаете, я когда вхожу во Дворец спорта и достаю из кармана пропуск — а на нем наискось «Пресса», — каждый раз ловлю себя на одном и том же: предъявляю пропуск контролеру, а сам кидаю взгляд на мальчишек, обступивших турникеты. А они смотрят на меня и завидуют. Я это все сам пережил.

Ты, Дима, еще мальчишкой был, когда к нам чехословацкая ЛТЦ приезжала. В Москве — никаких афиш, билеты не продают, и вообще ничего не известно. Одни слухи. Мы на всякий случай часов в двенадцать на «Динамо» поехали. Мы — это половина первого курса Московского юридического института. Лекции, разумеется, побоку.

Вот там я почти до самого начала матча также простоял у того входа, где по пропускам. И про каждого, кто входил, думал: «Кто это? Ваньят? Бару? Мержанов?» — и завидовал им жутко: они ведь среди всех этих Бобровых и Трофимовых — свои люди... Может, и они мне тогда тоже завидовали: вот, мол, стоит — и горя ему мало, никаких отчетов, никаких анализов, никаких «срочно, в номер».

На матч, да и на следующие два, я пробрался, потому что для меня на «Динамо» заказанных путей не было. Был там тогда знаменитый «дядя Вася» — на самом-то деле он был не дядя Вася, а только так себя именовал, на всякий случай, если уличат во взяточничестве. С его помощью я и пробрался.

А ты думаешь, эти, нынешние, которые толпятся у турникетов, не пробираются? Все, как один, проходят. И потом домой идут счастливые, будто с праздника...

— Кто же мешает вам вернуться к юриспруденции, а во Дворец спорта ходить обычным болельщиком, которому вы сейчас завидуете?

Е. РУБИН. Трудно, конечно, понять человека, сменившего неторопливый и годами налаженный быт представителя «оседлой» профессии на хлопотливую и безалаберную из-за вечной спешки жизнь спортивного репортера. Но, поверьте, нас объединяет отнюдь не разочарованность в избранной поначалу профессии: есть среди нас и без пяти минут кандидаты наук и уже готовые следователи по особым делам.

Наверно, почти любой мальчишка может без запинки назвать любой рекорд в любом виде спорта и узнать на улице не только знаменитого форварда, но и его жену. У большинства с годами это проходит, как проходят детские болезни. У других, несмотря на грозные родительские кары, невзирая на лишение стипендий из-за несданных хвостов и ссоры с женами из-за потерянных вечеров, остается на всю жизнь. Из них-то, неизлечимых, и приходит пополнение в ряды спортивных журналистов.

Д. РЫЖКОВ. Превращение обычного человека в спортивного репортера — это, так сказать, неуправляемый процесс. Превысила масса критическую — и погиб человек. Еще пять лет тому назад я и не помышлял о журналистике. Работал в Институте химической физики. Учился в аспирантуре. Играл, правда, в гандбол в команде мастеров. Но, кроме формул, ничего не писал.

Теперь меня порой спрашивают: как ты мог поменять физику на какие-то там голы, шайбы? А я ее

и не менял. Просто написал ряд статей в газету — и пошла неуправляемая реакция.

— Все это любопытно, конечно, но вернемся, пожалуй, к делу. Не посоветуете ли вы мне самому поиграть в хоккей для получения информации из непосредственного источника?

Е. РУБИН. Тут я пас. Сам никогда не играл, но сказать «нет» не решусь. Пусть Дима посоветует: он как-никак солидный хоккейный опыт имеет, даже в двух международных матчах с чехословацкими хоккеистами участвовал.

Д. РЫЖКОВ. Сразу после первого матча редакции «Советского спорта» с чехословацким посольством я готов был дать роскошное интервью о хоккее. Рассказать, какие чувства обуревали меня, когда я забрасывал каждую из трех «собственных» шайб, рассказать, как, подставляя грудь... Впрочем, чего не было, того не было: под шайбу я подставлял — да и то с трудом — только клюшку. Но все равно, интервью я мог бы дать интереснейшее, хотя в тот момент я тем более не взялся бы математически точно сформулировать, что же такое хоккей. Кстати, в моей репортерской практике еще ни один хоккеист — настоящий хоккеист — не ответил что-либо конкретное на столь философский вопрос. В лучшем случае услышишь штампы, которые придуманы нами же.

Так и не добившись от нас ответа на столь «философский» вопрос, Кибер решил быть конкретнее:

— Я хочу знать, как осуществляется обратная связь?

— ???

— Влияют ли на вашу работу оценки тех или иных тренеров?

Е. РУБИН. В книге «Пи» есть изречение: «Если у тебя нет врагов, значит, ты ничего не добился в жизни...» Следовательно...

Д. РЫЖКОВ. ...Если у журналиста нет врагов, значит, он не журналист...

Е. РУБИН. Теоретически и журналист и тренер делают одно дело. Больше того, теоретически этот союз должен приносить обоюдную пользу. На практике же... Разные люди — разные отношения.

Д. РЫЖКОВ. Помню, поначалу довелось мне дважды писать о матчах московского «Локомотива» с горьковчанами, и упреков на долю железнодорожников в моем отчете досталось немало. А через несколько дней познакомили меня с тренером «Локомотива» Анатолием Кострюковым. Представились, а потом... «Знаете, разбор игры я делал по вашему отчету. Но вскоре щелчок по носу. Анатолий Тарасов пожаловался: «Кому вы, мол, отчеты доверяете...»

Е. РУБИН. Что правда, то правда. Всем мил не будешь: то недохвалил, то перехвалил... то чересчур резко, то критиканство...

Д. РЫЖКОВ. А порой можно получить письмо и с таким обращением: «Уважаемая (кроме Д. Рыжкова) редакция...» Когда так к тебе относятся болельщики, это еще полбеды. Хуже, когда в таком тоне начинают говорить и иные тренеры. «Враги-журналисты» получают даже порядковые номера: «враг № 1», «враг № 2» и так далее. Словом, диктуя иной раз отчет, чувствуешь себя между молотом и наковальней.

Конечно, можно писать и по-иному: два-три комплимента — туда, два-три — сюда. Все довольны. Никто не применяет против тебя силовых приемов. Только это не журналистика.

Короче, хоккейный характер должны иметь не только игроки, но и хоккейные обозреватели.

— Хоккейный характер — это что, еще одна не сформулированная математически закономерность? Или нечто более конкретное?

А. РЫЖКОВ. В большинстве видов спорта по манере игры можно определить характер человека. А попробуйте сделать это в хоккее. Ну, скажем, Старшинов. Боец, рыцарь без страха и упрека, труженик и прочее, прочее... чего только не писали о нем журналисты! Когда он идет на добивание, на дороге лучше не попадаться. А в жизни...

Как-то при мне он с женой оформлял билеты на туристскую поездку. Что-то было неясно, что-то непонятно. Но Старшинов «на добивание» не пошел: «Рай, сходи, узнай...» И Рая узнала. А лидер спартакковского нападения, бесстрашный боец, рыцарь, стоял в стороне.

Таких примеров можно привести много. У одних хоккеистов характер мягкий, у других нет. Однако стоит и тем и другим надеть хоккейные латы и выйти на лед, как происходит с ними некая метаморфоза. Причем не только внешняя.

Е. РУБИН. Для меня они, эти ребята, с которыми я в командировках бок о бок неделями жил, не совсем обычные люди. Что-то от детского преклонения и сегодня осталось. Может, это потому, что сам я дальше запасного в курсовой команде не пошел и в меня шайбой никто по-настоящему не стрелял...

Вот ты подходишь к Дворцу спорта и встречаешь по дороге, скажем, Витю Цыплакова, которому с его комплекцией, кажется, только в шашки играть, или маленького Женю Зимина. До игры меньше часа, а они бог знает чем занимаются. Один добывает контрамарки для приятелей, другой выглядывает знакомую девушку. Потом они торопливо скрываются в раздевалке. А потом выходят на лед — совсем другие люди. Могучие, отрешенные от всего земного, выросшие и раздавшиеся в плечах. Рыцари. Будто вместе с «цивильными» пиджаками и остроносными туфлями они оставили в раздевалке и все свои мелкие житейские слабости.

Тот же хрупкий Цыплаков, не задумываясь, мчитя с шайбой навстречу Сцилле и Харибде, навстречу двум хоккейным скалам — Виктору Кузькину и Владимиру Брежневу. Тот же маленький Женя Зимин без тени страха подставляет себя под летящую со скоростью снаряда шайбу.

Хоккей делает человека бесстрашным и самоотверженным. Или, может быть, заставляет найти в себе эти качества, достать их из каких-то глубоко скрытых тайников характера. Если достать невозможно, тогда лучше поискать себе другой вид спорта.

Можно быть со многими из хоккеистов на «ты», можно подолгу жить с ними бок о бок в отелях, но каждый из этих ребят все-таки остается для тебя загадкой и немного идиолом.

— Но к иголу нельзя относиться непревзвзято. За иголов принято... как это называется... болеть.

Е. РУБИН. Болеть нам по службе не положено. Хотя каждому, кто читает «Советский спорт», известно: Рубин — безнадежный болельщик, да к тому же пристрастный. Я это по письмам знаю. И по разговорам с игроками и тренерами тоже. Все спартаковцы и их болельщики точно знают, что мое перо верно служит команде «Динамо». А динамовцы меня своим не считают. Они пишут в редакцию: «Уважаемый тов. редактор! Нельзя доверять хоккей человеку, который видит в нем только одну «альметовскую тройку». Зато когда я попадаю в команду ЦСКА, то меня иначе не называют, как «спартаковец».

Ну, а что делать, если я и правда болею? Болею, и

все тут. Например, за Бориса Майорова. Года три-назад меня прямо завалили письмами: «Почему вы покрываете злостного нарушителя Б. Майорова? Вчера он опять спорил с судьей и стучал клюшкой об лед, а вы об этом ни слова». Правильно: ни слова. Потому что выставлять такого человека на позор у меня рука не поднимется. Кто-нибудь видел, как он потом мучается и корит себя за характер? Кто-нибудь знает, как он тренируется и сколько душевных сил отдает игре? Кому-нибудь известно, что для Майорова интересы команды выше всего? А мне известно. Так я же обязан все это положить на весы.

И за Володю Юрзинова я болею — сам ему рекомендацию на факультет журналистики писал. Вот потерял человек как-то «свою игру». Ищет, ищет, изводит себя на тренировках и не может найти. Так что же: «Ниже своих возможностей опять сыграл Юрзинов»? Нет уж, извините.

И за Александра Альметова я болею и за своего друга Николая Эпштейна и его многострадальный воскресенский «Химик».

А. РЫЖКОВ. Я жестче в оценках. Может быть, потому, что мне не приходилось бывать с хоккеистами в длительных поездках, не приходилось жить с ними бок о бок. И если к кому-нибудь я и отношусь со снисхождением, так это к хоккейным вратарям. Тем более что на их долю лавры достаются редко. Чаше — тернии.

Наверно, это у меня профессиональное, что ли, чувство уважения: ведь я тоже был вратарем. И у нас в гандболе броски настолько мощны, что вратари порой оказываются в нокауте. И у нас зритель чаще свистит, чем аплодирует. Больше того, Николай Пучков утверждает, что у хоккейного вратаря жизнь легче, нежели у гандбольного. Но я-то знаю, что это не так. Даже стоя за бортом, невольно отшатываешься, когда где-то рядом о доску ударяется шайба. Так как тут не быть хоть немного более снисходительным к хоккейным вратарям!

На этом, очевидно, и завершился бы наш разговор, но Кибер, хотя все уже было ясно, вновь спросил: а что же такое хоккей?

Хватит, решили мы, кажется, Кибер выходит из-под контроля, пора с ним кончать. А впрочем...

— А впрочем, — сказал один из нас, — почему бы вам, уважаемый Кибер, самому не влезть в шкуру хоккейного репортера и тем самым получить, как вы выражаетесь, информацию из непосредственного источника?

И что же? Вскоре в одной из газет мы прочитали:

РЫЦАРИ ШАЙБЫ ВЫШЛИ НА ЛЕД

Незадолго до свистка арбитра, возвестившего о начале этой захватывающей хоккейной премьеры сезона, вашему корреспонденту удалось побывать в раздевалке одной из встречавшихся вчера команд. «Мы отлично подготовились к сезону, — сказал заслуженный тренер. — Восемь наших парней поступили в техникум. Двое — в институт. Словом, будем бороться за золотые медали».

Этот матч показал, что слова заслуженного тренера не расходятся с делом. Мужественная молодежь, воспитанная в лучших традициях клуба, ни в чем не уступала ветеранам. А комсорт команды — этот опытный ледовый боец, дважды зажигал красный сигнал бедствия над воротами соперников.

В заключительные минуты встречи шайба как бешеная металась от одних ворот к другим, однако ничейный счет не изменился. 2:2 — боевая ничья.

К. ИБЕР (наш корр.).

А еще говорят, киберы неспособны к творчеству!..

ТАКАЯ ПОДВОДНАЯ ЖИЗНЬ

Этот дом, как такси — в шашечку, удивительный дом, и не только для рыб удивительный и для прочей морской неразумной живности, он даже мудрых дельфинов интриговал; о журналистах и говорить не приходится.

Этот дом (дом в три комнаты на живописной подводной скале, ах, какой вид на черноморское дно!), он все же чуть поскромнее, чем подводный дом Фантомаса. Но то — кино (лишь бы нервы пощекотать, хотя и не без иронии), а здесь реальные «ихтиандры», то бишь члены клуба любителей подводного плавания из Донецка, отпуска «ихтиандров» давно закончились: им снятся в подводном доме беспокойные сны.

Этот дом... «Ихтиандры» пытались ответить здесь вслед за Ивом Кусто озабоченному собственной плодовитостью человечеству: жить на дне моря или не жить? И вот уже дом обживают две женщины (в мировой подводной практике, кстати, такого еще не

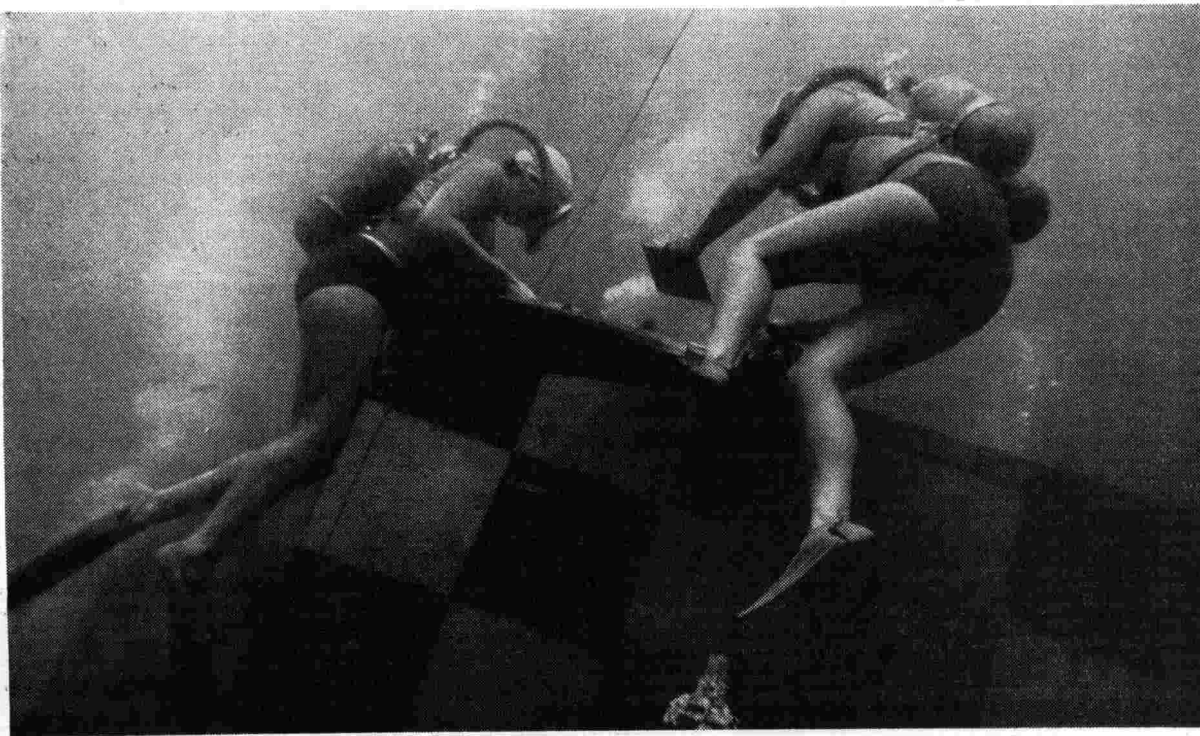
было) и красуются вечерами, подводные девы, на телеэкране.

Этот дом привел в экстаз не только местную, крымскую, но и республиканскую прессу («Так, значит, акванавты гордятся, что их дом стоит на глубине двенадцати метров от берегов Украины. Что бы еще вы хотели сказать со своей глубины нашим читателям?»), мои московские коллеги также ринулись в бухту Ласпи; один даже на самокате приехал.

Я приехал к ним в лагерь, в бухту Ласпи, третьего сентября, а четвертого, пробыв под водой неделю, на берег выходила первая пятерка акванавтов.

Представляю эту пятерку:

Александр Хаес, врач-хирург, руководитель эксперимента и глава клуба «Ихтиандр». Прошлым летом уже жил под водой, первым провел ночь в доме «Ихтиандр-66». Имеет все основания именоваться «ак-



На снимках: 1. Мария Барац и Галина Гусева на крыше подводного дома (стр. 99 внизу).

Фото Ю. Транквилицкого.
(корреспондент журнала
«Советский Союз»)



2. Выйдя на берег, Александр Хаес отогревается в спальном мешке (справа).

Фото автора.

ванавтом № 1», то есть первым в СССР акванавтом. К своей популярности относится когда с иронией, а когда и всерьез. Во всяком случае, песня. «А Саша Хаес, наш добрый Хаес...» главе клуба нравится.

Юрий Советов, шахтер-крепильщик. Имел должность командира первой пятерки и, как и следует командиру, вышел на берег последним, проведя в доме еще одну ночь. Таким образом, является единственным в нашей стране человеком, который прожил восемь суток в подводном доме. Прошлым летом также жил под водой.

Юрий Качуро, инженер. Никаких должностей не имеет, но зато обладает неимоверной физической силой. Один носил к воде балластные чушки весом в 200 килограммов. Отсюда и родилось: «подъемный кран Качуро-1». Как человек сугубо технический и конкретный, не признает самокопания и всяких прочих рефлексий, посему дневник под водой не вел.

Владимир Песок, научный сотрудник. Хотя Володя человек тоже технический, а также мотоциклист, но вот склонен к самоанализу, не чужд литературных наклонностей.

Сергей Гуляр, врач. Отчаянный мотоциклист: дорожный указатель «кирпич» для него — «добро пожаловать».

Из дневника ВЛАДИМИРА ПЕСКА:

«29 АВГУСТА. Вчера после затянувшегося подготовительного периода мы вошли в дом. В кубрике воды по щиколотку, темно. Как и на поверхности, дом сдается с недоделками. Как только зашли в дом, стало ясно, что тут не наотдыхаешься, а была такая тайная мысль, когда мы с вещичками топали на погружение.

Прошедшей ночью я дежурил до трех часов. Под водой прекрасно видны зарницы.

Сегодня в 20.30 — ЧП. Вырубили энергию. В это время был в гостях Леня Яйленко. Хаес как раз демонстрировал с ним опыты по передаче мыслей на расстояние: «Медиум, будьте внимательны. Будьте внимательны, медиум...» И вдруг погас свет и прекратилась подача воздуха. Вода стала прибывать медленно и столь же уверенно. Шуткам не было конца. Я стоял в воде с телефонной трубкой и переговаривался с Киклевичем. Советов, Хаес и Гуляр лежали на верхних полках. Хаес демонстративно повернулся к стене и попросил разбудить его утром. Он верит в звезду «Ихтиандра». А Юра Качуро, как самый мощный из нас, держал тройник, по которому подается в дом воздух. Я стал шуметь, чтобы все разобрали комплекты и аппараты. Как говорит Хаес, я нервни-

чал больше всех. Думаю, что это не от нервов. Просто я люблю порядок и считаю, что он должен быть даже тогда, когда компрессор включен, и горит свет, и есть телефонная связь.

30 АВГУСТА. 6.30. Первой в дом приплывает Лина — наш утренний ангел. Она берет на анализ выдыхаемый воздух. За ней Боря Песок — измеряет глазное давление. За ним, как всегда веселый, Дима Галантионов с контейнером. (О Диме, самом первом московском акванавте, я уже писал в январском номере «Юности» за этот год. Дима, кажется, пока единственный человек на нашей планете, который, живя на морском дне, получил письмо с просьбой измерить палец для обручального кольца. — Ю. З.). Это безнадежно скучное дело — писать, кто и зачем пришел в дом. Лучше рассказать, как полощется рассвет. Рассвет уже полощется в раскрытом люке и плавно встает за стеклами иллюминаторов. Смотрю в левое окно лаборатории: круто уходит вверх скала, покрытая водорослями. Вблизи скалы роем стоят мелкие ставриды: при каждом движении они блестят, будто составлены из осколков зеркала...

18.45. Я перебрался жить в лабораторию. Все было бы отлично, но капает слегка с потолка, нет трансляции и выше уровень шума. Но зато я здесь один и могу спокойно глядеть в иллюминатор (хоть во все три). Начинаю глядеть, и что же? Ничего интересного.

Все время меняется уровень давления. Очевидно, из-за волнения наверху.

В тот же день АЛЕКСАНДР ХАЕС писал в своем дневнике:

«Дневник пишется ретроспективно, с опозданием более чем в сутки. Поэтому общий фон смешан, реакции тоже.

Неоднократные катаклизмы с затоплением, бывшие в первые два дня, не отразились на мне, почему-то я был уверен в счастливой звезде «Ихтиандра».

День прошел без ярких впечатлений. Все время загроможено исследованиями. Это очень нужно. Потом из кучи данных будем выискивать жемчужные зерна. Дай бог найти нам что-нибудь интересное!

Опять целый день обжорство, опять изжога. Протестовал против обильных порций. Часть еды, даже мяса, выбрасываем.

Субъективное состояние хорошее, но нет восторженности, все кажется обычным, должным.

Мара делает гемодинамику с особой тщательностью и ответственностью. Смотрю на нее с восхищением; видно, она человек долга. С трудом выдерживаю исследование, уже около часа ночи.

Из дневника ВЛАДИМИРА ПЕСКА (продолжение):

«31 АВГУСТА. Настроение умиротворенное. Нет бодрости и жажды деятельности. Отмечаю изменения в шуме. По-моему, что-то меняется в режиме подачи воздуха. Почему-то боюсь звонить наверх. Вообще слегка напуган начальством и друзьями, которые считают, что я лезу во все дырки.

14.00. Ну и народу было утром! Нас пятеро и еще

человек семь посетителей. По телефону спрашивают: «Там есть кто-нибудь из акванавтов?»

Сейчас Жора Тунин включил какого-то адского «кнозла», и из него валом валит дым. Замечаю, что быстро устаю. Быстро, просто мгновенно засыпаю, если получаю такую возможность. Просыпаюсь отдохнувшим. Мучает мысль о верхних. Мы, если исключить элемент риска, живем отлично. Во всяком случае, кормят нас, как на убой, и — это главное — на нас нет ответственности. Вся ответственность на верхних. Звоню: «Кто оператор?» «Барац». «А кто оператор?» — настаиваю. «Барац сейчас», — раздраженно отвечает он. Видно, он от пульта и не отходит.

21.00. Теряю голос.

1 СЕНТЯБРЯ. Интересно. Мне кажется, что я могу совместиться с любым человеком. А со мной не могут совместиться. Как это называется?

Проводим работы в воде. Киклевич поручил мне пилить трубу. Пристроился удобно и перепилил довольно быстро. Работал с азартом. В это время Гуляр и Советов сняли с меня плавки перед телекамерой. Я хотел Гуляру перепилить шланг, а потом жаль стало аппарата, так что я перекрыл ему баллоны.

С утра прицепился борец за чистоту Качуро. Требуется создать мусорное ведро. Пусть создает.

Мне кажется, что я психологически не изменился. Есть немного в сторону успокоения. Так как мы живем в замкнутом пространстве, я чувствую необходимость более быстрого примирения, если не могу изменить порядок. Вообще все стычки занимают в нашей жизни очень мало места, но если бы их не было, — о чем тогда писать? О том, что мы уже прекрасно вжились в наш дом, что мы совершенно не удивляемся воде в окнах, что мы лежим на полках, как в поезде, что мы совершенно обыденно себя ощущаем?

Вечером говорю Хаесу: «Если бы здесь пять Песков было, я бы умер от скуки на вторые сутки». Хаес: «Если бы здесь было пять Песков, это была бы типичная палата психбольницы».

В тот же день СЕРГЕЙ ГУЛЯР писал:

«Состояние без изменений. В середине дня за стеклом иллюминатора увидели дельфина. Хаес, Качуро и я вышли поплавать рядом с дельфином. Выйдя из дома, я начал издавать звуки, похожие на дельфиньи. Дельфин, видимо, услышал, но не удивился диким звукам: много таких есть дельфинов. Все же — вот умница! — подошел ко мне, дал потрогать себя и уплыл.

Отношения наши в доме стабилизировались. Хаес по-прежнему подкалывает Песка. Качуро кажется, что он живет в доме целую вечность, — очевидно, привык. Выходить из дома на поверхность никто не хочет. Песок говорит: «Тут кормят хорошо, да и в центре внимания все же». Советов — полный штиль и спокойствие, по-моему, даже слегка гипертрофированное. Повышенное давление все усиливает вдвое. Меня уже не раздражает курение Хаеса, Советова и «Гостей». Кажется, я прожил бы в доме вечность. Почему-то неудобно перед ребятами, обслуживающими дом. Получается вроде, что они работают на нас. Они вкалывают, а мы «играем в лабиринт» (имеется в виду психологический тест. — Ю. З.) и объедаемся. Тунин, Скубей, Островский, Радченко, Данильченко, Грабов погружаются по несколько раз в день в любую погоду. У каждого из них есть уже сутки пребывания в доме.

Все показатели жизненных функций в доме улучшаются. Наверно, человечество все же переселится на дно. Кто только будет обеспечивать?

Чувствуется гиподинамия (недостаточность движения. — Ю. З.). Зарядку делать нет желания. Правда, это желание и вообще бывает у меня редко. Качуро без работы первый день вообще спит, но потом разошелся, приводя дом в порядок. Сейчас он больше всех «сосет воздуха». Я подсмотрел, что он тайком тягает по дну тяжелые балластные чушки (250 кг).

Песок сейчас лежит на лежаке и дрыгает ногами: разминается.

Вообще сегодня самый легкий день. Дельфины, общий анализ крови — и все. Отдыхаем, пишем.

И еще одна запись того же дня — из дневника ЮРИЯ СОВЕТОВА:

«Читал книгу. На секунду отвлекся и подумал о том, что нужно сходить в палатку и взять яблоко. За время пребывания в доме я подобного за собой не замечал. Я чувствовал себя в ту секунду на земле».

Из дневника ВЛАДИМИРА ПЕСКА (продолжение):

«2 СЕНТЯБРЯ. Днем была опять проверка нервов: исчезла энергия.

Все дни у нас работает Жора Тунин, жилистый, мускулистый, как Демон у Врубеля, где он сидит, сце-

пив руки (Жора Тунин отвечал за исправность электропроводки и аварийной сигнализации в доме. — Ю. З.). «Козел» греет отлично.

Опять затопление. Хаес бросился спасать животных (в доме жили белые крысы, морские свинки и кролики. — Ю. З.). В это время я, разобравшись в причине аварии, завопил: «Блески! Все ясно!». Хаес: «Дегенерат! Животные гибнут, а ему — блески». Оказалось, что все поголовье живо. Звонит Барац. Хаес: «Юра, из всех животных погиб только кардиограф». Его действительно чуть-чуть подмочило.

3 СЕНТЯБРЯ. Как здорово, что Толя Зубченко сделал контейнер (в контейнере акванавтам опускали пищу, газеты, которые писали о них, и т. д. — Ю. З.)! А мне проект казался слишком сложным. Что бы мы делали без контейнера?

В эту ночь ходили на прогулку. Нырять в абсолютную темноту, начинаешь раздвигать ее руками. С рук срывается рой серебряно-холодных искр. Он вылетает в воздухе — тью, черт! — в воде по изогнутым траекториям, и получается такой изгибающийся факел, который гаснет, как только рука остановится. Прекрасен вид дома, если глянуть на него ночью из чуждой человеку среды. Непередаваемый уют проистекает из окна. Юра Качуро, богатый в теплом свитере, спал, скрестив руки на груди. Он и так довольно мощен, наш Качуро, а тут его мощь еще увеличивала водная прослойка.

Я стал опускаться, разыскивая линию, который Сережа Гуляр привязал днем. Нащупав линию, я погнался за ребятами. Отойдя метров десять, оглянулся. Черной громадой стоял на скале дом. Из окон лился мягкий зовущий свет.

Я опять пошел по линии. Через несколько минут впереди показалось зарево. Это были ребята с коногонкой (шахтерская лампа. — Ю. З.). Очертания фигур, фонарь, серебряные искры, водоросли, песок, камни, резкие тени, абсолютная чернота моря и — тишина, полная тишина. Шарим под камнями, ищем крабов. У меня засвистел акваланг; сразу поворачиваем назад. Хаес, думая, что у меня уже кончился воздух, предлагает свой загубник.

4 СЕНТЯБРЯ. Первый раз совершенно не спал днем. Чувствуется, что полностью адаптировался.

После обеда. Люди делятся на две категории: одни складывают кости на стол, вторые — на край своей тарелки.

5 СЕНТЯБРЯ. Сегодня выходим. Это меня тревожит больше, чем предыдущие аварии. Как-то целиком осознал, что кессонная болезнь не только разговоры. Полное отсутствие конкретных знаний по этому вопросу отнюдь не успокаивает.

14.00. Гаркуша и Грабов принесли два легочных автомата, присоединенных к кислородному баллону. Все готово для десатурации. Первыми идут Хаес и Качуро, за ними — Гуляр и я, последний — Юра Советов.

15.00. Хаес и Качуро начали десатурацию. Ахламов приказал выключить напряжение. Здесь есть плюс: Советову нельзя курить».

Последняя запись в дневнике ВЛАДИМИРА ПЕСКА, сделанная уже на берегу:

«В 21.00 вышел из воды».

Некоторые комментарии к некоторым дневниковым записям:

«Мучает мысль о верхних... Вся ответственность на верхних» (Владимир Песок). Да. Пятеро жили в доме, а остальные сорок их обслуживали. Причем те, которые отвечали за береговую технику (всеякими правдами и неправдами клуб добыл сложнейшую технику, например, компрессор, но то был старый компрессор, как и вся остальная добытая техника), не решались даже подумать о том, что найдется свободный час, когда можно будет надеть акваланг и погрузиться в воду. Чем же объяснить столь фанатическое и бескорыстное служение идее подводного дома? Ловлю себя на том, как из глубины моей репортерской подкорки выскакивают два бодрых словечка: «Энтузиасты! Романтики!» С трудом преодолеваю магию этих слов, таких удобных, чтобы укрыться ими и никакими причинно-следственных связей уже не искать. Было время, я знаю, когда многие «ихтиандры» совсем по-иному проводили свои отпуска и каникулы. Они гнали, линую, свои красные «Явы» к морю, а там, надев акваланги, погружались все глубже и глубже, пугая ленивых рыб и крабов, собирая рапаны, в полной мере сознавая свою избранность, испытывая всю остроту риска и этой остротой наслаждаясь. Может, Хаес, автор идеи дома, не зря изучал телепатию? Может, именно посредством телепатии он втянул весь клуб в это фантастическое, почти безумное для подводни-

ков-любителей предприятие? Скорее всего, не без этого. Но надо учесть и следующее: многие «ихтиандры» всерьез подумывают о том, чтобы стать профессиональными подводными врачами, инженерами!.. Не столь уж «бескорыстно» служат они второе лето идее подводного дома. Только неясно пока, кому и когда их опыт потребуется. Ставка делается вслепую.

«Наверно, человечество все же переселится на дно» (Сергей Гулярь). Пока что морское дно — тот самый необитаемый остров, куда каждый из нас готов сбежать, хотя бы на день... Когда же морское дно будет обжито, захочу ли я переселиться туда? И не то, что на суше привычнее, нет, дело совсем не в этом. Боюсь, что донный ландшафт потеряет всю свою привлекательность, когда начнется массовое переселение в подводные дома — по путевкам, допустим, или по оргнабору... Вот какого рода праздные размышления вызвала у меня эта дневниковая записка.

«У меня засвистел акваланг, сразу поворачиваем назад. Хаес, думая, что у меня кончился воздух, предлагает свой загубник» (Владимир Песок). Акваланг свистит, предупреждая, что скоро кончится воздух. Ситуация, в которой оказался Володя Песок, осложнилась тем, что, пробыв под водой несколько дней, сразу подняться вверх нельзя: кессонную болезнь получишь; поэтому аквалангисты поспешили вернуться в свой подводный дом.

Выйдя на берег, Юра Советов, доблестный командир первой пятерки, упоенно слушает песни Высоцкого. А ироничный и такой мужественный Высоцкий — гитарист из Театра на Таганке, но он же и Галилей с Таганки! — поет про горы и море, про то, что любят и что презируют настоящие парни.

А кому не хочется быть настоящим парнем?

Эх, заканчивается подводная жизнь, теперь — до следующего лета! Юра вновь перематывает пленку:

— Хоть убейте, но я еще раз послушаю.

Хорош Высоцкий, но «ихтиандрам» нужна своя песня, в таком же духе, но своя. Теперь такое время пошло (развитие индивидуальности, усложнение и т. д.), что песнями из репродуктора уже не обойдешься, нужна своя песня чуть ли не каждому. И было ликование в лагере, когда Леня Яйленко сложил песню про «ихтиандров».

О Лене. По профессии — инженер. Приделал фанерки к тапочкам, а вместо маски приспособил очки от противогаза и погрузился в пруд. А теперь, восемь лет спустя, по собственному признанию, Леня в воде себя чувствует лучше, чем дома. Занимался в лагере установкой всякого рода связи с подводным домом, поскольку шесть раз был чемпионом страны по радиосвязи на коротких волнах.

Но сейчас в руках у Лени гитара. Он поет:

...Над головой воды двенадцать тонн,
и связывает с берегом
тебя одна лишь нить —
заржавленный военный телефон...

Вы догадываетесь уже, о чем его песня? О том, как замолк компрессор и в люк ворвалась вода («Вода уже по пояс, вода уже по груди!»), но дежурят на берегу друзья, и ты можешь быть спокоен, акванавт.

— Зачем ты слова записываешь? — говорит мне Леня. — Слова проходные, их только петь под гитару.

— Хорошие слова, — говорит Хаес, уже слыша эту песню, как клубный гимн, в хоровом исполнении. — Хорошая песня, назовем ее «Песней покорителей морей».

— Несколько претенциозно, но в духе вождя, — комментирует Леня Яйленко.

Вечером в дом ушла вторая пятерка. Ею командует Жора Тунин, тот самый Жора Тунин, который, по мнению Володи Песка, похож на сидящего Демона.

Но едва пятерка Тунина обосновалась в доме, как опять что-то случилось с компрессором и опять в дом вошла вода.

Берег держит с домом телефонную связь:

— Как вода?

— Вода в пяти — восьми сантиметрах от первой полки.

— Скотину! Спасайте скотину!

— Все в порядке. Разложили скотину по верхним полкам.

— Да вы не бойтесь. Не утопим.

— А мы не боимся. Мы даже рады: полы не придется мыть.

— Ребята, это традиция — в первый вечер обязательно отказывает компрессор.

— А мы думали, происки Пентагона.

И наконец-то:

— Как вода?

— Все нормально. Вода ниже уровня люка.

— Все нормально. Сейчас привезем ужин.

Следующий вечер, и снова весь лагерь у пульта: на телеэкране — акванавт Анатолий Кардаш, он поедает ужин.

На вторые сутки подводной жизни наступает состояние крайнего возбуждения, так называемая эйфория, и Кардаш откровенно наслаждается своей эйфорией.

— Эй, наверху, как у вас с аппетитом? — кричит диким подводным голосом бородатый Кардаш, заглатывая блинчик, как традиционный удав заглатывает традиционного кролика. Кажется, Кардаш готов поглотить все блинчики мира, а заодно и нас, развеселых его зрителей. А может быть, его аппетит еще ужаснее? Может быть, он простирается и на соседний пансионат «Изумруд», где репродуктор ежевечерне истекает томной южнобережной музыкой, и на тех туристов, которые в этот час, как и во все остальные часы, задумчиво поют за оградой нашего лагеря: «Бухта Ласпи нас встретила ласково, с «Ихтиандром» нас дружба свела...»

Нас охватывает волнение.

— Гаргантюа!

— Ты засек время, когда он начал есть?

— Лина, посмотри на Кардаша!

А бородатый Кардаш кричит все тем же диким подводным голосом:

— Мяса! На волю! В пампасы!

Ночь. На пульте дежурит Феликс Вульфсон, энергетик одного из донецких заводов. Мы слушаем, как бурлит в воде воздух, вырываясь из подводного дома. Кто-то из акванавтов во сне закашлялся...

— Дистрофиком надо считать человека, — поясняет мне Феликс, — который недобирает до нормального веса не менее десяти килограммов. В ином случае — сочувствующий. Я лично двенадцать килограммов недобираю. Весной защитил диплом, на заводе тоже работы хватало. А в «Ихтиандре», если ты не Кардаш, особенно не поправишься. Что делать, спрашивается? Организовали в лагере Клуб веселых дистрофиков. Но чтоб не менее десяти килограммов. В ином случае — сочувствующий.

Он сидел постоянно за пультом. Он всегда сидел. Я ни разу не видел, чтобы он хотя бы стоял или лежал. Мне казалось, что он сидит за пультом, и когда солнце восходит, и когда солнце заходит, а также когда светит луна. Я никогда не видел, чтобы он завтракал или обедал. Он говорил неизменно спокойным голосом, даже когда отказывал компрессор, а если так было надо, в его голосе звучал металл. И он никогда не снимал свои черные очки. Железный человек, мистический человек. Таков Юрий Барац.

Но вот что однажды случилось. Тайная агентура сообщила мне, что руководством клуба принято совершенно секретное решение: в полдень отправить в подводный дом двух женщин, чтобы они тоже там жили. Выбор пал на Галину Гусеву, московскую аспирантку, которая занималась в лагере психологическими исследованиями (ее коллег мужского пола попросту называли «психами»), и на врача Марию Барац, жену вышеописанного железного человека.

Я обнаружил первых в мире женщин-акванавтов на территории пансионата «Изумруд», близ умывальника.

— Мара, когда ты узнала, что погружаешься? — спрашиваю Марию Барац.

— Я об этом подумала, когда утром Юра вдруг заметил меня. Вышла на берег, поднимаюсь по лестнице, и он говорит: «Вот моя жена идет». А потом, когда Вадим Руденко сказал мне и Гале: «Идите помыйте головы, буду вас для кино снимать», — я уже спросила Юру про погружение, а он: «Это еще неизвестно».

— Но это решили еще вчера вечером.

— Юре некогда со мной разговаривать. Я иногда подойду к пульта, постою-постою, но он даже не замечает меня, и я ухожу. А что делать?

И пришлось Маре перед погружением записать в бортовом журнале: «Юра, смотри за ребенком». Да, я забыл сказать, что в лагере обитала маленькая девочка Лена Барац — «Кроха». И ходить и плавать она училась в подводных лагерях. Теперь уже, выходя из воды, Кроха говорит небрежно: «Я сегодня хорошо продулась». Кроха жила среди «ихтиандров» совершенно самостоятельной жизнью.

Мара и Галя стоят на берегу с букетом красных гвоздик. Их провожают так долго и так торжественно, что Мара уже умоляет:

— Отпустите скорей нас в дом. Ни одного лица — сплошные объективы.

Наконец «ихтиандры» кричат:

— Три — семнадцать. Хо-хо-хо!

(А почему обязательно «три-четыре»?..)

И тут они прыгают в воду.

А железный Барац в этих проводах не участвует — сидит за пультом.

Но вечером Мара появляется на телеэкране, кокетливо поправляет прическу, показывает язык — очевидно, Барацу, — и спрашивает:

— Меня хорошо видно?

И Барац снимает свои черные очки, тихо выбирается из-за пульта и скрывается за спинами «ихтиандров», окруживших телеэкран.

— Ну как вам живется в доме? — спрашивает Мару Юрий Киклевич.

— У стекла появилась новая рыбка. Блестит, как молния.

— А еще что?

— Вот кролик арбуз ест. — И тут Мара громко спрашивает: — Кик, а где Барац?

— Здесь.

— Барац, где Кроха? Пусть она посмотрит меня по телевизору.

Железный человек надевает свои черные очки, энергичной походкой подходит к пульта и отвечает Маре по дуплексной связи неизменно спокойным своим голосом:

— Мара, это Барац говорит. Кроха сейчас спит.

А может, и не было в бухте Ласпи никакого под-

водного дома? И все это телепатия? Журналисты жадны до сенсаций. И мне и моим коллегам, приехавшим в бухту Ласпи, не так уж трудно было внушить этот подводный дом. Тем более, что мы уже решили о нем писать, уже нацелились, уже прикинули... Во всяком случае, клубу любителей подводного плавания «Ихтиандр» провести подобный телепатический сеанс было бы куда проще, чем осуществлять свое фантастическое подводное предприятие.

Так телепатия? Лично я, например, этот дом не видел, не был в нем. Стоило мне добиться у Хаеса разрешения пойти в дом, как сразу же перестало продуваться правое ухо, а это значит, что я не мог идти даже на двенадцать метров. Не мистика, скажете?

И все же есть довод, который меня убеждает, что подводный дом в бухте Ласпи стоял действительно. К «ихтиандромам» приезжал изобретатель, который хотел оборудовать их дом «вечным двигателем» последней, оригинальной конструкции. А создатели «вечных двигателей», как известно, предлагают свои услуги лишь очень солидным организациям, так сказать, работают наверняка. С телепатами и всякими прочими мистификаторами создатели «вечных двигателей» предпочитают дел не иметь.

Вместо заключения — о некоторых критических замечаниях, сделанных мне московскими «ихтиандрами» Галиной Гусевой, первой в мире женщиной-акванавтом, и Владимиром Ивановым, инженером и великим любителем кофе, который связал свою судьбу с «Ихтиандром» еще летом прошлого года, когда занялся с неизменной своей кофейваркой в подводный дом «Ихтиандр-66» и выпил с акванавтами по чашке кофе.

Поскольку представители прессы, побывавшие в бухте Ласпи, клялись, что и впредь будут верно служить «Ихтиандру» и что нет для них лучшего дома, чем тот, что на дне бухты Ласпи, я прочитал Володе и Гале уже в Москве свой репортаж, который в то время был заслан в набор.

Так вот, по мнению Гали, я излишне сгустил краски, описывая Юрия Бараца.

— Ты же знаешь, — говорила Галя, — что если эксперимент окончился благополучно, то прежде всего благодаря Барацу.

— Знаю, — соглашался я.

— И знаешь, что Юра совсем не такой уж «железный» и не такой «мистический», как ты его описал.

— Знаю, — соглашался я, — однажды ночью он рассказал мне, как мечтает надеть белую сорочку и пойти в «Траянду» — лучший донецкий ресторан...

— Вот видишь, а у тебя он аскет какой-то.

— А затем мы говорили о теннисе. Юра вспоминал, как несколько лет назад они с Марой обыграли в Контебеле двух журналистов, у которых были «кратеровские» ракетки. Крохе тогда едва год исполнился, они наняли наную-то женщину, и она нянчила Кроху у самого корта...

— Почему же ты не описал хотя бы этот ваш разговор? — спросил меня строго Володя Иванов.

Пришлось напомнить Володе, что я многое не описал: например, героическую попытку одного «ихтиандра» войти в воду во время шторма, и как потом ему шов на ногу накладывали, а он боялся уколов...

— Да, боюсь пауков и уколов, — признался Володя.

— Барац — это святой человек, — снова вступилась Галя.

Я взмолился:

— Да разве я против Бараца? Но если я буду писать: «Да здравствует Юрий Барац!»...

— Нет, так писать не надо, — сказала Галя. — Но ты должен что-то придумать.

И вот я придумал: описал наш разговор и подклеил эти странички к уже набранному репортажу. А что делать, когда ты покаялся, что будешь верно служить «Ихтиандру»...

Но на дно морское я все же переселяться не буду, даже если за пультом на берегу будет бессменно дежурить Юрий Барац...



Григорий Горин

« СТОП! НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ! »

РАССКАЗ

Рисунки М. Шестопада.

В это утро я проснулся от яркого солнечного света.

Солнце было какое-то удивительное: белое, слепящее, геометрически круглое.

«Хороший будет день! — подумал я. — Жаркий будет день».

День оказался не только жарким, но и счастливым.

Едва я поднялся с постели, как удачи одна за другой посыпались на меня.

Во-первых, от меня ушла жена. Она давно уже собиралась это сделать, но почему-то откладывала. Сегодня утром все свершилось.

— Ухожу, не проклиная! — сказала она.

— Расставанья час жестокий! — сказала она.

— Наши судьбы — две дороги! — сказала она.

— Перекресток позади! — добавила она и стала укладывать чемодан.

Я молчал.

— Ухожу, не проклиная, — сказала она. — Конечно, расставанья час жестокий, но мы чужие, обо мне забудь. Я не знала, что тебе мешала, что тобою избран совсем другой путь.

Затем она вышла и хлопнула дверью.

Облегченно вздохнув, я пошел в ванную.

Из зеркала на меня глянул симпатичный, улыбающийся мужчина.

— Хорошо выглядите, това-

рищ! — самодовольно сказал я себе и взял зубную щетку.

Еще вчера вечером у меня отчаянно болел зуб.

Сегодня он спокойно перенес холодную воду, отливал ровным



жемчужно-белым блеском и был несомненным украшением рта.

За утренним кофе я открыл газету и с радостью обнаружил там свою статью.

Несколько месяцев главный редактор с тупым упорством не пускал ее в печать, но сегодня он либо подобрел, либо увалился.

Напевая веселую песенку, я надел свой лучший серый костюм и вышел из дому.

Во дворе меня встретил начальник нашего ЖЭКа.

— От вас лежит заявление на побелку потолка? — спросил он.

— Совершенно верно, — подтвердил я. — Уже год как лежит.

— Сегодня в три часа маляр придет, — сказал он.

Я воспринял это радостное сообщение уже как само собой разумеющееся, пожал ему руку и вышел на улицу.

Улица показалась мне удивительно нарядной и праздничной. Сияли чисто вымытые витрины. Играла музыка. Шикарно одетые граждане шли на работу. Дворники мелом мостовую, насвистывая веселые песенки. Семилетний мальчик в бархатных штанишках аккомпанировал им на флейте.

На углу рыжий усатый продавец, одетый в белоснежный фартук, продавал оранжевые мандарины.

«Хорошо! — подумал я и улыбнулся геометрически круглому солнцу. — Удивительно хорошо!»

Неожиданно на пути мне попалась сберкасса. Я зашел туда, взял со стола таблицу денежно-вещевой лотереи, затем вынул из кармана единственный имеющийся у меня лотерейный билет и выиграл холодильник.

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ●

Сначала не поверил. Даже для удачного дня это было уже чересчур. Проверил еще раз. Все точно. И номер и серия! Я выиграл! И не что-нибудь! Не шариковую авторучку «ПШ-26», не платок камвольный шерстяной, даже не баян производства тульского объединения «Мелодия» (с футляром).

Я выиграл холодильник «Ока-3» за 275 рублей!

«Холодильник не возьму,— подумал я.— Возьму деньгами. Поеду на юг или в Прибалтику... В Закарпатье, говорят, тоже хорошо...»

Я открыл глаза и победоносно огляделся.

Сберкасса была пуста. Только напротив за стеклянным окошечком сидел пожилой симпатичный кассир и с улыбкой глядел на меня. Всем своим видом он показывал свою готовность незамедлительно выплатить мне означенную в газете сумму...

В это время хлопнула дверь, и в сберкасса вошли четыре человека: двое верзил в кепках, один, среднего роста, в шляпе, один, низенький, в берете.

Верзилы держали в руках пистолеты, человек в шляпе держал огромную кинокамеру. У человека в берете ничего в руках не было.

— Спокойно, товарищи! — громко сказал берет.— Прошу всех остаться на местах и вести себя крайне естественно! Производится съемка фильма. Эпизод — ограбление сберкассы! Начали!

Человек в шляпе навел на нас объектив и застрекотал.



— Руки вверх! — диким хрипом повторил верзила.— Отойти от стола!

Кассир встал, как-то странно пошатнулся и поднял трясущиеся руки.

Один из верзил раскрыл ящики стола, другой достал из кармана авоську и быстрыми движениями стал засовывать в нее деньги.

От всего происходящего я вдруг почувствовал сильный озноб.

— Минуточку, товарищи,— тихо сказал я.— А у вас есть удостоверение?

— Молчать! — заорал на меня верзила с пистолетом и стал целить мне прямо в лоб.

Я пошатнулся, впервые ощутив похолодевшими ступнями вечное вращение Земли.

— Очень хорошо! — закричал человек в берете.— У него непод-

делаем еще дубль! Теперь с сейфом.

Верзилы вытащили из кармана кассира ключи, открыли сейф и наполнили банкнотами вторую авоську.

— Очень хорошо! — констатировал берет.— Эпизод отснят!

После чего, захватив с собой авоськи, все четверо мгновенно покинули сберкасса.

Оцепеневшие от ужаса, мы молча смотрели сквозь оконное стекло, как они выпрыгнули в черную «Волгу».

— Караул! Ограбили! — завопил кассир и бросился к дверям. Я помчался за ним.

Черная «Волга» медленно отъезжала от сберкассы. Правое заднее окно было открыто, из него торчал объектив кинокамеры.

Едва мы поравнялись с машиной, как ее передняя дверь распахнулась и оттуда высунулся человек в берете.

— Хорошо бежите! — крикнул он нам.— Больше размахивайте руками и кричите!

— Караул! — завопил кассир и замахал руками.

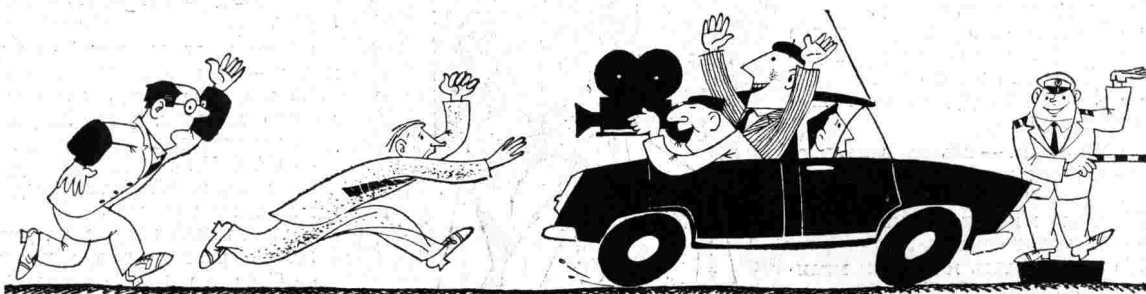
— Караул! — закричал я и тоже замахал руками.

— Хорошо! — похвалил нас берет.— Кричите: «Держи их!»

— Держи их! — заорали мы с кассиром.

На улице было полно народу. На бегу я видел заинтересованные глаза и улыбающиеся лица. Машину никто не пытался остановить.

— Граждане! — закричал я.— Это не киносъемка! Это настоящие грабители! Задержите их!



Верзилы с пистолетами двинулись к кассиру.

— Руки вверх! — хрипло сказал один из них.

— В чем дело? — прошептал побледневший кассир.— Какая киносъемка?! Меня никто не предупреждал!

дельный страх! — И приказал человеку в шляпе: — Возьми его крупным планом!

Объектив кинокамеры приблизился ко мне и несколько секунд сверлил меня своим пронизывающим взглядом.

— Стоп! — крикнул берет.—

Две девушки засмеялись. Какой-то мужчина понимающе закивал головой. Постовой милиционер улыbnулся и отдал нам честь. Черная «Волга» ехала посреди улицы. Заботливые орудовцы открыли ей зеленую улицу. Мы бежали за машиной, иступленно

• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •

орали и размахивали руками. Человек в берете, высунувшийся из двери по поясу, кричал нам что-то ободряющее.

Неожиданно я увидел справа у тротуара милицейский мотоцикл с коляской. В коляске сидели два милиционера.

— Товарищи! — закричал я, подбегая к ним. — Задержите эту черную «Волгу»! Это не киносъемка! Это настоящие грабители! Они украли деньги!

Милиционеры недоуменно посмотрели на меня, потом улыбнулись, потом посерьезнели, потом помрачнели.

Затем мотоцикл взревел и, сорвавшись с места, понесся по улице.

Вскоре он поравнялся с черной «Волгой».

Я услышал крики и выстрелы. Затем «Волга» и мотоцикл скрылись за поворотом.

Не переводя дыхания, я помчался за ними и вскоре за поворотом увидел огромную толпу.

Подбегая к ней, я понял, что все кончено: «Волга» уткнулась носом в тротуар, все четверо грабителей стояли здесь же с поднятыми руками и испуганно смотрели на пистолеты милиционеров. Здесь же кассир из сберкассы собирал в авоську рассыпавшиеся деньги.

— Ага! Попались, голубчики! — радостно воскликнул я.

Мужчина в берете с ненавистью посмотрел в мою сторону.

— Давайте в машину! — крикнул милиционер грабителям. — Вам тоже придется поехать с нами, — обратился он к кассиру.

— Мне надо вернуть деньги в сберкассу, — сказал кассир.

— Деньги — это вещественное доказательство, — сказал милиционер. — Возьмите их с собой.

— Я тоже поеду, — сказал я. — Я свидетель!

— Не надо! — сказал милиционер. — И так все ясно! Идите домой.

Не знаю почему, но мне не понравился этот ответ.

Не понравилось и то, как милиционеры сажали грабителей в машину, как затолкнули туда оторопевшего кассира; но лишь в тот момент, когда один из милиционеров таинственно подмигнул одному из верзил, страшная догадка осенила меня.

— Товарищи! — закричал я толпе. — Это не милиция! Они все одна шайка! Переодетые! Держи их!

— Молчи! — закричал на меня

милиционер и замахал перед моим носом пистолетом.

Я схватил милиционера за руку. Другой рукой он схватил меня за ворот.

Толпа ахнула и двинулась на нас...

— СТОП!

Этот голос, громкий и властный, раздался откуда-то сверху. Большое белое геометрически круглое солнце погасло в небе.

— СТОП! НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ! МАССОВКА СВОБОДНА!..

Голос сверху произносил каждое слово удивительно четко. Толпа, повинувшись, разошлась.

— Отпусти руку! — сказал мне милиционер. — Отпусти руку, чу-дак, съемка закончилась...

Грабители вышли из машины и закурили. Кассир взял у человека в берете сигарету, тоже закурил, а авоську с деньгами бросил на землю.

— Что все это значит? — недоуменно прошептал я. — Что все это значит?

— Конец съемки! — сказал кассир. — Перекур. Вы не пойдете обедать?

Я растерянно посмотрел по сторонам.



Витрины магазинов поблекли. Музыка стихла.

Прохожие на ходу снимали с себя шикарные костюмы и сдавали их в маленькое окошечко, над которым появилась вывеска: «Реквизит».

В конце очереди стоял плачущий семилетний мальчик и держал в руках свою флейту и бархатные штанишки.

Рыжий торговец собирал мандарины обратно в ящики, а ящики закрывал гвоздями.

— Минуточку! — сказал я растерянно. — Как же так?.. Минуточку!

Я побежал в сберкассу, схватил таблицу лотереи, достал из кармана билет.

Моего выигрыша не было.

Я проверил еще раз.

Не было. Ни номера, ни серии!

Не было холодильника «Ока-3». Даже платка камвольного шерстяного! Даже баяна производства тульского объединения «Мелодия» (с футляром)! Даже шариковой ручки «ППШ-26»!

Чувствуя головокружение и тошноту, я пошел к дому.

На стенде возле двора была наклеена сегодняшняя газета.

Моей статьи там не было. На ее месте был помещен огромный кроссворд.

Во дворе меня встретил наш начальник ЖЭКа.

— Зря торопитесь! — сказал он мне. — Не будет побелки. Маляр запыл...

Неожиданно резко и как-то занудливо заныл зуб.

Морщась от боли, я поднялся по лестнице и толкнул дверь своей квартиры.

Жена была дома.

Ее холодные узкие глазки смотрели на меня язвительно.

Я нервно засмеялся.

— Зачем смеяться, если сердцу больно? — спросила жена и принялась распаковывать свой чемодан.

«Съемка закончилась! — подумал я. — Съемка закончилась!»

Не глядя на жену, я прошел в другую комнату, упал лицом на диван и заплакал.

— СТОП!!

Этот властный голос раздался где-то совсем рядом.

Я вытер слезы и сел на диван. Режиссер сидел напротив меня.

— Слез не надо! — сказал он мне. — Это чересчур! Вы правильно передавали ощущения человека, спутавшего киносъемку и реальность, но слез не надо! Это уже мелодрама!

— Я устал, — сказал я тихо. — Я очень устал...

— Хорошо! — сказал он. — На сегодня хватит! Отдыхайте.

— Спасибо, — тихо сказал я и пошел разгримировываться...

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.



Эдуард Успенский

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА



Шел студент по белу свету. Вернее, по самому краю белого света. И вдруг он увидел крокодила. Громадного такого, зеленого крокодила в нейлоновой рубашке и легком спортивном костюме. Крокодил сидел на камушке и задумчиво крутил ручки транзисторного приемника.

Студент изумился невероятно. По учебнику географии здесь никаких крокодилов не полагалось.

— Здравствуй, — сказал крокодил.

— Здравствуй, — сказал студент. — А вы кто?

— Как кто? Крокодил. Разве не ясно?

— А почему вы разговариваете по нашему, по-человечьи?

— Это просто. Я цивилизованный крокодил. Я радио слушаю. Тут нас целый город. — Он махнул лапой куда-то в сторону.

— Ничего себе! — снова удивился студент. — А те крокодилы, которые в зоопарках, кто же они?

— Они — наши дикие предки. Такие же, как ваши — обезьяны.

— Значит, вы тоже разумное существо?

— Совершенно точно.

— Этого не может быть! — твердо заявил студент.

— Почему?

— Это противоречит Дарвину.

— Ничего подобного. По Дарвину, даже черви обладают какими-то инстинктами.

— А вдруг это противоречит Павлову? — настаивал студент.

— И Павлову это не противоречит. Вы читали его замечательные труды?

— Нет, еще не читал, — ответил студент. — Но я знаю. Человск —

это царь природы! Это ее вершина!

— И крокодил — это тоже вершина!

— Да знаете ли вы, что говорите?! — возмутился студент. — Да за такие слова!..

— Я всегда думал, что люди — умные существа! — вдруг разозлился крокодил. — Может, я не вашу радиостанцию слушал?

— Не знаю, что вы там слушали, только наслушались не того, чего нужно!

— Ну хорошо, — успокоился крокодил. — Значит, по-вашему, я должен быть злым и хищным?

— Конечно, — убежденно сказал студент.

— Ну что же, тогда я вас съем.

Студент оторопел.

— Минуточку, минуточку! — залепетал он. — А может, Дарвин ошибался?

— Нет, — ответил крокодил. — Дарвин нисколько не ошибался.

— Подождите, подождите! А может, Павлов что-то напутал?

— Нет, — возразил крокодил. — Павлов ничего не мог напутать. Раздевайтесь!

— Стойте, стойте, но, может быть, я говорил не то?

— Вы прекрасно обо всем говорили. Вы убедили меня. Снимайте носки тоже.

— У меня страдает логика...

— Нет, логика железная. Ам, — сказал крокодил и съел студента.



Рисунки Игоря Суслова.

• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ!

В. Р-ин, г. Севастополь.

Дорогая Галка!

Недавно я ехал в троллейбусе. На меня косила взгляд очень красивая девчонка. Ее взгляд был настолько красноречив, что мне стало ясно: она хотела мне что-то сказать.

Галка, ты ведь должна знать, о чем думают девчонки в этих случаях.

ОТВЕТ: Дорогой В.!

Та девчонка из троллейбуса смотрела на тебя и думала: «Очень хороший мальчик, но ведь придет домой, сядет за стол, возьмет перо и обо всем напишет в редакцию... Нет, лучше ему ничего не говорить».

Т. Ч-ка, О. П-ий, В. З-на, г. Винница.

Дорогая редакция!

Пишут Вам ученики десятого класса средней школы. В будущем году мы кончаем школу, нам предстоит выбор профессии. Мы всем классом уже решили поступать в Литературный институт и посвятить свою жизнь литературной деятельности. Правильно ли мы решили?

ОТВЕТ: Дорогие ребята!

Приветствую вашу любовь к писательскому труду. Только учтите: Пушкин, Лермонтов, Гоголь называются классиками вовсе не потому, что пришли в литературу из одного класса средней школы.

Алексей М-ов, г. Ленинград.

Уважаемая Галкина!

В «Юности» № 8 за этот год был опубликован мой вопрос и Ваш ответ.

Прошу гонорар за вопрос перечислить на мой адрес в г. Ленинград.

ОТВЕТ: Уважаемый товарищ М-ов!

Я отвечаю на вопросы на общественных началах. А как Вы знаете, каков ответ — таков вопрос.

Нина В-ва, Галя П-ва, г. Аркалык.

Милая Галочка!

Просим ответить на наш вопрос: можно ли нам в 16 лет играть в детские игры, например, в куклы?

ОТВЕТ: Милые девочки!

Истории известны более странные случаи. Певица Нежданова в 26 лет только начала учиться петь, Крылов опубликовал свои басни в 40 лет, а писатель Вальтер Скотт написал свой первый роман в 43 года. Так что у вас все впереди.

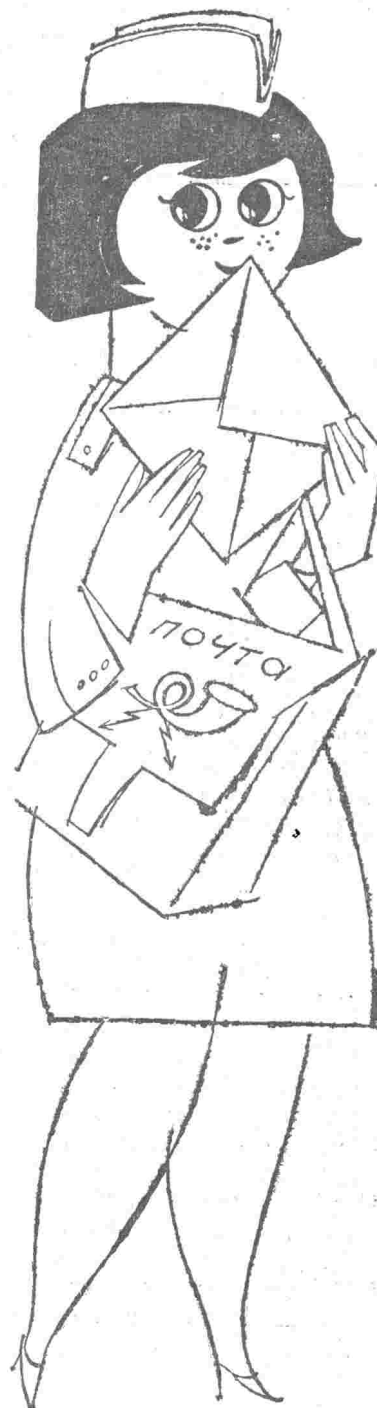
Татьяна О-на, Донецкая область.

Дорогая Галка Галкина!

Я уже несколько лет веду дневник. Я его прячу, но моя старшая сестра часто находит его и читает. Что ты мне посоветуешь?

ОТВЕТ: Дорогая Таня!

Когда получишь этот номер, спрячь его вместе с дневником. Я хочу, чтобы твоя сестра обязательно узнала, что она поступает очень непорядочно.



ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1967 ГОД

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

АВДЕЕНКО А. Я люблю	1—3
АЛЕКСИН Анатолий. Мой брат играет на кларнете	8
АРОНОВ Александр. Пассажир без билета	6
БАГРЯК П. Перекресток	3, 4
ГЕРАСИМОВ Иосиф. Пять дней отдыха	10
ГИНЗБУРГ Евгения. Юноша	9
ГОЛОВАНОВ Ярослав. Заводная обезьяна	9
ЕВТУШЕНКО Евгений. Пирл-Харбор	5
КАПИЦА Петр. Завтра будет поздно	10, 11
КРИШТОФ Елена. Май, месяц перед экзаменами	5
НАСЕДКИН Ф. Великие голландцы	6—8
НИКОЛЬСКИЙ Борис. Повесть о солдатской службе	7
ПАРХОМЕНКО Арсений. Большое футбольное ограбление	8
ПИЛЯР Юрий. Последняя электричка	12
ТИТОВ Владислав. Всем смертям назло...	1
ХОЛЕНДРО Дмитрий. Свадьба	4

РАССКАЗЫ

БАРУЗДИН Сергей. Я люблю нашу улицу...	11
ГЛАЗОВ Григорий. Шефский концерт	2
КУРБАТОВ Вл. Дедова груша	10
МАЛЫХИН Владимир. Sehr gut	7
МАШКИН Геннадий. Вечная мерзлота	12
РОМАНОВСКИЙ С. Уголек	3
ТИТОВ Владислав. Раненый чибис	2
ЧИГРИНОВ Иван. Птицы летят на волю	9
ЧУБАРЬ Владимир. Невыдуманные рассказы	5

СТИХИ И ПОЭМЫ

АНТОШКИН Евгений. «Фотограф был бесстрастный иллюстратор...» Русская речь	3
АХМАДУЛИНА Белла. Сумерки. «Сны о Грузии — вот радости...» Спать Плохая весна. «Случилось так...» «Я думаю: как я была глупа...»	1
БАРТО Агния. Мадлен. На букву «Л». Я была в стране Суоми	9
БЕРГГОЛЬЦ Ольга. Из «Дневников далеких лет»: Европа, война 1940 года. Пусть голосуют дети. Из цикла «Испытание»	5
БОТВИННИК Семен. «Все доброе выстопит в мире...». «Как детей в эти дни сберегали!...» «Все дальше поезду идти...». «Не друзья еще — сверстники прос-то...». «С любимой ли бреду...». «Толчок — и вновь плывет вагон...»	6

БРИТАНИШСКИЙ Владимир. Возвращение Ленина. «Свой мозг, свое чудо морское...». Лыжня. Аэрогеофизик. «А Новый год мы встретили в лесу...». Происхождение.

ВАГАНОВА Любовь. «Природа — извечная тема...». «Наполовину деревняные...». Россия. «О Россия, разливы, лесные туманы...». «Начало марта. Таянье снегов...»

ВАНШЕНКИН Константин. «Неверно, будто жизнь всего одна...». Закат. К портрету. «Мы помним факты и события...». Гале. Дельфины...

ВЕТЕМАА Энн. Права на вожделение деревянной лошади

ВИНОКУРОВ Евгений. Артистизм

ВЬЮННИК Леонид. «Если в жизни трудный будет случай...». В госпитале

ГАМЗАТОВ Расул. Песня. Календарь. «Стою под облаком высоко...». «Мне преподал отец в начале...». Аварская сказка

ГОЛУБКОВ Дмитрий. По Сухо-не плыву. «А в лесу-то истинно...». Банальные слова. Боратынский — Гамлет. «В лесу отродно заблудиться...»

ГУЛЯМ Гафур. В горах. «Месяц молодой, мой старый друг...». «Цветок опавший превратится в плод...»

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей. Сошли солдаты с пьедесталов... Березы

ДМИТРИЕВ Олег. О Революции. «Я увидел на экране...». Турист в Освенциме. Начало. «Нет, Москва отпустить меня вряд ли захочет...». Лето. Вечер тихий. «Когда мы смотрим в сторону заката...»

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений. Тревога. (Из цикла стихов о Вьетнаме)

ДУДИН Михаил. «Блестит на солнце кремнезем...». Холодное утро Цхалтубо. Памяти Симона Чиковани.

Сон. Эвкалипт. Горы из окна ночью. Воспоминание о добром пире

ЖИЕНБАЕВ Саги. Ленин в отпуске

ЖИРМУНСКАЯ Тамара. «Возьмите в дочки, Ольга Федоровна...». Гости. Моей библиотеке

ЗАВАЛЬНЮК Леонид. Из весенней тетради

ЗИНОВЬЕВ Николай. Поселок Свень. «Июль под голову кладу...»

КАЗАНОВА Римма. «Из первых книг...». Война. Испания. Старина. «А что нам!...». «Над нами власть имеют запахи...»

КАШЕЖЕВА Инна. У трапа. «Мы отданы родным приметам...». «Как хорошо ложиться спать под утро...». «Может быть, прабабками завещаны...»

КЕЖУН Бронислав. Дворец и крепость. «Вспышками огня неопалима...». «На острова пришла весна». Напись на обелиске

КОЗЛОВСКИЙ Яков. С языка стихов. Заповедная книга земли. Рассвет. Совершает жизнь круговорот

КОРОЛЕВА Нина. «Мне счастье одиноких не дано...». «Я вам танцую и пою...»

КОРОТИЧ Виталий. Памяти Шевченко. Кавказ. «Нашли в одном государстве...». «Поэты! Научите доброте...». Гелати. «Я презираю это «вообще»...». «Не веря слуху своему...»

КОСТРОВ Владимир. Полярный геолог. «И ромашкам так хочется жить...». «Неужели, чудак, ты вот это на свете искал...». Бабе лето

КРАСНОВ Иван. Обелиск у дороги. Партийный крестник

КУБАТЬЯН Георгий. Баллада о моей жизни. «Ранние стихи великих...»

КУЗНЕЦОВ Валентин. Садовая баллада

КУЛИЕВ Кайсын. «Чем горячей костер горит...». «Умели люди сеять хлеб...». «Кто слушает — мудрее говорящих...». Слепые. «Если вдруг в цветке...». «Я уйду, и ты уйдешь в свой час...». «Солнце, нас сначала ты согрей!...». Годы. «Пускай великих дел не совершил я...». Монолог. «От мысли, что и ты уйдешь, быть может...». «Рыдает мать погибшего пилота...». Рубикон. «Какой бы сила ни была...». Лайме Андерсон. «Что дел за мной великих нет...»

КУНЯЕВ Станислав. «Цокот копыт на дороге...». «Пью из речки и не напьюсь...». «Среди фантастических гор...». «Шарманка — забытое чудо...». «Эти кручи и эти поля...»

КУРБАННЕПЕСОВ Керим. Воспоминание. «Чтоб «Сыном» меня звали...». Контрасты. Поэт и Луна

КЫМЫТВАЛЬ Антонина. Горизонт. Грусть

ЛАКЕРБАЙ Юрий. Старый Званба пустился в пляс. Состояние

ЛИВАДИТИС Тасос. Стихи, написанные на папиросных коробках

ЛОТЯНУ Эмил. Революция продолжается. «Сколько дней...»

ЛВОВ Михаил. Юбилей. «Обожаем властителей дум...». «Прожить, как Пришвин, восемьдесят лет...». «Да, есть во мне народное...»

МАРТЫНОВ Леонид. «Мы вышли из Китай-города...». Не он ли? Цель искусства. Евразийская баллада. Дере-

венька. Какого цвета ранняя весна. Баллада. Знакомство с Эйнштейном. «Бывают такие периоды...». Мед. Одна		ми облака...». «Был разливной день косым дождем...»	3	«Пусть утверждают иные...» Камышлов. В общежитии артишкеры. Торопим не время	10
МАРЦИНЬЯВИЧЮС Юстинас. Поэма начала	7	СОКОЛОВ Владимир. «Что сердце? Оно по мне...»		ОЧЕРКИ. СТАТЬИ.	
МАРШАК Самуил. «Запахло чугушной печкой...». «Уже недолго ждать весны...»	10	«Пластика должна быть хрипящей...». «Я не хочу объяснять...». «Не смейтесь под окном...». Поэты. «Я рассказать хотел о нем...»		ВОСПОМИНАНИЯ	
«Вся жизнь твоя пошла обратным ходом...» После дождя. «Кто морю возвратил тепло и свет?...» Песня о самом себе. «Я знаю, что огромное число...»	12	СОРОКА Леонид. «Мне открывался понемногу...». «Вот так вот сесть и написать...»	12	АГРАНОВСКИЙ Валерий. Студент	12
МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас. Деталь. Песня без слов	11	СТАРШИНОВ Николай. «А правда, мне в деревне бы родиться...». «Красный лик работяги-солнца...». «Интересует — и давно — меня...». «Ничего-то из себя...». «Чего-то я не становлюсь умней...». «В глухой ночи уполз к врагу изменник...». «А ты летишь, моя зеленая...»	2	АЙЗЕРМАН Л. Всегда ли в жизни есть место подвигам?	8
МИХАЛКОВ Сергей. Из новой книги	11	СУРКОВ Алексей. Знамена Октября	8	АКИМОВ Игорь. Латышская мозаика	10
МОРИЦ Юнна. Январь. Вечерний свет. Южный рынок. «И на земле, и на звездах...». «Сам по себе этот вечер нестоящий...». Ночь. Осень. Балтийское лето	7	ТАНК Максим. «Прочитай и передай другому...». Другу		АПЕНЧЕНКО Юрий. Свидание с Чернозубовым	3
МУХТАР Аскад. «Старый пахарь с горбом...». «Скрипит арба, крылами птица машет...». «Соловей замолчал...». «Выигрывает стих от повторенья...». «Поет печальным голосом рубашка...». «Оттого, что песня так грустна...»	11	ТВАРДОВСКИЙ Александр. Из «Записной книжки»	9	БОРИСОВА Людмила, ЯМ-ПОЛЬСКАЯ Нелли. Да будет дело!	6
ОКУДЖАВА Булат. «Мой город засыпает...». Первый гвоздь. Песенка о ночной Москве. «В детстве мне встретился как-то кузнецик...»	4	ТИМОФЕЕВСКИЙ Александр. «О, может быть, на миг всего...». «Как старался домовой...»	5	БЫКОВ-КАРПОВИЧ Д. Три встречи	2
ПЛИСЕЦКИЙ Герман. Из цикла «Михайловские ямбы»: Мазурка. Зимняя ночь.	2	ТРЕСКУНОВ Семен. Апрель	6	БЯЛИК Борис. Живая легенда Осетии	2
РАБИНОВИЧ Вадим. «Когда в минувшую войну...»	3	УСЕНКО Юрий. Православные. Последний выстрел...	8	ВОСЕМЬ лет — девятый	11
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт. «На Земле безжалостно маленькой...». На родине Маяковского... «И ночь холодна. И день голубой...». Поезд. Пегас. «Написал: «Живу себе...»	9	УШАКОВ Николай. Открытое кино. Африка	6	ГАЛКИН И. Ленинской гвардии рядовой	8
Поэма о разных точках зрения	12	ФАТЬЯНОВ Владислав. «Секатор щелкает на вишне...». «Превозмогая горечь нареканий...»	7	ГЛАДКОВ Александр. Романтики («Комсомольская правда» двадцатых годов)	8
РУММО Пауль-Эрик. Как полет паутина. Кошкина пряжка	8	ФИЛИППОВ Ростислав. Проводы в армию. Когда уходят сроки	3	ГРОМОВА Т., РОНИНА Г. Что привело их на эту дорогу?	2
РЫЛЬСКИЙ Максим. Заря моя вечерняя роняет... Не Беатриче образ яснокий... Цветет азалия	11	ФОКИНА Ольга. «У реки поутру побелевший отавы...». «В сентябре деревья...». «У меня на окне светло»	11	ГРЫЛЕВА Галина. История, подвиг и мы	5
РЯШЕНЦЕВ Юрий. «Среди авралов и тревог...». Вид на Тбилиси с горы Мтацминда. На концерте «Старинный русский романс». Кропоткинская. Речь	8	ХРАМОВ Евгений. Июль сорок второго года. «За двести целковых в сезон...». «Как днем припоминают сон...»	4	ЖИЗНЬ Владимира Комарова	7
САВЕЛЬЕВ Владимир. Советская власть. Поэтесса. Россия	9	ХУЗАНГАЙ Педер. Из стихов о Кавказе: «Да, вдали от мест родимых...». По мингрельской дороге. Я узнал, что тебя больше нет. Пури, квели да хвино	4	КОМАРОВА Тамара. Улыбнитесь, шагните еще	12
САГИЯН Амо. Четыре лета ушло. Птицы мои, небесные птицы. Утес	9	ЦЫБИН Владимир. «Лежу под тишиной...». «Летит падающая звезда...»	8	КУНЕЦКАЯ Людмила. Тридцать лет любви и дружбы	4
СЕМЕНОВ Глеб. Девочка. К яблоку. Земля. Сады	11	ЧАРКВИАНИ Джансуг. Родина. Пока в отчизне хоть один дымок... «Есть в жизни день...». Зеленая песня. Орел	3	МАКЕДОНСКИЙ Слав Стоянов. Надпись на сердце	10
СЛЕПАКОВА Нонна. Октябрь. «Я люблю тебя, «Аврора»... Фотографии	3	ЧИКОВАНИ Симон. Стихи из цикла «Ганджинская тетрадь»	3	МЕДЫНСКИЙ Григорий. У могилы Неизвестного солдата	1
СЛУЧНИК Борис. «На стремительном перегоне...». «Поэзия — дырка от бублика...». Ботинки Маяковского. Большой масштаб. «Мнения переплетчина, скажем, о переплете...». «Ракетчики, подводники, танкисты...». «Прогромели, как звук, и ударили в уши...». Читальня на нашей улице. «Из — целую жизнь буримой — скважины...». «Меня переписали знатоки...»	4	ШАЛАМОВ Варлам. «Не старость, нет, все та же юность...». Инструмент. Наверх. «Большого сердца голос властный...». Устье ручья. «Не удержал усилием пера...». «Мне горы златые — плохая опора...». «Жизнь — от корки и до корки...»	5	ТАКОВО это «я»	4
СМИРНОВ Юрий. «Над берега-		ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь. Юность. Фабричная баллада. «Октябрь. Красное тавро пылает на спине возницы...». «Никогда не забывайте детство...». Тридцать форелей из Чаквы. «Я юный сын лесов, морей...»	1	МИКОЯН А. И. Из воспоминаний	3

ВАРГАНИСТОВА Н. Скульптура из воздуха
 ГОРБ Бронислав. Клятва Гипократа
 ГРАФОВА Л. Любовь к двум крокодилам
 ГРИГОРЬЕВА В. Раз картошка два...
 ДУЛЬКИНАС А. Для чего человек живет
 ДУЭЛЬ И. Комсомольский театральный
 ЗАЛЮТОВСКАЯ М. Обелиск поэту
 ЗЕЛОВ Николай. Наркомпросовский стипендиат
 ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Такая подводная жизнь
 КАДЖАЯ В. Бетлеми — пещерный город?
 КОМОВ Олег. «В лето 1757 года»
 КОРОЛЕВА Люся. Легко ли быть девчонкой?
 КОШЕЛЕВ Александр, ШЕР Игорь. Пешком через Байкал
 КУПЦОВ Иван. Его звали Овод
 КУРЗЕНКОВ С. Приземление
 ЛЕСС Ал. На улице Фадеева
 МАРИЕНБАХ И. Памятник на Марсовом поле
 МАСЛОВ Юрий. Путь на левый берег
 МАХАТАДЗЕ И. В плену у гостеприимных ягуа
 ОШУРКОВ Мих. Размышления после финиша
 ПАЛАТНИКОВА С. Семинар в Красной Пахре
 ПЕТРОВ Ф. Искажение великого образа недопустимо
 ПЛЕШАКОВ Л. На Севере дальнем
 РАЗИН А. Первый рейс под красным флагом
 СОПЕЛЬНЯК Б. Вальпургиев день
 СТАНЮТА А. Утро на всю жизнь
 ТИТОВ А. Был час обеденного перерыва
 ТИТОВ Владислав. Спасибо, друзья!
 Тридцать две страницы о спорте
 Финиш в Ульяновске
 ШЕЙХ-ЗАДЕ Нури. Сердитая Нары
 ШКЛОВСКИЙ В. Тропа в Старый Крым
 ЭРЕНШТЕЙН Р. Приезжайте к нам, не пожалеете!

НАУКА И ТЕХНИКА

Белый халат солдата
 ВОЛЬФКОВИЧ С. И. и ФРУМКИН А. Н. Как начинала советская наука
 В чей дом ударит молния?
 ГУБЕРМАН Игорь. Дар Прометеев
 Неизбежность открытий
 ДУЭЛЬ И., ПЛАХОТНИК А. Мы обживаем океан
 КЛЕЙН Лев. Археология под золотой маской
 ЛЕВИ Владимир. Сотвори самого себя
 ЛЕОНОВ Р. Загадки шаровой Новострой отовсюду
 ТРОСТНИКОВ Виктор. Факел Демокрита

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

АКСЕНОВ Василий. Путешествие к Катаеву.
 Простак в мире джаза, или

Баллада о тридцати бегемотах
 АНДРЕЕВА Л. Борющийся фарфор
 АНИСИМОВ Григорий. Молодость Азербайджана
 Графика алмазного края
 БАЛТЕР Борис. Что дал нам Паустовский
 БОНДАРЕВ Юрий. Писатели-солдаты
 ВЕЧЕРСКИЙ Ю. Жизнь заговорила вновь...
 Высокое призвание художников слова
 ГИДАШ Антал. Сейсмограф и двигатель душ
 ГОРЛОВСКИЙ Ал. Время фантастики
 ГОРЯЕВ В. Удача художника
 ЕМЕЛЬЯНОВ В. Будущий писатель
 ЖУКОВ Н. Певец наших улиц
 Из записей разных лет
 ЗОЛОТУССКИЙ Игорь. Поэт и театр
 ИОФФЕ Марк. Плакатисты революции
 К семидесятилетию Валентина Катаева
 К семидесятипятилетию Константина Паустовского
 КОСТИН В. В поисках новых решений
 Светлой молодости след
 КУЗНЕЦОВ Феликс. К зрелости
 КУЛИКОВ Борис. Кульчицкий начинался так...
 КУПЦОВ Иван. Поющие голоса гуманизма
 Память народа
 Палитра трех измерений
 Наш путь — в революцию дальше
 МИХАЙЛОВ Олег. Любовь и поэзия
 ОБРОСОВ Игорь. Поиски и открытия
 ПЛАХЕТКА Иржи. Сибирью плененные (Письмо из Праги)
 ПРИЛЕЖАЕВА Мария. Дар высокий (К семидесятипятилетию Константина Александровича Федина)
 СИДОРОВ Е. «Мне тридцать лет»
 Среди книг
 РАССАДИН Станислав. «...Чугунный голос, нежный голос мой» (О поэзии Ярослава Смелякова)
 И с миром утвердилась связь
 УРНОВ Д. Положение Гулливера
 ЦИШЕВСКИЙ Ю. Певцы Комсомольска-на-Амуре
 Читая журналы
 ЧУКОВСКИЙ Корней. Человечность без иллюзий
 ЯБЛОНСКАЯ М. Акварели Михаила Ройтера

ДЕБЮТЫ

АРИНБАСАРОВА Наташа. «Я еще ничего не умею...»
 БОЛЬШАКОВА Наташа. «В балете я становлюсь храброй...»
 ВЛАДИМИРСКАЯ Жанна. «Мера бескомпромиссности»
 КИО Игорь. «Чудес не бывает...»
 КУЗМЕНКО Николай. «Почему обо мне?»
 ЛИВАНОВ Василий. «Дилемма на всю жизнь»
 МУЛЕРМАН Вадим. «Включи себя в репертуар...»

НЕМЕНСКИЙ Борис. Искусство Галины Скотиной
 ОСЫКА Леонид. «Хочу продолжать эксперименты...»
 ПЯВКО Владислав. «Средины быть не может»
 САЛЮК Владимир. «Мой счастливый замкнутый круг»
 СИЛЬВЕСТРОВ Валентин. «Выйти из замкнутого пространства»
 СОКОЛ Юрий. «Мы добивались правды»
 ТЕМИРКАНОВ Юрий. «Достижение совершенства»
 ТРЕТЬЯКОВ Виктор. «Играть без конца, все лучше и лучше»

СПОРТ И ШАХМАТЫ

АКИМОВ Игорь. Мысль и мяч
 БАБКИН Виктор. «Скатертью дорожка, чемпион!»
 ВАСИЛЬЕВ Виктор. Вахтанг и его дети
 Десять самых-самых...
 Диспут об альпинизме
 ДМИТРИЕВА Анна. Возвращение на корт
 КАДЖАЯ В. Тренер из угроз
 КИВИ Эвэ. Я, Антс и коньки
 НИЛИН Александр. Человек, чьи дела обстоят великолепно
 РУБИН Евгений, РЫЖКОВ Дмитрий. Исповедь хоккейного репортера
 САМОЙЛОВ Н. Вновь Тамара Соснова
 СЕМЕНОВА Елена. Таллинский эксперимент
 ТАЛЬ Михаил. В поисках будущего чемпиона
 ТОКАРЕВ Станислав. Ты выходишь на ковер...
 УРНОВ Д. Вожжи в руках
 ФИЛАТОВ Лев. Перерыв для защиты

«ПЫЛЕСОС»

АЗОВ М., ТИХВИНСКИЙ Вл. Энергия отрицания
 Сатира и парикмахерская
 БУШАНСКИЙ Ф. «Ин витро»
 БЫКОВ Ролан. Трагик, Директор, Пират...
 ГАЙ Эдуард и ГАНИН Борис. Внесудебная хроника
 ГАЛКИНА Галка. Каков вопрос — таков ответ
 «Гала-представление»
 ГОРИН Григорий. «Стоп! На сегодня хватит!»
 ЖАМИДИН. Без огня. Хвали меня
 ЗАХАРОВ М. Я и мой папа
 Что новенького?
 ЗЛОТНИКОВ Вит. Картина
 Из истории женских праздников
 ИНИН Арк., ОСАДЧУК Л. День рождения
 Коллекция Галки Галкиной
 КУДИНОВ Михаил. «Самородок»
 ЛИФШИЦ Владимир. Дело было в метро
 ОЙСЛЕНДЕР Юрий. Сила искусства
 СКАЙЛИС А. Такса
 СЛАВКИН Виктор. Сенина карьера
 УСПЕНСКИЙ Эдуард. Железная логика
 ХУСНУТДИНОВА Роза. Картинки восточной жизни



С. Г. БРОДСКИЙ.

Из новых иллюстраций

к роману Джованьоли «Спартак».





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120